Цена 90 коп. Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 10 1988

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ. «Что было — то было...». Повесть

Фазиль ИСКАНДЕР. «Сандро из Чегема». Роман

А. ЛАРИНА (БУХАРИНА). «Незабываемое». Воспоминания

Стихи
Владимира **СОКОЛОВА**, Глеба **ГОРБОВСКОГО**, Ильи **СЕЛЬВИНСКОГО**

Очерки и статьи
Ю. ГОЛАНДА, В. ЧИСТЯКОВА, Ю. ОКЛЯНСКОГО

Знамя, 1988, № 9, 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1988

Сентябрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга девятая
СЕНТЯБРЬ
1988

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

ЗАМЕТКИ ДЕЛЕГАТА XIX ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Хотелось бы сказать: «Прошло два месяца с тех пор, как закончилась XIX партийная конференция...», но я пишу это не по прошествии двух месяцев, а сейчас, в дни, когда только разъезжаются делегаты, когда ничего не остыло и по телевидению, на улицах, в домах люди обсуждают совершившиеся события. Думаю, эти четыре дня правильно названы историческими. Даже фотографии в газетах выглядели необычно. Помните прежде: отдельно — трибуна, отдельно — голосующий зал. Во всех случаях — единогласно. Менялись годы, десятилетия, решения могли быть взаимоисключающими, зал единогласно одобрял, словно бы перепечатывалась одна и та же фотография. И вот фотография этих дней в «Известиях»: делегат конференции, подняв мандат, решительно просит слова, и лидер партии, сфотографированный в тот момент, когда он убеждает. Именно — убеждает. «Будем откровенны,— сказал при закрытии конференции Михаил Сергеевич Горбачев,— в условиях командно-административной системы, когда партийный аппарат распоряжался всем и вся, подчас нелегко было разобраться: где у партийного комитета и партийного секретаря подлинный авторитет лидера, а где в лучшем случае «авторитет должности», и подчиняются ему только в силу необходимости».

Дух партийного товарищества с первых часов был задан самим докладом. Не скажу, что абсолютно всем делегатам дух этот был близок. Да и могло ли быть иначе? Крупные перемены в стране, в психологии людей не совершаются по мановению, процесс этот длительный. А есть люди, которые вообще не меняются: вечно вчерашние. Не случайно генеральный директор производственного бройлерного объединения «Ставропольское» В. И. Постников сказал, что в зале сидят и те, кто против перестройки. И вот тут произошел диалог, который я хочу напомнить, он отражал дух конференции:

«Михаил Сергеевич, перестройка — это революция. Вы сказали, что мы спокойно, гуманными методами ее будем стараться проводить. Но раз это революция, то такими методами ее не проведешь. (Аплодисменты.) Увещевать людей и все время воспитывать, допустим, бюрократов бесполезно, мы знаем, что и здесь сидят те, кто против перестройки, и с ними уже ничего не сделаешь, их надо выгонять, их надо исключать из партии. (Аплодисменты.) А Вы по природе человек гуманный, мы Вас знаем, и хотите гуманными методами их воспитать. Их надо лишать должностей, потихонечку на пенсию отправлять.

М. С. Горбачев. Виктор Иванович, давай поговорим в присутствии свидетелей (смех) на эту тему. Ты немножко представил простым Михаила Сергеевича. Думаю, если ЦК начнет опять снимать бюрократа, который там, рядом с вами, в Ставропольском крае или даже в вашем объединении, а может, чуть выше, в Российской Федерации, или где-то еще, дело не пойдет. Так у нас уже было. Сверху мы пытались

многое сделать. Ничего из этого не выходит. Сегодня мы стремимся через экономическую реформу, через реформу политической системы, оздоровление духовной сферы, через средства массовой информации двинуть все общество, тогда бюрократу деваться будет некуда. У него под ногами земля гореть будет. Вот чего он, собственно, и боится. А с начальством он всегда договорится. Приведет, как приводил десять, двадцать лет подряд, как говорится, два вагона аргументов, и в конце концов ты сдашься. Поэтому дело не в том, чтобы быть хорошим, и не в том, чтобы всем нравиться. Надо вести политическую линию в интересах народа, в интересах социализма, включая во все процессы сам народ. Народ быстро всех на место поставит. Если механизм, который сегодня на конференции обсуждается, будет принят, то так и будет. (Аплодисменты.)

В. И. Постников. Вы меня разубедили. Поэтому я закончил. (Смех. Аплодисменты.)»

Возможен ли был такой диалог три года назад? А еще раньше все выглядело бы примерно так: «Тут один товарищ хотел нас убедить...» И — гром аплодисментов. И не позавидуешь этому «товарищу».

Я не был делегатом партийных съездов, но я хорошо помню, как проходили съезды писателей. Они не были исключением, они были частью общей модели. Даже на предпоследнем, на седьмом съезде список выступающих был составлен и согласован заранее — это все те, кому доверяется выступить, тексты выступлений не то чтобы визировались, но прочитаны предварительно, и, если требуется, нужные коррективы внесены.

Да и представим себе, как в зале на пять тысяч человек, где витают и передаются магические слова «есть мнение», и тот, кто это мнение хоть не изустно, но раньше других узнал, уже этим как бы приближен, как в таком зале набраться решимости пойти на трибуну и там, когда за спиной весь президиум, отстаивать что-то свое? Нет, не угаданное или одобренное заранее, а свое, то, что тебе дорого? У кого, повторяю, достанет решимости? И недоставало. Не оттого ли до сих пор в магазинах наших столького недостает?

И вот последние часы конференции, принимают резолюции. Надо сказать, что в комиссиях по выработке резолюций участвовал каждый десятый делегат. Я был членом комиссии, которую возглавлял М. С. Горбачев, и могу свидетельствовать: обстановка была рабочая, все предложения выслушивались внимательно, возникали и споры, но ни разу не было так, чтобы использовался «авторитет должности», чтобы неаргументированно отклонили чье-либо предложение. В один из дней все комиссии уже закончили свою работу, уже делегаты после обеденного перерыва собрались у закрытых дверей в зал, а мы еще не выходили из зала на перерыв. Вечернее заседание начиналось в 16 часов, только за пять минут до начала заседания мы подвели итоги.

Так вот — последние часы конференции. Принимают резолюции. Вижу, как по проходу, подняв над своей упрямо наклоненной головой мандат, идет к трибуне Юрий Дмитриевич Черниченко. Подавляющим большинством голосов его избрала своим делегатом Московская писательская организация, он узнал об этом, возвратясь из командировки в Китай. Сейчас он выходит к микрофонам, чтобы предложить поставить на отдельное голосование один из пунктов резолюции: он с этим пунктом не согласен. И голосуют отдельно. И хотя счетчики были выделены заранее, как-то не бойко у них идет дело, не очень привычно получается. А было и так, что из всего зала, из пяти тысяч человек, один воздержался, его поднятый мандат даже не сразу и разглядели, но он упорно держал его над собой.

К людям вернулось достоинство.

Одной из героинь конференции стала гласность. Аплодисментами встретили слова делегата Масалиева А. М., возмущенно заявившего: «Дело доходит до того, что один или два работника прессы начинают давать оценку целому выборному партийному органу». Как не хватает нам социологических исследований! Как интересно было бы хотя бы по одному только принципу — по профессиональному — исследовать, кто и чему аплодировал! А потом возник, прямо скажем, драматический момент, когда делегат от Алтайского края Попов Ф. В. привел как пример «потерь от шельмования» статью из свежего номера «Огонька». Называлась статья «Противостояние», написали ее не журналисты, а два следователя Прокуратуры СССР Гдлян и Иванов, те самые, которые вот уже пять лет буквально героически, несмотря на запугивания и угрозы, ведут дело рашидовской мафии. Они писали, что среди делегатов есть четыре человека, причастных к этому делу. Неприятно. Более чем неприятно. Мандатная комиссия, проведя заседание, поручила Генеральному прокурору СССР и Комиссии Партийного Контроля при ЦК КПСС расследовать сообщение и доложить. Редактор «Огонька» В. Коротич, когда ему предоставили слово для справки, сказал, что очень хотел бы, чтобы так, как предлагается, КПК при ЦК КПСС и Генеральный прокурор СССР наконец дали оценку тому, о чем говорят следователи, и либо наказали тех, о ком идет речь, либо наказали следователей и журналистов, позволивших себе поставить под подозрение невинных людей.

Тут тоже раздались аплодисменты. И прозвучал голос из зала:

— Есть ли среди делегатов подозреваемые?

В. А. Коротич ответил, что четыре человека перечислены в названном документе, они делегаты конференции.

Я не только не жажду ничьей крови, но, наоборот, мне хочется, чтобы в нашем обществе как можно меньше оставалось виновных, исчезла нетерпимость, не приумножалось зло, чтобы слову «товарищ», которое давно уже стало просто официальным обращением, вернулись его первоначальное значение и смысл, объединяющий людей, и вновь обрело высокое звучание слово «гражданин»; а оно у нас перекочевало в суды, оставлено подсудимым, которые лишены права говорить «товарищ», а только — «гражданин судья...», «гражданин прокурор...»

Но вот подумал я: как со временем, когда Прокуратура и КПК закончат расследование и, допустим, указанные факты подтвердятся — как тогда это прозвучит: «не допустить потерь от шельмования»?

Слово «шельмование» возникало не раз, и все — по отношению к прессе. Конечно, пресса совершала ошибки. И не только потому, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Пресса — часть нашего общества. Она способствовала переменам в жизни, в мышлении людей, и сама менялась. Не только учила демократии, но и училась. В том числе, училась на своих ошибках. И, я думаю, в общем оказалась неплохим учеником. Не случайно так выросли тиражи журналов, так изменилась духовная жизнь. И раздаются сейчас тревожные звонки в редакцию: «Неужели, правда, опять лимитируют подписку?..» Да и никто же не заставляет людей в шесть утра в субботний день становиться в очередь к газетным киоскам. А это все же что-то значит.

Впрочем, общее наименование «пресса» мало что объясняет. Перестройка обнажила многие, как их теперь называют, негативные явления, затронула интересы людей, слоев, групп, и сразу наши газеты и журналы перестали напоминать то тихое озерцо, которое в безветрии затягивается ряской и тиной. Она расчистила ключи, из которых уже вода переставала бить. В обществе отчетливо определились позиции. И вот интересно: те, кто на Партконференции критиковал прессу, гласность, приводил примеры, все они почему-то обошли молчанием так на-

зываемое «письмо» Нины Андреевой в «Советской России». Какая странная забывчивость. А ведь там была сформулирована и опубликована платформа антиперестроечных сил, уж куда больше. По сравнению с таким выступлением все остальное — частности. Но вот частностями возмущались, а «слона-то», как говорится, и не приметили.

Впрочем, не все выступавшие оказались забывчивы. Михаил Ульянов, чью страстную речь считаю блестящей и по содержанию, и по форме, сказал: «Есть у нас сегодня такие правовые, юридические, политические, конституционные гарантии, права, законы, которые бы оградили нас от возможного бесконтрольного администрирования, а там, глядишь,— и культ? Нет. И наша архиважная задача и народа, и партии найти, во что бы то ни стало найти, выработать такие законные гарантии, которые были бы непреодолимой преградой для любого лихого желателя покомандовать, попутать народ, пустить кровь. А что подобное абсолютно реально, показала горькая и жутковатая история со статьей Нины Андреевой. Эта статья застала нас врасплох. Многие, не все, но многие уже вытянули руки по швам и ждали следующих приказаний.

М. С. Горбачев. Михаил Александрович, она прислала письмо. Вот здесь, сейчас к нам поступило, передали. Члены Президиума будут читать письмо. Она настаивает на своем.

М. А. Ульянов. Вот видите как! Но не в ней дело, дело в нас, что мы перепугались ее письма. Вот что страшно. (Аплодисменты.) И появись они, эти указания, их моментально бросились бы выполнять, не задумавшись и не колеблясь. Раз написано в газете, значит, это указание. И хоть душа болела, а подавляющее большинство замерло и ждало предначертаний. И понимали, что это неверно, а ждали, тряслись, но терпеливо, послушливо и обреченно ждали. А не появись статья в «Правде», всколыхнувшая оцепенение, общественное молчание, ожидание, как шла бы наша конференция сегодня? Вот ведь как глубоко в печенку въелись в нас послушливость и бездумная исполнительность! 150 лет назад Александр Сергеевич писал:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Оглушила на время нас эта статья. Как выяснилось, мы еще боимся «сметь свое суждение иметь». Ну, положим, можно понять человека времен культа: боялись за свои головы. Действительно, было страшно, наверное. Можно понять человека времен волюнтаризма: верили без оглядки Хрущеву. Понять бы можно человека времен застоя, когда вообще ни во что не верили, видя вселенскую ложь и воровство. Но сейчас-то чего ждать? Сейчас-то что мешает определиться, когда развязаны руки, раскрыты души? Неужто опять проклятый страх, который сидит в наших генах? Истинно сказано: надо прежде всего перестраиваться самому. Но, думается, что без правовых, экономических, политических, юридических рычагов, способных создать законоохранное государство, не удастся изменить нам самих себя. Человеческий фактор без правовых основ не сыграет никакой роли. Так я думаю».

За грузинским столом, в праздничном застолье есть обычай: о каждом присутствующем сказать хорошие слова. Народные обычаи не возникают на пустом месте, в них — и опыт, и мудрость народа. Тост в честь достойного человека произнести приятно, приятно отметить его заслуги. Ну, а если рядом сидит человек, заслуг не имеющий, ему тоже скажут приятные слова. Люди собрались для веселья, зачем портить настроение себе и другим? Это говорится как пожелание, мол, перечисленных достоинств у него пока что нет, но, услышав, каким его хотят видеть, он эти достоинства в дальнейшем обретет.

Заздравный жанр есть и в литературе, мы помним время, когда он становился преобладающим. Но здравицы не прибавили обществу здоровья. Когда литература, когда пресса не замечает пороков, она воспитывает равнодушных, поощряет жестоких. Потребовался диагноз точный и мужественный. И он был дан на апрельском Пленуме, на XXVII съезде. Но все же с особенной силой он прозвучал в дни XIX Партконференции. Это были вдохновляющие дни. А впереди будни. И в буднях трудовых, в делах наших должно решаться главное.

Дела эти не будут легкими. То, что накапливалось десятилетиями— и в хозяйстве, и в сознании людей,— не переменишь за короткий срок. Чуда ждать неоткуда. Потребуется время. Это надо ясно сознавать: потребуется время. А от каждого из нас — терпение, бескорыстие и готовность выстоять в трудностях. Они будут, ждут нас трудности немалые. И будут противники на разных этапах, будут те, кто выжидает, куда оно всё повернется, поглядывает со стороны. Вот за них, за выжидающих — особая борьба. Потому что всенародным усилием мы одолеем все, врозь мы можем все потерять. И приверженность малой родине, и национальная гордость — все это не должно заслонять для нас чувство Родины единой.

В дни работы Партконференции и сразу же после нее редакция наша получила небывалое количество телеграмм, писем, телефонных звонков, выражающих поддержку литературно-общественной позиции журнала. Примем их как аванс, как пожелание, которое нам предстоит выполнить. Журнал, если он хочет отвечать духу времени, помогать народу в его делах, воспитывать, а не регистрировать задним числом, это должен быть живой, самонастраивающийся механизм.

Цель перестройки — новый, гуманный социализм. А потому перестраиваться должно не только хозяйство, но и мы сами. Мы знаем, куда хотим прийти, какое место должна занять наша страна среди стран и народов, но не менее важно, какими мы придем к нашей цели, какие средства выберем на пути к ней. Не для отдаленного будущего, которого нам увидеть не суждено, а для нас, нынешних, совершается перестройка всей жизни. Это значительно трудней.

Так с ясным сознанием, а не со слепой верой, с точным знанием своих сил и возможностей — за работу. Время действий.

Г. БАКЛАНОВ

Михаил Дудин

НА ПОВОРОТЕ В ЗАВТРА

★

Смеркается. Зажглась звезда.
Серо и сиро.
Идут ночные поезда
В пустыни мира.

Уходит муза в свой черед
Куда-то в гости.
И вслед за ней метель метет,
И ломит кости.

Не спрятать в глубине двора
Души истому.
И мне, наверное, пора
Уйти из дому.

Туда, к неведомой черте,
В туман и вьюгу,
К блуждающему в темноте
Ночному другу.

★

Здесь есть твои страницы
И тайной страсти знак,
Оставленный от птицы
Ночной для двух зевак,

Которые в запале
Обманчивых сует
Позорно прозевали
Земного счастья след.

Которые, не зная,
Чем этот путь чреват,
Себя лишили рая
И повернули в ад.

На бешеном разгоне
За птицей новизны
Летят лихие кони
Все дальше от весны.

Всех вместе или порознь
Без счета и числа,
Нас эта суперскорость
В пустыню занесла.

И мы летим над бездной,
Стараясь не упасть
В ее тоской железной
Зияющую пасть.



Нас тешит ранней ранью
Старательный мороз
Серебряною сканью
Украшенных берез.

И пропадает горе
По манию зимы
В пленительном узоре
Студеной Хохломы.

С живым роднится телом
Морозное тепло.
Как чисто в мире белом
И на душе светло!

И этот свет безмерный
Без края, без конца
И делает, наверно,
Из варвара — творца.

Из дневника Гамлета

1

Давно одна напасть
Для всех определилась:
Идет война за власть,
А не за справедливость.

2

Война да голод, кнут да гнет,
Самоуправство власти.
За что тебе в веках, народ,
Такой судьбы напасти?

Там — море крови позади.
Там, впереди — пустыня.
И еле теплится в груди
Забитая святыня.

1982

★

Опять, закрыв глаза,
Под гнетом старой ноши,
Мы голосуем «За!»
И хлопаем в ладоши.

Но солнце на стреху
Не всходит по карнизу.
Нет света наверху
И смутный сумрак снизу.

Стихи, написанные 11 марта 1985 года

Давно пословицы слова
Гласят не лиха ради:
Когда болеет голова, —
Все тело лихорадит.

А власть, что там ни говори,
Не каждому в заслугу.
Извозчик выбился в цари
И — умер с перепугу,

То ль от тяжелых новостей
Международной части,
Или от лести всех мастей
На всех этапах власти,

То ль от дотошных стариков,
Мечтающих украдкой
Лечь в основание веков
Кремля под красной кладкой...

В оцепенении немом
Жизнь жаждет слова-дела.
Ужели честью и умом
Россия оскудела?

Каким он будет, новый князь,
Чем мир земной прославит,
Куда, через какую связь
Полет времен направит?

Какой земля услышит плач —
Рождения иль смерти?
Кто, светлый гений иль палач
Наш крестный путь очертит?

Гляжу с тревогою вперед
В надежду и потерю.
В судьбой задерганный народ
Своей судьбою верю.

Пусть песни честные слова
Звучат светло и смело
И ясной мысли голова
Не лихорадит тела.

На повороте в завтра

...Мировой революции требуется мировая совесть.
Велимир Хлебников

Расти свой хлеб. Не жди поблажек.
Везде и всюду — произвол.
Крест христианской веры тяжек
И крест неверия — тяжел.

От пятилетки к пятилетке
Без отдыха на рубеже...
Горят глубинные отметки
Всех наших бед в моей душе.

Об этом ясно и не сухо
Сейчас строчат карандаши,
И объясняется разруха
Разрухой духа и души.

Глаголет память точной речью
О том, как в гибели идей
Плодилось горе человечье
Куда быстрей самих людей.

И эта память не отторгла
От трезвой мысли горький бред,
И в слепоте тех лет восторга
На все неполный даст ответ.

Но счет погибших миллионов
Людей в войне и в лагерях
И гибель «фракций и уклонов»
Нельзя держать на якорях.

Сейчас она выходит зримо,
Боль наша, бывшая внутри.
...Душой раба и подхалима
На эту память не смотри!..

Пусть эта память моровая
Не зарастает муравой.
Пусть зреет совесть мировая
В ее тревоге мировой.

Мир это, не заметив, перенес

Памяти 270 женщин Узбекистана, которые сожгли себя в прошлом, 1987 году.

В Узбекистане женщины горят.
О том не пишут и не говорят.

Какая боль поруганных сестер
Возводит на страдальческий костер?

Что заставляет их гореть в огне? —
Понятно им и неизвестно мне.

О том не пишут и не говорят,
И фениксы над прахом не парят.

В бензине, распаленном добела,
Уходят в вечность души и тела

Из мрака лживой жизни, как протест
Тоски несостоявшихся невест

И горькой правды материнских слез.
Мир это, не заметив, перенес.

Как медленно чернеет белый свет.
И радости на белом свете нет.

И медленно рождается во мне
Свобода очищения в огне.

Весь мир — молчит, и Бог — не говорит.
А у людей грядущее горит.

Три письма в Армению

1. Левону Мкртчяну

Из глубины идет кровавый след,
И старый ужас шевелится в прахе
Былых времен. Не от рассвета снег
Порозовел в Нагорном Карабахе.

Безумие берется за ножи,
И переходит ненависть границы.
Былые обнажают рубежи
Забитой справедливости страницы.

И трезвый разум повторяет вновь
Всей горькой правдой, заключенной в слове,
Что кровь за кровь рождает только кровь
И род людской осатанел от крови.

Не кровь, а мудрость победить должна.
Она для всех равна и справедлива.
И ей одной понятна и видна
Грядущего живая перспектива.

Услышь и ты ее живую речь
В пылу раздора и переполоха.
...А тот, кто первым поднимает меч,
Как правило, всегда кончает плохо.

2. Сильве Капутикян

Опять над Араратом в небе рваном,
В один поток смещая времена,
Из темных туч мелькает ятаганом
Холодная и острая луна.

Не в первый раз ты терпишь неудачу,
Не в первый раз тебя гнетет печаль.
И я с тобой об этом вместе плачу,
В твоей судьбы заглядывая даль.

Там все опять на прежнее похоже.
И эта ночь о будущем скорбит.
И возникает, как мороз по коже,
Ошеломленный кровью Сумгаит.

Нам память жжет любви душа земная
Своею страстью вечно молодой.
Но жизнь летит, все на пути сминая
И не считаясь с нашею бедой.

А мы еще в душе лелеем сад свой
И спорим с обнаженною тоской.
А мы еще надеемся на братство
И откровенье совести людской.

3. Виктору Амазасповичу Амбарцумяну

У каждого — своей души потреба.
И каждый гений новой страстью пьян.
Давно в живую бесконечность неба
Нацелил телескоп Амбарцумян.

Он в выборе своих открытий волен.
С ним мир вселенский не бывает нем.
Он вечность мигу подчинил. Он болен
Судьбой внегалактических проблем.

Он, междузвездных расстояний практик,
Давно ветрами космоса пропах.
И вот ему — гармонию галактик
Загородил Нагорный Карабах.

Как будто бы в земных страстей раздоре
У восклицанья: «Дальше не пройти!» —
Отчаянно заговорило горе
Страстей и судеб Млечного Пути.

Вселенная его заботой шире
Становится для всех в кипящей мгле.
Жизнь без конца! И все возможно в мире!
И даже мир на горестной земле.

★

Рдеет роза на столе,
Словно выстрел в хрустале.

И гремит
За датой дата,
И слепит
Мои глаза
И рассвета и заката
Жизни
Красная гроза.
И опять мелькает вновь,
Спотыкаясь на бегу,
Наша жизнь
Краснее крови
На истоптанном снегу,
Нищей радостью
Богата,
Битой совестью
Бела.
...Ты забыла,
Что когда-то
Белой розою была.

Памяти Осипа Мандельштама

Вождь не помиловал. И Бог
Не спас его от лютой смерти.
И опоздало на порог
Освобождение в конверте.

Он был рожден не для тюрьмы,
А умер около параши,
Там, на краю полярной тьмы,
Где даже страх уже не страшен.

В тюрьме, холодной, как сугроб,
Душа от тела отлетела.
И вши к нему на гордый лоб
Сползлись с измученного тела.

Изгой и пасынок судьбы
Унес с собой свои печали.
И телеграфные столбы
Об этой смерти промолчали.

Он был высокой правде рад
И прожил жизнь свою поэтом.
И перед жизнью виноват
Был только в этом, только в этом.

★

Все точно выразить не смею,
Все нужных слов не подберу
О том, что я судьбой своею
Уж на чужом сижу пиру.

И замечаю: где-то сбоку,
На поединке двух сторон,
Звучит мой голос одиноко
Своей ненужностью не в тон.

Но что из этого! И ныне
Я горький опыт не корю.
Не в утешение гордыни,
А ради правды говорю:

Пусть не мостом, гремящим славой
Времен речений и речей, —
А был я малой переправой
В две жердочки через ручей.

И мне порой бывало круто
В том неразведанном пути,
И я судьбой своей кому-то
Помог в Сегодня перейти.

Фазиль Искандер

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Роман «Сандро из Чегема», который я, кажется, пишу всю жизнь и даже дольше, хотя и с немалыми перерывами, наконец обещает напечатать в полном виде одно наше издательство. От более точных указаний (где и когда) пока воздержусь из соображений, которые для приличия назовем суеверными.

Данные главы были написаны лет пятнадцать назад, и не по капризной воле автора, что легко поймет читатель, не могли быть тогда напечатаны. Впрочем, как и многие другие, которые теперь с божьей помощью и с помощью перестройки публикуются в разных журналах в виде самостоятельных новелл.

Ф. ИСКАНДЕР

История молельного дерева

В начале тридцатых годов волна коллективизации дохлестнула до горного села Чегем, дохлестнула, смывая амбары и загоны и швыряя в общий котел все, что подворачивалось на пути,— буйвол, так буйвола, свинья, так свинью, овца, так овцу: хватай за курдюк и швыряй туда же — в большом хозяйстве все пригодится!

Отец дяди Сандро, старый Хабуг, считался одним из самых зажиточных людей села. У него было около тысячи коз, десяток коров, несколько буйволиц, несколько верховых лошадей, четыре осла и пять мулов.

Четверо сыновей, не считая дяди Сандро, и сам старик держали в руках и вели это хлопотное и нелегко собранное хозяйство.

Как это бывает в горах во время грозы, кругом ливень, а тут, на взгорье, почему-то не задетом грозой, нет-нет да и выглянет солнце, так и многие чегемцы надеялись, что и колхозное поветрие, дурь грамотеев в чесучовых кителях, авось как-нибудь пронесет.

Ведь пронесло коммунию, остались только воспоминания об общих обедах, похожих на ежедневные пиршества, да большие черные следы от костров во дворе сельсовета, где готовили еду, да всякие шутки по поводу этого короткого, но веселого времени. Вот и ждали чегемцы, гадали, переминались.

Но по всему было видно, что власти на этот раз шутить не собирались. Сначала в колхоз вошли самые бедные, потом дрогнули и стали откалываться от остальных и крепкие самостоятельные хозяйства.

Хабугу тоже предлагали, да он все отшучивался, отговаривался, делал вид, что у него на этот счет какие-то особые сведения, свои вести, свой хабар, который вот-вот подтвердится, и тогда все пойдет по-другому. Но хабар никак не подтверждался, и в конце концов председатель пригрозил, что лишит его права голоса.

— Ты бы лучше лишил голоса моего осла, а то он у меня слишком голосистый,— ответил ему Хабуг, не очень понимая, что означает это право голоса. Он решил, что председатель ему не даст говорить на сходках, да ведь на сходках каждый может говорить, лишь бы тебя крестьяне слушать хотели.

Всякие уполномоченные, которые приезжали из города и по давней традиции останавливались у него в доме (это-то и придавало ему смелости), тоже советовали входить в колхоз, потому что податься, говорили они, все равно будет некуда.

Председатель колхоза особенно нажимал на Хабуга, потому что он пользовался у чегемцев тем ненавязанным и потому устойчивым авторитетом, которым пользуются во всех областях жизни знатоки дела.

Тем более в таком открытом деле, как ведение хозяйства, где каждый кукурузный початок старается быть похожим на своего хозяина и каждый бараний курдюк шлепает по заднице барана с той силой тяжести, которую придает ему владелец барана.

И он, председатель, знал, что многие колеблющиеся перейдут на сторону колхоза, если Хабуг вступит в него.

Слухи о том, что некоторых богатых крестьян высылают в Сибирь, уже дошли до Чегема. Таких было в Абхазии очень мало, но все-таки были, и сам Хабуг об этом знал. Знал и раздумывал, потому что многое было не понятно старику.

Так, было не понятно, где будет колхоз держать скотину, если ее соберут со всего села. Почему не строят заранее больших коровников и крытых загонов для овец и коз? Какая сила заставит крестьян хорошо работать на общем поле, когда иной и на своей усадьбе работает кое-как?

А главное, чего не выразить словом и чего никогда не поймут эти чесучовые писари, кто же захочет работать, а может, и жить на земле, если осквернится сама Тайна любви, тысячелетняя, безотчетная, как тайна пола? Тайна любви крестьянина к своему полю, к своей яблоне, к своей корове, к своему улью, к своему шелесту на своем кукурузном поле, к своим виноградным гроздьям, раздавленным своими ногами в своей давильне. И пусть это вино потом расхлещет и расхлебает Сандро со своими прощелыгами, да Тайна-то останется с ним, ее-то они никак не расхлещут и не расхлебают.

И если он выручает деньги за свой скот или табак, так тут дело не только в деньгах, которые тоже нужны в хозяйстве, а дело в том, что и на самих этих деньгах, чего никак не поймут все эти чесучовые грамотеи, на самих этих деньгах лежит сладкое колдовство Тайны и, может, тем они и хороши, что, щупая их, всегда можно прикоснуться к Тайне.

А то, что в колхозе обещают зажиточную жизнь, так это вполне может быть, если все же и коровники вовремя построить, и к ферме приставить знающих людей, и землю вовремя обработать... И все же все это будет не то и даже как бы ни к чему, потому что случится осквернение Тайны, точно так же, как если бы по наряду бригадира тебе было определено, когда ложиться со своей женой и сколько с нею спать, да еще он, бригадир, в особую щелочку присматривал бы, как ты там усердствуешь, как они говорят, на благо общества (доверяй, но проверяй!), а потом выговаривал бы при всех или, что еще противней, благодарил бы тебя от имени трудящихся всех стран.

И недаром поговаривают, мол, подождите, пока коз да коров обобщают, а там и жен ваших обобщат, будете спать, говорят, всем селом в одной казарме под одним стометровым одеялом.

И хотя, наверное, это сказка, но крестьяне ее правильно поняли, потому что не в самой жене дело, а дело в живом хозяйстве, которое любишь и с которым, как с женой, связан Тайной.

И подобно тому, как никто не ложится с женой, затаив заносчивую мысль догнать и перегнать по населению другое село, а то и город, крестьянину, который выходит в поле, и в голову не приходит с кем-то там состязаться, словно это скачки, или стрельбище, или еще какие-нибудь праздничные игры.

И тем более никому в голову не приходит, что он, выворачивая плугом землю, помогает каким-то там китайцам или германцам. Да и как можно помогать чужим, незнакомым людям? Может, они-то как раз против тебя что-то задумали, а ты еще и помогаешь им. Ведь не влезешь к ним в голову, не узнаешь, чего они там задумали против тебя?!

А то, что в некоторых долинных колхозах молодежь в самом деле состязается, чтобы получить в награду патефончик или еще что-нибудь в этом роде, так это ни о чем не говорит.

Настоящего крестьянина такие ребяческие награды не могут заставить хорошо работать, потому что нельзя Тайну превратить в Игру.

Игра связана с праздничным азартом и проходит вместе с ним, а Тайна связана с жизнью, и, может, вместе с жизнью она покидает крестьянина, а то, может, он и уносит ее с собой на тот свет, чтобы и там она его тешила, если вообще есть тот самый свет.

Кумхоз идет! Кумхоз!

Среди новшеств новой власти одно нравилось старому Хабугу — это то, что в селе Чегем, как и во многих других горных селах, открыли школу. Пусть наши дети и внуки, думал он, учат грамоту, пусть среди этих чесучовых кителей будут наши люди, которые, может быть, в конце концов откроют глаза этим горлопанам и втолкуют им самую суть крестьянского дела.

Ведь что бы ни говорили крестьяне на сходках, все же самого главного они не высказывали, потому что этого и не передать словами, потому что об этом ни с кем и не говорят, потому что своему это и так понятно, а чужому не скажешь, потому что Тайна она потому и Тайна, что связана со стыдом.

И хотя понимал старый Хабуг, что и наши ребята, что сейчас учатся в школах, к тому времени, когда они понадобятся на чесучовых должностях, пожалуй, забудут о Тайне или сделают вид, что ее не существует, может, эти самые чесучовые кители им и выдают в самый раз, как только определится, что они окончательно оторвались от своих. И все-таки...

И все-таки надеялся старый Хабуг, что хоть один из них не забудет отцовской печали, затаит ее в самой глубине своей души, притворится ничего не помнящим и ему по этому случаю даже раньше, чем остальным, выдадут чесучовый китель...

И может быть, он прорвется до самых верхов и однажды окажется в кабинете самого Большеусого и тут-то выворотит ему всю правду, одновременно расстегивая и скидывая чесучовый китель. И тогда задумается Большеусый и скажет:

— Пожалуй, набедокурили мы тут с этим делом... Знаешь что, надевай этот китель и занимайся своими крестьянами от нашего имени. Пусть они живут, как хотят, только пусть налоги платят исправно. А я займусь своими рабочими, и не будем друг другу мешать...

Только бы сказал такое Большеусый, уж мы бы для него постарались, уж мы бы его завалили нашим добром до самых усов. Да разве скажет?

Да, высоко заносила мечта старого Хабуга, но, очнувшись, он возвращался к своей зубной боли: «Что делать? Кумхоз идет! Кумхоз!»

В одно летнее утро старый Хабуг поймал у себя в стаде самого пушистого, самого белого козленка, связал ему ноги, взвалил на плечи и, заткнув за пояс топор, вышел со двора.

Он договорился с домашними, чтобы они не смотрели ему вслед, но чтобы все приходили к молельному дереву часа через два, когда все будет готово.

Молельное дерево — гигантский грецкий орех — росло в котловине Сабида рядом со скотопрогонной тропой.

Летом, когда перегоняли скот на альпийские пастбища, пастухи приносили дар божеству, то есть резали козла или барана, мясо варили и ели, а голову вешали на железные крючья, вбитые в ствол. Если крючья были заняты, то головы тоже варили и ели. Было замечено, что в последние годы, когда из долин стали пригонять колхозный скот, некоторые пастухи, принося жертву, съедали жертвенные головы, даже если крючья и не были заняты. Авось обойдется, рассуждали они, да еще неизвестно, как относится божество, охраняющее четвероногих, к колхозному стаду.

Этому грецкому ореху поклонялись с незапамятных времен. Был он огромен и наполовину высох от прожегшей его когда-то молнии. Часть веток высохла, но часть еще зеленела и продолжала плодоносить. Толстая виноградная лоза обвивалась вокруг него и расплеталась у вершины по всем веткам. Виноград на высохших ветках, словно в утешение за этот удар молнии, бывал особенно обильным и сладким.

Ствол грецкого ореха был дуплист чуть ли не до самой вершины и при сильном ударе издавал вибрирующий звон, долго не затихавший. Он звенел и гудел, как гигантская струна, протянутая от земли к небу.

Кроме крючьев, из ствола торчали несколько наконечников проржавевших стрел и лезвие грубого старинного топора, всаженного на такой высоте, на какой и всадник не мог бы достать. Может быть, из-за этого лезвия жители Чегема считали, что в этих местах когда-то обитали великаны.

Внизу в дупле хранился котел для варки мяса. Им пользовались те, что приходили замолить божество, да и просто пастухи, которых ночь заставала поблизости, потому что для привала место было удобное — и вода поблизости, и шатер уцелевших веток такой плотный, что дождь и в непогоду почти не просачивался сквозь него.

Старик подошел к стволу, осторожно снял с себя козленка, положил его к подножию дерева, пробормотал несколько слов-заклинаний и, вынув из-за пояса топор, по принятому обычаю со всей силы всадил его в упругий ствол.

Странно знакомый звук, вибрируя в полом теле дерева, добрался до вершины и растаял в небе. Старый Хабуг, потрясенный догадкой, слушал, пока звук совсем не растаял в небе. Тогда он одним сильным качком вытащил топор из ствола и снова его всадил в дерево.

— Кум-хоззз...— прозвенел ствол и, как легкий, смиренный выдох, замолк в бесконечном небе. Старик растерялся. Он ожидал более сложного, более загадочного ответа божества, который надо было бы еще толковать и толковать, а это было слишком ясно и потому страшно. Старик вытащил топор и снова ударил по стволу.

— Кумм-хоззз,— прозвенело дерево печально и внятно.

— И ты туда же?! — взревел старый Хабуг и, вытащив топор, в ярости стал бить и бить по стволу обухом.

— Кум-хоз! Кум-хоз! Кум-хоз! — волнами прокатывалось по телу старого дерева.

Старик остановился, утер рукавом пот со лба, вонзил топор в ствол, последний раз прислушался к безнадежному звуку и взялся за козленка.

Он перерезал ему ножом глотку, дал стечь крови к подножию дерева, потом подвесил его за ножку к одному из вбитых в ствол крючьев. Освежевав тушку, он снял ее с крюка и воткнул туда головку козленка с открытыми перламутровыми глазами, с рожками, как два любопытных росточка, приподнявшимися над белым пушком лба.

Старик вытащил из дупла котел, вложил в него небогатое мясо козленка и, спустившись к роднику, тщательно вымыл и котел и мясо. Потом он набрал в котел воды и снова поднялся наверх, подправил камни открытого очага, поставил на них котел, набрал сухих веток и разжег огонь.

Часа через два вся семья старого Хабуга сидела на расстеленных зеленых стеблях папоротника и ела дымящееся мясо козленка, разложенное на этих же ветках.

Притихший дядя Сандро сидел рядом с отцом, как недоблудивший блудный сын, загнанный обстоятельствами в родной дом и вынужденный пребывать в застольном смирении.

На следующий день старик пришел в сельсовет и записался в колхоз. Он сдал колхозу половину своего четвероногого имущества.

Один из его сыновей, тот, что был приставлен к козам, привел все стадо во двор сельсовета и вместе с комсомольскими активистами пересчитал его и отделил пятьсот голов.

К этому времени в сельсовете собралось множество крестьян, чтобы посмотреть, как сам Хабуг будет вступать в колхоз. Старик вел себя с достоинством и ничем не выказывал своего отношения к происходящему.

Когда сын его, тот, что с отрочества был приставлен к козам, подошел к активистам, что вели учет сданному скоту, один из них зажал нос и отвернулся, потому что пастух за многие годы пастушества насквозь пропах козлом.

— Сдал бы всю скотину, Хабуг,— пошутил один из комсомольцев,— глядишь, к следующему году с твоего сына выветрится козлиный дух.

Многие посмеялись этой шутке, а старый Хабуг подумал и не спеша ответил:

— Придет время, будете искать, где бы понюхать козла...

Многие посмеялись его ответу, а иные и призадумались. Председателю слова Хабуга не понравились, но он промолчал.

Говорят, когда сын Хабуга выходил со двора со своим ополовиненным стадом, люди видели, как он концом башлыка утирает слезы. Так вот и удалялся, утирая слезы, что мне кажется плодом фантазии крестьянских мифотворцев, как бы подготовляющих слушателя к тому, что случилось дальше.

Как только сын Хабуга со своим облегченным стадом вышел за ворота, оставшиеся козы с блеянием ринулись за ним. Несмотря на старания активистов удержать и загнать их назад, они прорвали эту оборону и стали перемахивать через ворота, а потом и ворота проломали. По словам очевидцев, козы не то чтобы влились в стадо, а прямо-таки старались впрятаться в него, втиснуться в самую середину. Говорят, вся эта сцена произвела на собравшихся крестьян тяжелое впечатление. Они решили, что скот не хочет идти в колхоз, потому что предчувствует свою гибель.

Особенно все это не понравилось председателю. Ему показалось, что случившееся было заранее продумано и разыграно старым Хабугом по договоренности с сыном, если не с самими козами.

— Ответишь за это,— сказал он, кивнув на ворота, куда устремились козы.

— Сначала пусть он ответит,— промолвил Хабуг, глядя, как его козы проламывают ворота сельсовета.

— Кто он? — спросил председатель, насторожившись.

— Он,— сказал Хабуг и, продолжая следить за своими козами, показал пальцем в небо. Все понимали, что Хабуг имеет в виду Большеусого, хотя доказать это было невозможно.

Сыну Хабуга пришлось снова загонять стадо во двор, снова пересчитывать и половинить его, и, может быть, в том была высшая справедливость — дать каждой отделенной козе еще один шанс остаться с хозяйской половиной. На этот раз сын Хабуга остался с той половиной, которую отдавали колхозу. Криками успокаивая взволнованное стадо, он стоял перед ним, пока один из комсомольцев не отогнал другую половину на порядочное расстояние.

* * *

Председатель колхоза, звали его Тимур Жванба, был человек из того всероссийского типа яростных недоучек, которых тогда обильно вытягивал из толпы магнит времени.

До приезда в Чегем он работал в кенгурийской школе учителем ботаники, хотя по темпераменту больше подходил зоологии. Тем не менее он успешно выступал на собраниях и откровенно, на глазах у живого завуча, правда, до смешного похожего на дореволюционного интеллигента, метил на его место и был близок к цели.

Но цели не достиг, потому что однажды на уроке он неожиданно съездил по уху ученика, спутавшего лавр благородный с обыкновенной лавровишней, что, естественно, не понравилось отцу этого мальчика, командиру погранзаставы. Последнее обстоятельство не давало возможности пренебречь ухом мальчика, как классово чуждым, и над темпераментным ботаником стали сгущаться районные тучи.

Директор школы, воспользовавшись этим обстоятельством, с молчаливого согласия гороно сплавил его в Чегем, как человека, близко знающего природу. Партийный актив Кенгурска, считая свой городок значительным очагом культуры, неохотно его покидал, тем более ради глухой, как они считали, горной деревушки Чегем. Так Тимур Жванба оказался председателем чегемского колхоза.

Сначала чегемцы отнеслись к нему благодушно, но потом оказалось, что он, если и знает природу, то не ту, которая окружала чегемцев. А главное, выяснилось, что он страдает высотобоязнью. А выяснилось это тогда, когда он почему-то захотел спуститься на мельницу и вдруг остановился, как вкопанный, когда тропа запетляла по обрывистому спуску, в конце которого стояла мельница. Он так испугался, что уже не мог и наверх подняться, так что могучему мельнику Гераго пришлось подняться к нему, взвалить себе на плечи и донести до такого места, где уже не видно меловых осыпей обрыва.

Узнав о тайной болезни председателя, чегемцы не на шутку обиделись, но не столько на него, сколько на кенгурийский райком. Они решили, что райком прислал им председателя, забракованного в других местах.

— И мы не хотим,— сказали они председателю сельсовета и велели передать свое мнение в райком.

Махты, так звали председателя сельсовета, зная таинственные оттенки упрямства чегемцев, ибо сам был чегемцем, понял, что надо ехать. Кстати, все это делалось втайне от Тимура Жванбы, потому что чегемцы считали недопустимым нарушением законов гостеприимства так прямо в глаза ему сказать, что они его не хотят.

Махты вынужден был поехать в райком и в смягченной, правда, форме все это там рассказать. Он все делал в смягченной форме, потому что от природы был мягким человеком и никому не хотел зла. У него была такая философия: пусть всем будет хорошо, ну, а если это невозможно, пусть хотя бы мне будет хорошо.

— Политически подкованный, но нехорошую болезнь имеет,— кротко сообщил он секретарю райкома,— народ волнуется.

— Какую болезнь? — удивился секретарь.

— Стыдно сказать, но в пропасти смотреть не может,— краснея, признался Махты,— голова кружится, как у беременной женщины.

Тут он вынужден был рассказать про случай на мельнице.

— Какого черта ему на мельнице надо было? — раздраженно удивился секретарь райкома.

— Так просто, решил ноги промять,— отвечал Махты, упирая на полную невиновность председателя в случившемся.

— Ты мне скажи, с крыльца сельсовета он может сходить? — спросил секретарь, начиная терять терпение.

— Запросто! — обрадовался Махты и объяснил, что председатель легко берет и более крутые спуски, если при этом в кругозор ему не попадают провалы, ущелья и обрывы, особенно с меловыми осыпями.

— Оказывается, эта болезнь белый камень не любит,— уточнил он, чем окончательно вывел из себя секретаря райкома.

— Хватит! — перебил тот его.— Скажи председателю, чтобы на мельнице не показывался, а чегемцам — чтоб не морочили голову, а получше работали.

— На мельнице он и так показаться не может,— продолжал Махты с кротким упрямством,— а чегемцам так говорить нельзя, надо найти форму.

— Вот и найди форму,— сказал секретарь, вставая и этим показывая, что разговор окончен,— для этого ты там и поставлен.

И Махты поехал назад, по дороге ища форму. И он ее нашел. Он сказал, что в райкоме попросили чегемцев подождать, пока не найдут подходящего человека, которого перед присылкой в Чегем погоняют по самым козлиным тропам, чтобы проверить его нутро на пригодность к чегемским условиям.

— Хорошо,— сказали чегемцы, успокаиваясь,— пусть пока побудет этот бедолага.

Но председатель отнюдь не чувствовал себя бедолагой. Оказывается, он узнал о тайной жалобе чегемцев и на первом же собрании обрушился на них, исполненный ехидства и раздражения.

— Ну, чья взяла, троцкисты? — обратился он к ним, яростно улыбаясь.

Чегемцы не только не стали оспаривать свою принадлежность к этому опасному политическому течению, о существовании которого, впрочем, они и не подозревали, а просто не знали, куда деть себя от стыда.

В тот первый год чегемцы все еще воспринимали свое село, как свой дом, поэтому им стало так неловко. Позже, когда они перестали воспринимать свою землю как собственную землю, а следовательно, и председателя перестали воспринимать как гостя, хоть и незваного, они, чегемцы, стали отвечать на его излюбленные политические ярлыки цветастыми проклятиями, где угроза кровопускания порой затейливо уравновешивалась обвинением в кровосмесительстве. Я уверен, что они и эти самые политические ярлыки воспринимали, как тот же мат, только высказанный по-ученому, и, может быть, из-за своей непо-

нятности он казался им еще более похабным, чем их проклятия, выражением смутных чернильных извращений.

Кстати, председатель этот проработал в Чегеме около тридцати лет. За это время он, правда, несколько раз отстранялся на год, на два, но тут же, не выходя из сельсоветского двора, устраивался в школу, где преподавал, кроме ботаники, еще и военное дело. И тут точно так же, как колхозников, он распекал учеников, заставляя их маршировать по сельсоветскому двору, время от времени переходя на русский язык и обзывая нерадивых учеников бухаринцами.

Уже в наше время Тимур Жванба благополучно ушел в отставку и даже получил малоизвестный титул Почетного Гражданина Села, но тут с ним случился казус, полностью исключавший не только ношение этого высокого, хотя и малоизвестного, титула, но и обыкновенной гражданской одежды. Но все это случилось гораздо позже, и мы об этом расскажем в том месте, которое сочтем наиболее подходящим.

* * *

Весть о том, что молельный орех села Чегем при каждом ударе топора отвечает: «Кумхоз!» — и не только при ударе топора, а при любом ударе, и тем отчетливей, чем увесистей удар, быстро разнеслась по окрестным селам.

Верхом и пешим ходом сюда потянулись сомневающиеся, и каждый мог убедиться, что дерево честно отвечает на свербящий вопрос, хоть камнем огрей его, хоть головой бейся.

Дядя Сандро теперь целыми днями торчал возле ореха, потому что делать все равно было нечего, а в колхозе работать он все еще никак не решался. А тут крестьяне из окрестных сел стали привозить не только жертвенных козлят, но и вино в бурдюках. Жить становилось весело и любопытно.

Хотя в ответах молельного дерева трудно было усмотреть что-нибудь вредное для власти, все же председателю колхоза не нравилось это паломничество. Он чувствовал какое-то беспокойство от этого роения возле молельного ореха, от этих приездов, отъездов, разговоров и слухов.

В конце концов все это председателю надоело, и он запросил кенгурийский райком помочь ему принять меры против молельного дерева. Кенгурийский райком обещал прислать комиссию, чтобы на месте дать оценку ему как извращению линии, или, наоборот, случайному, но положительному явлению природы.

Через несколько дней в Чегем прибыла комиссия, состоящая из двух человек, и дядя Сандро лично ударами топора продемонстрировал единственное слово, которое из дерева можно было выбить. Больше всего сердца членов комиссии смягчило то обстоятельство, что дерево произносило чудотворное слово с чистейшим кенгурийским выговором.

— Бедняга, по-нашенски говорит,— прислушиваясь, улыбались члены комиссии, радуясь, как истинные патриоты своего района.

Для членов комиссии дядя Сандро выбирал теперь одному ему известные, самые звонкие, самые, можно сказать, вкусные места. Он дал каждому возможность ударить по дереву самому, показал, что можно бить и обухом, и в этом случае дерево все равно произносит то же слово, только несколько басовитей.

Для полноты проверки один из членов комиссии заглянул в дупло, зажег спичку и зачем-то прокричал: «Кумхоз!» — после чего спичка потухла, но это не вызвало у членов комиссии никакого подозрения.

— А что произносил орех до коллективизации? — спросил один из них.

— Бессмысленный звон,— ответил дядя Сандро.

— Очень хорошо,— сказали члены комиссии и, довольные, переглянулись.

Дядя Сандро повел их домой обедать, где за хорошо убранным столом он продемонстрировал уже собственные таланты.

Члены комиссии в самом хорошем настроении покидали дом старого Хабуга. Проезжая сельсовет, они встретились с председателем и посоветовали ему пока воздержаться от решительных мер, поскольку орех в общем и целом делает полезное нам дело.

— Приезжают тут всякие,— начал было председатель подкапываться под дядю Сандро, но члены комиссии не дали ему договорить.

Они посоветовали выделить политически грамотного человека, чтобы он приглядывал за тем, что происходит возле молельного ореха, и одновременно разъяснял приезжим колхозную политику партии.

Кстати, сказали они, Сандро, сын Хабуга, как раз подходит для этого дела, тем более что он ближе всех остальных живет к молельному дереву.

— Я ему не доверяю,— сказал Тимур, едва сдерживая ярость.

Двое верховых членов комиссии удивленно переглянулись. Их покачивающиеся фигуры как бы излучали марево гостеприимства Большого Дома, как называли дом отца дяди Сандро.

— Комиссия кенгурийского райкома ему доверяет,— сказал один из членов комиссии.

— А кенгурийский райком доверяет своей комиссии,— добавил второй, и они тронули лошадей.

— Теперь они не скоро обсохнут,— сказал председателю бывший писарь, а ныне секретарь чегемского сельсовета. Писарь лучше него знал привычки и нравы кенгурийцев, и председателю ничего не оставалось, как покориться, еще глубже возненавидев Большой Дом и всех его обитателей. Он не только смирился с тем, что молельный орех будет продолжать свою странную агитацию, но оформил дядю Сандро как ночного сторожа при колхозной бахче, хотя работа его проходила только в дневное время, если это можно назвать работой.

Дядя Сандро ожил и почувствовал себя при деле. Он поставил рядом с молельным орехом довольно вместительный шалаш, чтобы плохая погода не смущала приезжих из дальних мест, запасся дровами, очистил от колючих зарослей место для коновязи и стал встречать гостей, сидя в тени грецкого ореха с видом скромного дрессировщика.

В плохую погоду он сидел в своем шалаше у костра и, только услышав стук копыт, выходил из шалаша и смотрел на тропу, стараясь издали определить, кто это — сомневающийся паломник или просто мимоезжий всадник.

Однажды из села Анхара послушать говорящее дерево приехал известный острослов по прозвищу Колчерукий.

Дядя Сандро в это время сидел в шалаше и беседовал с тремя паломниками из Цебельды. Услышав стук копыт, дядя Сандро отставил свой стакан и вышел из шалаша.

Поздоровались. Хотя Колчерукий ничего не привез, дядя Сандро старался быть с ним повежливей — от Колчерукого никогда не знаешь, чего ожидать, пришлепнет каким-нибудь словцом, потом с кожей не отдерешь.

— Ехал мимо, думаю, взгляну,— сказал Колчерукий, останавливая лошадь и оглядывая дерево.

— Спешься,— сказал дядя Сандро с намеком на легкое застолье в шалаше.

— Стережешь? — спросил Колчерукий, одним взглядом объединяя дядю Сандро, дерево и шалаш, и, как бы взвесив возможности

этого мимолетного гостеприимства и, по-видимому, невысоко их оценив, он отвернулся от шалаша и посмотрел на дядю Сандро.

— Не стерегу, а присматриваю,— мягко поправил его дядя Сандро,— всякие приезжают, чтобы лишнее не болтали.

— Так давай же! — нетерпеливо проговорил Колчерукий, словно он дяде Сандро делал услугу тем, что выслушивал его дерево. Да, в сущности, так оно и было, потому что слово Колчерукого могло усилить или заставить иссякнуть поток паломников.

— Чем хочешь — топором или колотушкой? — спросил дядя Сандро. К этому времени он приспособил ударять по дереву колотушку для молотьбы кукурузы.

— Да по мне хоть ломом бей! — дернулся Колчерукий.

Дядя Сандро ударил несколько раз колотушкой по стволу и обернулся на Колчерукого. Тот слушал, по-кабаньи наклонив голову.

— Хорошо говорит,— согласился Колчерукий,— вот если б еще при каждом ударе из дупла сыпалась кукуруза...

— Какая кукуруза? — не понял дядя Сандро.

— Обыкновенная,— оживился Колчерукий,— если к дуплу изнутри подвесить мешок с кукурузой да сделать в нем дырочку, чтобы при каждом ударе — «Кумхоз!» — и горстка кукурузы падала.

— У меня без обмана,— сказал дядя Сандро,— комиссия из райкома смотрела.

— И сколько тебе дают за это? — перебил его Колчерукий.

— Полтрудодня,— сказал дядя Сандро.

— Да не колхоз — они! — кивнул Колчерукий вверх, в сторону всеобщего начальства.

— Они ничего не дают,— сказал дядя Сандро осторожно.

— А ты научи свое дерево говорить «заем»,— начал Колчерукий, трогая лошадь, которая сразу же пошла нетерпеливой рысью, и, теперь уже давая волю собственной ярости и как бы находя для нее внешнее оправдание в увеличивающемся расстоянии, он кричал: — Заем! Заем! То-то порадуется хозяин! Растак его усатую задницу под сенью твоего молельного дерева! Разэдак его...

Голос Колчерукого утонул в буковой роще, куда он заехал, продолжая извергать уже неразличимые ругательства. Дядя Сандро послушал затихающий голос и стук копыт, временами вспыхивающий на камнях, потом бросил колотушку возле шалаша и вошел в него.

— Кто это? — спросили удивленные гости.

— Да так, один,— сказал дядя Сандро, усаживаясь.

— Интересно, где он его имел в виду разэдак...,— спросил один из гостей после некоторого раздумья.

— Думаю, что в дупле,— сказал дядя Сандро, берясь за свой стакан.

— Да, пожалуй, в дупле,— согласился второй паломник, берясь за свой стакан.

— Остается самая малость,— сказал третий паломник, берясь за стакан,— загнать его в дупло.

— Да уж его загонишь,— вздохнул первый паломник,— боюсь, что, пока мы его словами, он нас на деле и растак, и разэдак.

— А что поделаешь, если и дерево пищит про то же,— согласился третий, и они опорожнили свои стаканы.

Все лето дядя Сандро продолжал присматривать за молельным орехом. Люди все еще приходили, хотя их становилось все меньше и меньше. Председатель молчал, дожидаясь своего часа. И дождался.

В начале осени началась кампания по борьбе с религиозными

предрассудками. В кенгурийской районной газете появилась статья под названием «Лишить попа трибуны», где предлагалось в согласии с желанием большинства населения закрыть уцелевшие церкви.

* * *

Я помню, как у нас в Мухусе закрывали церковь. Она была расположена недалеко от нашего дома и называлась греческой. Я смутно помню печальный, как бы бесплодно кующий воздух звон ее колокола, помню ее уютный дворик, по праздникам заполненный толпами молящихся и зевак, с неизменными нищими, уютно расположившимися вдоль ограды и встречающими каждого входящего сдержанной мольбой и цепким взглядом.

Помню, как однажды на макушке ее купола сидел рабочий, обвязанный веревками, и методичными ударами тяжелого молота сбивал с купола массивный медный крест. Видно, крест не очень поддавался (старинная работа), потому что рабочий этот несколько дней возился с ним, а потом, когда креста на куполе не стало, на макушке купола можно было разглядеть выбоину, словно он его выкорчевал, вырвал с корнем, как дерево.

Церковь была занята под общежитие студентов индустриального техникума. А через год или два студенты общежития-церкви перешли в другое помещение, а церковь сдали под архивы НКВД, как, таинственно шепчась, говорили об этом жители нашей улицы.

К этому времени я уже пробегал в школу мимо нее и видел холмики папок, вернее, их вершины, за стеклами витражей. Надо полагать, что это были папки с делами врагов народа, и, не вполне исключено, что сам господь бог, слетая из-под купола, где он был запечатлен, рылся в них по ночам, чтобы разобраться в их грехах. И, не разобравшись, надо полагать (иначе он принял бы какие-то меры), осторожно взлетал и снова вмазывался, вплющивался в потолок, чтоб и его самого невозможно было как-нибудь зацепить и сдернуть на землю, а там уж привлечь по какой-нибудь подходящей статье.

А потом во время войны ее снова открыли и опять стали называть греческой церковью, да ее собственно никогда и не переставали называть греческой церковью, но не в собственном смысле слова, а просто как привычный ориентир:

— Где дают керосин?

— Возле греческой церкви!

В один прекрасный день я снова увидел на вершине купола рабочего, обвязанного веревками, возможно, это был тот же самый рабочий, но теперь он присобачивал крест к вершине купола. Но даже и ребенку было видно, насколько этот крест не соответствует архитектуре здания. Старый крест был массивный, толстый, блестящий, а этот по сравнению с ним был как хилый росточек того мощного дерева. Нет, не на той земле он вырос! Я даже думаю, что этот крест раздобыли на Михайловском кладбище, сняли с какой-нибудь зажиточной дореволюционной могилы.

Так или иначе, церковь снова заработала, и дворик ее снова превратился в биржу нищих, и снова длинноволосые попы деловитой походкой входили в церковный двор, отстраняясь от богомолок, как чиновник райсовета, проходящий в свой кабинет, от хватающих его на ходу посетителей, и было одно непонятно, где их все это время держали и как они ухитрились маскировать свои длинные волосы.

А церковь по-прежнему называли греческой и продолжали называть даже после того, как в 1949 году всех греков, вместе со стариками и детьми, партийцами и беспартийными, сгребли в одну кучу и переселили в Казахстан. А потом, после Двадцатого съезда, когда им

разрешили вернуться, вместе с чудом уцелевшими стариками и повзрослевшими детьми, вместе с бывшими партийцами, ставшими беспартийными, те, что вернулись, а вернулось ничтожное меньшинство, так вот те, что вернулись, могли убедиться, что в нашем городе церковь по-прежнему называют греческой, если к этому времени они не потеряли интерес к церкви, как и ко всему на свете, что, надо полагать, тоже вполне вероятно.

* * *

По принятому у нас обычаю всякую кампанию принято поддерживать и развивать на местах. Разумеется, для антирелигиозной кампании не могло быть никакого исключения. На этот раз трудность состояла в том, что абхазцы — и те, что причисляют себя к христианам, и те, что считают себя мусульманами — не посещают ни церквей, ни мечетей по причине почти полного отсутствия их в абхазских деревнях. В кенгурийском районе никогда не было ни одной мечети и ни одной церкви. Но так как кампанию надо было проводить, каждый делал что мог.

Председатель чегемского колхоза, посоветовавшись со своим активом, решил сжечь молельный орех, как религиозный предрассудок. Комсомольцы села с радостью исполнили это решение. В тот же день в дупло наложили сухостоя и подожгли.

И все-таки могучее дерево уцелело, хотя из его обломанной вершины несколько дней продолжал идти дым, как из жерла вулкана. Часть ствола со стороны дупла почернела и обуглилась на несколько метров вверх, но другая сторона ствола почти не обгорела, пламя так и не смогло обхватить ее и задушить.

Видно, главным для чегемских комсомольцев было символическое предание огню молельного дерева, а не полное его уничтожение. Так или иначе, дерево уцелело, даже виноградная лоза оказалась нетронутой.

— Кого не убил небесный огонь, того земным не возьмешь,— изрек на следующий день один из чегемцев по имени Сико. Он стоял у подножия молельного дерева и оглядывал его вместе с собравшимися земляками. Они пришли сюда с ближайшего поля, где мотыжили кукурузу.

Другой чегемец, Кунта, выгребая мотыгой золу из дупла, обнаружил в ней осколки чугунного котла, в котором пастухи варили мясо. Видно, котел не выдержал огня и лопнул.

Через некоторое время, к великому удивлению собравшихся, тот, что орудовал мотыгой, выгреб из дупла еще один котел совершенно непонятного происхождения. Этого котла никто здесь никогда не видел. Котел был покрыт толстым слоем копоти, слегка помят, но совершенно цел. Было непонятно, во-первых, как он здесь очутился, а во-вторых, как он уцелел, будучи медным, тогда как чугунный не выдержал и лопнул.

Только успели найти более или менее толковое объяснение этому чуду,— было решено, что божество четвероногих подбросило этот котел, чтобы крестьяне не расстраивались и продолжали верить в защиту молельного ореха от всякой напасти. Вот оно и подбросило котел, хотя и не новый, но вполне пригодный для варки мяса.

Только успели подивиться этому достаточно пристойному чуду, как произошло нечто и вовсе необъяснимое. Неутомимый выгребальщик выгреб из дупла какие-то слегка обгорелые кости непонятного происхождения, после чего выкатил явно человеческий череп, хотя и объяснивший происхождение костей, но не объясняющий собственного происхождения.

— Откуда этот бедняга взялся? — только и повторяли чегемцы, передавая из рук в руки череп, кроме своих естественных отверстий, имевший еще дополнительную дырку в самой черепной коробке. Одни из них старались проглянуть через эту дырку в глазницу, другие, наоборот, проглядывали через глазницу в эту дырку, но ни те, ни другие никак не могли объяснить происхождение этого черепа и костей.

Наконец кто-то догадался стукнуть по стволу топором, и, к еще большему недоумению собравшихся, дерево не только не ответило: «Кумхозз!» — а издало какой-то нехороший, утробный звук. И сколько его ни били, никакого звона не получалось, а получался этот неприятный и даже как бы угрожающий звук.

— За что? — приуныли чегемцы.

— Как за что? — отвечал самый старший из них по имени Сико.— Вы его палить, а оно вам плясать?!

— Так то ж не мы!

— Надо было не пускать их сюда,— отвечал Сико, оглядывая кости и огромное выжженное дупло.

— Тогда почему оно подбросило котел? — недоумевали чегемцы. На этот вопрос даже Сико ничего им не мог ответить.

— Осторожно вложи все обратно,— кивнул он на череп и кости,— прикрой как следует золой, чтобы зверье не растащило...

Только Кунта закопал в золу таинственные останки, как из глубины котловины Сабида раздался выстрел. Всем стало не по себе.

— Неужто абреки пошаливают? — сказал кто-то.

— Я же сказал, что это просто так не кончится,— напомнил Сико, хотя он этого не говорил, а только подумал.

— Ша! Кажется, кто-то кричит,— сказал Кунта, и все прислушались. В самом деле, из глубины котловины Сабида раздавался почти беспрерывный человеческий крик. Звук как будто приближался. Наконец из зарослей появилась фигура человека.

Беспрерывно крича: «Чудо! Чудо! Светопреставление!» — человек поднимался вверх к молельному ореху. Это был знаменитый охотник Тендел. Продолжая кричать, он быстро поднимался по зеленому косогору. В руке у него телепался легкий пламень лисьей тушки.

— Да что же случилось? — спросили у него, когда он подошел к дереву.

— Чудо! — выдохнул он и, бросив к подножию ореха лисью тушку, рассказал, что случилось.

Оказывается, он увидел лису на лесной лужайке. Вытянувшись во всю длину, она лежала за камнем и следила за пасущимися поблизости лошадьми. Тенделу показалось страным, что лиса так внимательно следит за лошадьми. Тут он обратил внимание, что среди лошадей была кобылица с жеребенком. Странная догадка мелькнула в его голове. Он подумал, что это та самая лиса-дьяволица, которая когда-то сосала вымя коровы. И вот теперь она подбирается к кобылице.

Тщательно прицелившись, он выстрелил. Лиса, как лежала неподвижно, так и осталась лежать. Наповал, подумал он, и подошел к добыче. Приподняв тушку, он удивился, что на ней не оказалось следов крови. А потом еще более удивился, не найдя на ее теле ни входного, ни выходного отверстия пули. Тут он окончательно убедился, что эта та самая дьяволица, которая когда-то на его глазах сосала коровье вымя, нагло причмокивая и нетерпеливо дергая за соцсы.

Услышав такое, собравшиеся, в свою очередь, рассказали ему о том, что нашли в молельном дереве, одновременно щупая и осматри-

вая лисью тушку с целью найти в ней входное или выходное отверстие пули.

— А, может, она мертвая была? — сказал кто-то.

— Как бы не так,— отвечал Тендел,— она и сейчас еще теплая. В самом деле, тушка была еще совсем свежая.

— Куда же делась пуля? — недоумевали чегемцы.

— Вошла в рот и вышла из задницы! — уверял Тендел.— Другого пути у нее не было.

— А, может, внутри осталась? — спрашивали крестьяне, приподымая тушку и встряхивая ее вниз головой в надежде, что пуля выкатится.

— В том-то и дело, что не осталась! — кричал взволнованный Тендел.— Я же нашел место, где она вошла в землю. Кунта, бери мотыгу, сейчас откопаем ее.

Почему-то всем казалось естественным, что черновую работу, необходимую даже для показа чуда, должен выполнять именно Кунта. Кунта перекинул мотыгу через плечо, и все спустились вниз. Через час они возвратились с откопанной пулей Тендела.

Удивление и даже отчасти ужас охватили вернувшихся, когда они обнаружили, что тушка лисы, оставленная у подножия молельного дерева, куда-то исчезла. Тендел так и застыл со своей откопанной пулей в руке. Тут кто-то заметил, что котел, стоявший в дупле в нормальном положении, оказался перевернутым вверх дном.

— Клянусь божеством четвероногих! — воскликнул Тендел,— она его опрокинула на себя!

Он велел Кунте осторожно приподнять котел, а сам стал наизготовку, чтобы стрелять, как только она выскочит из-под котла. Но стрелять не пришлось, потому что под котлом ничего не оказалось. Тогда снова разгребли золу, чтобы посмотреть, на месте ли останки неизвестного. Нет, они оказались на месте, а тушка исчезла. Теперь все окончательно уверились, что это была та самая дьяволица, которая сосала у коровы молоко, причмокивая и дергая за сосцы, как телок.

— Дураки мы, дураки! —сказал Сико и ударил себя по голове в знак допущенной глупости.— Видно, пулю нельзя было откапывать. Она-то ее и прижимала к земле, делала мертвой.

Тут всем стало совершенно ясно, что пулю никак нельзя было откапывать, и все, в том числе и Тендел, с укором посмотрели на Кунту, который орудовал своей мотыгой.

Кунта смутился и предложил всем вернуться на кукурузник и домотыжить тот участок, на котором они работали с утра.

— Ты что, совсем спятил! — воскликнул Сико.— Тихонько, по одному расходитесь по домам!

Перекинув мотыги через плечо, чегемцы поднялись в деревню и с выражением оскорбленности потусторонними силами (не дают спокойно работать) разбрелись по домам.

Весть о случившемся мгновенно облетела Чегем, а через день и окрестные села. Больше всего чегемцев потрясло, что дерево перестало говорить «Кум-хоз!» и история с лисой. Появление неизвестного котла и человеческого скелета тоже поразило чегемцев, но не так сильно.

Правда, на следующий день к вечеру выяснилось, что тушку забрал Хабуг, как раз в это время проходивший мимо молельного ореха. Он возвращался из лесу, где проверял свои капканы. Может, окажись что-нибудь в его капканах, говорили чегемцы миролюбиво, он бы не взял эту лису, а так не удержался и прихватил.

Тендел прибежал к нему за своей лисой, но Хабуг ему не отдал ее, утверждая, что лису убил не Тендел, а его, Хабуга, мул. Он даже

показал на не замеченную никем трещинку на черепе лисы. Тендел с ним спорил, что, имея в руках мертвую лису, Хабуг мог и вовсе расплющить ей голову.

Хабуг основывал свои доказательства на том, что мулы как животные, неспособные к воспроизводству потомства, питают самую нежную привязанность к жеребятам. Если появляется где-то поблизости жеребенок, то мул старается ни на минуту от него не отходить и с неслыханным бешенством защищает его от мнимой или настоящей опасности.

— В прошлом году двух зайцев уложил,— говорил Хабуг про своего мула,— в этом году лису.

— Тогда почему ты сразу не сказал, что это твой мул убил лису? — пытался поймать его Тендел.

— Хотел послушать, кто какие глупости будет говорить,— отвечал Хабуг.

— Проверим следы,— пригрозил Тендел.

— Проверяйте,— отвечал Хабуг.

Он настолько был уверен, что лиса попала под разъяренное копыто мула, что и спускаться не стал к тому месту, где была убита лиса, чтобы найти след от копыт своего мула. Спустились другие люди и в самом деле подтвердили, что возле камня есть следы мула. Тут чегемцы настолько разочаровались в Тенделе, что не только перестали верить в причмокивающую под коровьим выменем лису, не только в медведя, водившего его за нос, в это они и раньше не слишком верили, а перестали верить даже в то, что он однажды ушел в лес с целым носом, а возвратился со сломанным.

— Сдается мне, что он всегда был кривоносым,— первым отрекся от него Сико как один из пожилых людей, который мог помнить лучше других о юности Тендела.

Тут сам Тендел и весь охотничий клан почувствовали как бы генетическую обиду за эту унизительную версию и потребовали от Сико пользоваться впредь более приличными формулировками.

— Обижаются?! — воскликнул Сико, услышав об этом. — Пусть посмотрят на свои носы!

Дело в том, что Сико как очевидец истории с лисой и один из первых ее рассказчиков сам попал впросак после того, как победила более правдоподобная версия смерти лисы под копытом мула. Этого он охотнику не мог простить, тем более что род Тендела и в самом деле отличался носатостью.

На эту его дерзкую выходку родственники охотника утверждали, что можно оказаться кривоносым и не будучи носатым от природы, что они в самое ближайшее время и постараются доказать.

На эту угрозу Сико после суточного раздумья отвечал, что, судя по стрельбе лучшего охотника их клана, пули их имеют свойство влетать в рот и вылетать из задницы, так что он уже договорился с Кунтой: тот будет ходить за ним с мотыгой и откапывать их из земли.

Тут родственники Тендела замолкли, и это было настолько плохим признаком, что в дело вмешался сам Хабуг. Он во всеуслышание заявил, как один из самых старших жителей села, что прекрасно помнит Тендела еще в те времена, когда тот имел вполне приличный (для своего рода), ничем не поврежденный нос. Что же насчет лисы, добавил он, то и лису, если как следует вытянуть, можно прострелить хоть в том направлении, хоть в обратном, особенно если она лежит на склоне, а перед этим убита копытом какого-нибудь ревнивого мула.

Вмешательство Хабуга как будто несколько смягчило родственников охотника, хотя они были не вполне довольны некоторыми его определениями.

Пока чегемцы думали и гадали, что бы значили чудеса в дупле молельного дерева и чем окончится спор Сико с охотничьим кланом, из села Анхара, где жил Колчерукий, стали доходить слухи о таинственном исчезновении колхозного бухгалтера.

Оказывается, этот бухгалтер ехал с колхозными деньгами из райцентра к себе в село, но до села не доехал, а в райцентр не вернулся. Впрочем, в райцентр ему и незачем было возвращаться.

Может, председатель и не догадался бы сопоставить некоторые странные факты, если бы секретарь сельсовета не шепнул ему коечто. А шепнул он ему, что за день до сожжения молельного дерева люди видели, как Сандро у себя в шалаше принимал какого-то странного человека. Людям этот человек показался странным, потому что сам он был лысым, а лошадь его, привязанная у коновязи, наоборот, была чересчур гриваста, прямо лев какой-то.

— Никому ни слова,— оживился председатель и послал его в село Анхара уточнить внешность лошади и самого бухгалтера, а заодно узнать, не брал ли он с собой из дому медный котел.

— И лошадь была гривастая, и сам он был лыс, как ладонь,— рассказывал секретарь, вернувшись,— а насчет котла ничего не знают, потому что все котлы и чугунки на месте.

— Сандро нарочно подбросил этот котел, чтобы нас запутать,— сказал председатель и тут же послал в Кенгурск за милицией.

Версия у него была такая: Сандро убил бухгалтера с целью грабежа, подвесил труп изнутри дупла, чтобы, выбрав удобный момент, вывезти его в лес и закопать. Но тут неожиданно для него на следующий день нагрянули комсомольцы и сожгли труп вместе с деревом.

В ту же ночь он приказал сторожу сельмага притаиться в зарослях ежевики возле дома Сандро и следить за тем, чтобы из дома ничего не вынесли. Он решил, что Сандро, убив бухгалтера, увел лошадь куда-то в лес и держит ее там, а седло, скорее всего, припрятал дома. Теперь же, когда пошли слухи об исчезнувшем бухгалтере, он, боясь обыска, вынесет седло из дому и перепрячет его в другом месте. Рано утром, вспугнутый выстрелом Хабуга, сторож сельмага вернулся в правление колхоза. Оказывается, старик, громко крича, что проклятые зайцы ему всю фасоль потравили, дал из своего дробовика два выстрела с балкона. Видно, сторожа почуяли собаки.

— Выносили что-нибудь ночью? — спросил председатель.

— Нет,— ответил сторож и соврал, потому что жена Хабуга ночью принесла ему кусок курицы и чурек. Она умоляла его сидеть в своей засаде как можно тише, а то не дай бог, если ее старик узнает, что за его домом следят, всех переколошматит.

— Можно, я усну? — спросил сторож.

— Лучшего не придумаешь,— ответила она, и сторож тут же уснул, подчиняясь многолетней привычке спать в самых неприхотливых условиях.

В этот день почти одновременно с двух разных сторон к правлению колхоза подъехал кенгурийский милиционер и двое родственников бухгалтера во главе с Колчеруким. Один из родственников, пожилой крестьянин, был в бурке и в башлыке. Другой, как говорится, в расцвете сил, а одежда его намекала на принадлежность к начальству, хотя он к нему никакого отношения не имел. Одет он был в чесучовый китель и в широкие галифе с сапогами. Так что, если судить по одежде, можно было сказать, что, начиная от головы и до пояса, он как бы представлял законодательную власть, а от пояса до сапог — исполнительную.

Председатель колхоза и председатель сельсовета, увидев гостей, вышли из правления и после некоторых колебаний, разделившись, подошли к прибывшим. Первый подошел к милиционеру, а второй — к родственникам бухгалтера.

— Бухгалтера спалили, так хоть бы лошадь назад отослали! — крикнул Колчерукий вместо приветствия и, быстро спешившись, привязал свою лошадь у коновязи.

— Подожди, Колчерукий,— заметил старший родственник, отдавая поводья председателю сельсовета.

— Не в лошади дело,— важно сказал председатель, подходя к ним и пожимая всем руки. Он это сказал скорбным голосом и при этом покачал головой с политическим намеком. Милиционер тоже качнул головой, как бы поддерживая знакомую правильность направления мыслей.

— Как это не в лошади! — удивился Колчерукий.— Что ж он ее, спалил вместе с нашим бухгалтером?

— Да нет! — поморщился Тимур от того, что Колчерукий путал высокое с низким.— Орех сожгли наши комсомольцы по решению актива...

Тут он изложил версию преступления Сандро так, как сам ее представлял себе или хотел представить другим. Он сказал, что Сандро, по-видимому, убил бухгалтера и спрятал в дупле, чтобы потом, выбрав удобное время, закопать его где-нибудь подальше, где деревенские собаки и окрестные шакалы не могли бы его откопать. А тут на следующий день комсомольцы предали огню молельный орех, и преступление обнаружилось.

— А где лошадь? — перебил его Колчерукий.

— Лошадь, я думаю, он держит где-нибудь в лесу,— сказал председатель.

— Мы так думаем,— поправил его Махты. Ему уже приходилось напоминать, что он тоже власть, но в Чегеме, как и по всей стране, это забывалось.

— Надо допросить Сандро и осмотреть место, где найдены кости бухгалтера,— подытожил милиционер.

— Поедем к ореху, а там и до Сандро рукой подать,— сказал Махты.

Председатель попрощался со всеми и ушел в правление.

Махты оседлал свою лошадь, которая паслась во дворе сельсовета, и все пятеро выехали в сторону молельного ореха.

Через час пятеро всадников подъехали к молельному ореху. Они спешились у коновязи, а Колчерукий, взяв свою лошадь под уздцы, спустился к роднику.

— Моя лошадь пить хочет,— пояснил он с нескрываемым эгоцентризмом старого лошадника.

— Вот здесь лежат его кости,— протянул Махты руку с камчой, указывая на пещеру дупла.

Оба родственника, скорбно приосанившись, тихо подошли к дуплу. Старший, молча сняв башлык с потной головы и нанося по лбу символические и потому тихие удары ладонью, репетировал будущий ритуал оплакивания. Ударяя по лбу ладонью, он пропел тихим речитативом слова скорби, отчасти прозвучавшие как обещание возмездия.

Через минуту младший родственник, стоявший за ним, слегка повернул его за плечи и отвел в сторону, где тот, отвернувшись от остальных, утер якобы повлажневшие глаза и неожиданно громко, с видимым облегчением высморкался. После этого он решительно надел на голову башлык в знак перехода из мира скорби в мир действия.

— Сейчас подойдет свидетель и покажет, как все было,— миролюбиво сказал Махты, как бы притормаживая его решительность.

— До него мы не имеем права трогать ни одной косточки,— пояснил милиционер, неустанно удивляясь сам и призывая удивляться других таинственному ритуалу следствия.

— Не пора ли мне пойти за Сандро? — спросил Махты.

— Нет,— сказал старший родственник,— мы сначала должны посоветоваться...— Он повернулся к Колчерукому.— Ты приехал лошадь поить или дело делать?

— Сейчас,— отозвался Колчерукий и, подведя лошадь к коновязи, закинул поводья на сучок.

— А что вы хотите с ним делать? — спросил милиционер.

— Вот мы и решим,— сказал младший родственник.

— Учтите, я за него отвечаю,— сказал милиционер.

— Кровь взывает,— сказал младший родственник, пожимая плечами.

Оба родственника вместе с Колчеруким отошли шагов на двадцать и стали разговаривать, а потом спорить, время от времени поглядывая на милиционера. Видно было, что младший родственник настроен все еще воинственно. Милиционер взволнованно похаживал возле дерева, время от времени поглядывая на них.

— Клянусь аллахом, они наделают глупостей,— бормотал он,— и меня, и себя загубят.

— Может, не наделают,— успокаивал его Махты.

Спорящие вошли в азарт, и Колчерукий, уже не обращая внимания на то, что их слышат, громко шлепал здоровой рукой по бедру и кричал:

— Нельзя! Тем более на глазах у милиционера!

— Клянусь Нестором Лакобой,— волновался милиционер, слушая эти разговоры,— эти люди меня загубят!

— Да, но кровь взывает! — не унимался младший родственник.

В конце концов Колчерукий сумел успокоить его, дав понять, что убить никогда не поздно, если окажется, что Сандро виноват.

— Арестуют — потом иди, ищи,— сказал младший.

— Ладно, иди, приведи его,— согласился старший, обращаясь к Махты.

— Я быстро,— ответил тот и заторопился вверх по тропе. Все-таки он боялся, что родственники передумают.

Через минуту он скрылся за поворотом тропы, а Колчерукий с обоими родственниками и милиционером уселись на траву у подножия ореха.

— Одно меня смущает в его пользу,— сказал старший родственник, выходя из задумчивости,— если он убил, почему не скрылся?

— Вот именно,— сказал милиционер,— возьмем в Кенгурск и все выясним.

— Его или кости? — спросил старший.

— И его, и кости,— ответил милиционер.

— На кости мы не согласны,— сказал старший, подумав.

— И Сандро вам, и кости — не многовато ли? — добавил младший.

— Опять двадцать пять! — хлопнул милиционер себя по колену.— Вы мне даете Сандро увезти в живом виде, почему?

— Потому что не уверены, что он убил,— сказал старший.

— Если вы не уверены, что убил Сандро, почему вы уверены, что это кости вашего бухгалтера?

— Тоже верно,— согласился старший.

— А если ваш бухгалтер сбежал куда-то с деньгами?

— Конечно, дай бог,— сказал старший.

— Эх, дуралей,— вздохнул Колчерукий,— говорил я ему — продай лошадь.

— Зачем каркаешь, Колчерукий,— сказал младший,— может, он и в самом деле сбежал.

— Тогда нам лошади никогда не увидеть,— вздохнул Колчерукий,— но, если его убил Сандро, лошадь где-то поблизости.

— Нет,— снова заупрямился старший,— и Сандро, и кости отдавать вам будет многовато.

— Опять двадцать пять! — хлопнул милиционер себя по колену.— Мы же договорились?

— А вдруг он убил?

— Вот там и выяснят,— сказал милиционер,— в городе сейчас такие доктора есть — посмотрят на любую кость человека и сразу говорят имя и фамилию ее бывшего владельца.

— Знаю, слыхал,— согласился старший,— но, боюсь, осквернят.

— Ничего не сделается с костями твоего бухгалтера,— сказал милиционер.

— Значит, ты думаешь, все-таки это он? — встрепенулся старший.

— О, аллах,— вздохнул милиционер,— я ничего не думаю.

На тропе появились люди. Впереди шел Кунта с мотыгой на плече, за ним шел дядя Сандро, похлестывая камчой, а за ним — председатель сельсовета.

— Я их на дороге застал,— сказал он, стараясь угадать, как будут вести себя родственники бухгалтера.

Увидев Сандро, они оба встали в позе, выражающей воинственную непреклонность.

— А я решил,— сказал Кунта, добродушно улыбаясь,— все равно вам Сандро понадобится, вот и зашел.

— Остановись, Сандро, между нами — кровь! — сказал старший, а младший засунул руку в карман галифе.

— Клянусь хлебом-солью моего отца,— торжественно сказал дядя Сандро,— а хлеб-соль моего отца, как вы знаете, что-то стоит...

— Ему цены нет,— подтвердил старший.

— ...Так вот, клянусь хлебом-солью, что между нами крови нет.

Стало тихо. Все ждали, что скажет старший родственник.

— Пока верим,— сказал он. Младший вынул руку из кармана.

— Вот и хорошо,— обрадовался милиционер,— вот это по-нашему, по-советски, а ты,— обратился он к Кунте,— расскажи, как было.

Кунта, помаргивая своими птичьими ресницами над бледными голубыми глазами, все смотрел на Колчерукого.

— Сдается мне, что Кунта собирается менять свой горб на мою колчерукую,— сказал Колчерукий.

— Это от бога, это не меняют,— серьезно ответил Кунта,— но я тебя сначала не признал.

— Так я теперь кумхозник! — закричал Колчерукий.— Говорят, у меня в кумхозе рука расцветет, как ты думаешь, Кунта?

— Они говорят — к лучшему, посмотрим,— все так же серьезно ответил Кунта и снял мотыгу с плеча.

— Да ты дело рассказывай! — перебил его председатель сельсовета.

— Мы пришли сюда,— начал Кунта, положив руку на мотыгу, как на посох,— хотели посмотреть, что стало с нашим великаном. Приходим, а он еще дымит. Тут Датико садится и говорит: «Кунта, разгреби-ка золу, посмотрим, что стало с котлом: расплавился или лопнул?» А Сико уселся, вот где Колчерукий сейчас стоит, и стал цигарку крутить, приговаривая: «Что мне в этом кумхозе нравится, так это перекур».

— Да ты дело говори,— снова перебил его Махты.

Продолжая рассказывать, Кунта стал мотыгой разгребать в дупле золу и выгребать попадающиеся кости. Милиционер наклонился и ос-

торожно складывал из этих костей скелет, громко объясняя свои действия и иногда меняя расположение костей. Кунта осторожно выкатил черепную коробку, и милиционер приладил ее к месту.

— Похоже? — спросил он, приподымаясь и почему-то заглядывая в глаза дяде Сандро. Дядя Сандро выдержал его взгляд и пожал плечами. Родственники тоже пожали плечами.

— Не знаю, не знаю,— сказал старший, брезгливо выпятив губу в знак чужеродности скелета и в то же время, на всякий случай, скорбя глазами. Колчерукий наклонился и приподнял череп.

— Осторожно, не доломай,— сказал старший родственник.

— Куда уж доламывать,— ответил Колчерукий, вглядываясь в череп буравчиками глаз,— клянусь аллахом, кроме лысости, ничего общего с нашим бухгалтером.

— Дай бог,— сказал старший родственник.

Тут дядя Сандро рассказал по просьбе милиционера все, что он знал о бухгалтере, и всех пригласил в дом. Старший родственник заартачился было, но Колчерукий опять его переупрямил.

— Мы в дом не войдем,— сказал он, садясь на лошадь,— во дворе примем хлеб-соль и поедем дальше.

— А если кровь воззовет? — спросил старший.

— Если воззовет, услышим,— отвечал ему Колчерукий, выезжая на тропу,— не глухие, слава богу.

Теперь все подымались по тропе. Впереди Колчерукий, сзади дядя Сандро с милиционером, державшим коня под уздцы, следом остальные. Шествие замыкал Кунта. В одной руке он держал свою мотыгу, в другой плащ милиционера с вложенными в него костями неизвестного.

Милиционер для очистки совести по дороге пытался запутать дядю Сандро, но дядя Сандро не поддавался. На все вопросы он отвечал, спокойно пощелкивая камчой по голенищу сапога.

— Не обижайся, Сандро,— сказал ему милиционер,— я должен отвезти тебя в райцентр... Председатель тебя подозревает...

— С удовольствием поеду,— отвечал дядя Сандро,— тем более что я его тоже подозреваю.

— В чем? — спросил милиционер.

— Думаю, что это он сам или через своих комсомольцев подкинул кости.

— Сандро,— откликнулся Махты,— зачем ты при мне говоришь такое о председателе? В какое положение ты меня ставишь?

— Я и при нем скажу,— отвечал дядя Сандро и, ускоряя шаги, открыл ворота во двор своего дома. Все столпились у ворот, решая, кому въехать первым. Наконец первым въехал старший родственник, потом Колчерукий, потом остальные. Председатель сельсовета было заупрямился, но потом слабость взяла верх, и он согласился. Он почувствовал, что с классовой точки зрения сейчас некрасиво принимать угощение в доме дяди Сандро, но он так за это время проголодался, а в этом доме умели угостить, и он въехал. Ничего, подумал он, в крайнем случае скажу председателю, что я хотел до конца выяснить все их планы.

Колчерукий, въехав во двор, разогнал лошадь и от избытка чувств поставил ее на дыбы. Старший родственник, глядя на него, скорбно покачал головой, давая знать, что он слишком забывает о траурно-карательном замысле, если не смысле их маленькой экспедиции.

В знак того, что трапеза принимается на ходу, стол накрыли во дворе, стульев не выносили — ели и пили стоя.

Говорят, не бойся гостя сидящего, а бойся гостя стоящего. Тем более пьющего стоя, ибо желудок такого гостя, как хорошо расправленный бурдюк, делается значительно вместительней.

Солнце уже садилось за гору, когда гости отвалились от стола.

Мать Сандро выдала милиционеру хурджин, куда он выложил кости неизвестного, обмотав каждую из них клочьями сена. По предложению старшего родственника, череп не только обмотали сеном, но и плотно набили его изнутри для прочности.

— Не означает ли это,— сказал Колчерукий, имея в виду способ упаковки черепа,— что вы оскорбляете нашего бухгалтера?

— Не означает,— отвечал старший родственник, не склонный предаваться шуткам на эту тему.

Мать, сестры, двое младших братьев провожали гостей до развилья тропы, откуда милиционер и дядя Сандро направились по тропе, ведущей в Кенгурск, а остальные — к себе в село Анхара.

— Сандро, не забудь вернуть хурджин, когда будешь ехать обратно,— сказала мать на прощание.

— На рысь не переходите, прошу вас! — крикнул старший родственник, поворачивая коня.

— Не бойся,— ответил милиционер, похлопав рукой хурджин, приторочённый к седлу. Они уже было отъехали, когда обернулся Колчерукий.

— Сандро,— крикнул он,— по дороге, как увидишь дуплистое дерево, так стучи в него, авось что-нибудь выстучишь для начальства.

Посмеялись и разъехались в разные стороны. Стройная высокая фигура дяди Сандро, затянутая в черкеску, рядом с маленьким милиционером — это никак не выражало их истинных социальных отношений. Скорее всего он был похож на кавалерийского офицера, может быть, из «дикой дивизии», едущего рядом со своим денщиком.

* * *

В райцентре, несмотря на устные протесты, дядю Сандро посадили в местную тюрьму, созданную на базе местной крепости. Следователь милиции несколько раз вызывал дядю Сандро на допрос, но тот ничего толком не мог сообщить. Он упирал на то, что председатель колхоза нарушил решение райкомовской комиссии и сжег молельный орех. Вероятно, говорил он, после незаконного сожжения дерева, ночью он сам или через своих комсомольцев, подбросил эти кости в дупло.

— Тогда скажи, где бухгалтер? — ловил его следователь.

— Не знаю,— отвечал дядя Сандро,— он посидел со мной часок и уехал.

— Тогда скажи, о чем он говорил? — настаивал следователь.

— Он говорил,— отвечал дядя Сандро,— что облысел на учебе, а счастья не видит.

Так следователь несколько раз допрашивал дядю Сандро и, записав все его ответы, снова отправлял его в тюрьму. Поняв, что ответы его приносят пользу только следователю, а ему самому никакой пользы не приносят, дядя Сандро замолчал.

На отказ дяди Сандро говорить с ним следователь не обиделся.

— Ну, тогда просто так посиди,— сказал ему следователь,— а я потихоньку буду собирать на тебя материал.

— А побыстрей нельзя? — спросил дядя Сандро.

— А куда спешить? — ответил следователь.

— Я-то не спешу,— сказал дядя Сандро,— но перед родственниками неудобно.

— Почему? — удивился следователь.

— Я же у них свою лошадь оставил,— разъяснил дядя Сандро,— вот они и не знают, то ли ждать меня, то ли отправить лошадь назад.

— Хорошо,— хитрил следователь,— про бухгалтера не спрашиваю... Скажи, где его лошадь, а я скажу, как быть с твоей лошадью.

— Не знаю,— отвечал дядя Сандро, не давая себя поймать.

— Тогда посиди еще,— заключил следователь.

В те годы, по словам очевидцев, в кенгурийской районной тюрьме сиделось совсем неплохо. Правда, через несколько лет порядки в ней резко изменились, но тогда еще жить можно было. Все-таки через месяц дядя Сандро здорово заскучал, потому что тюрьма, хоть и с кенгурийскими удобствами, она все-таки тюрьма. К тому же товарищи по камере, в которой он сидел, стали по второму разу рассказывать случаи из своей небогатой жизни, и дядя Сандро понял, что надо что-то делать.

Но он так и не придумал, что делать, потому что в один из этих дней, когда он особенно скучал, в камеру вошел надзиратель и рассказал новость. Он рассказал, что лошадь бухгалтера вернулась домой и сейчас стоит у его родителей на привязи, и они с нее глаз не спускают.

Весть эта сильно взволновала дядю Сандро, и он потребовал свидания со своим следователем.

— Да, да,— согласился следователь,— мы об этом уже знаем, но ведь тебя обвиняют в убийстве бухгалтера, а не его лошади.

— Раз нашлась лошадь, найдется и бухгалтер,— уверенно ответил дядя Сандро.

— Найдется, тогда посмотрим,— уклончиво обнадежил его следователь.

Дядю Сандро снова увели в камеру. На следующий день тот же надзиратель принес еще более радостную весть. Оказывается, через двое суток после прихода лошади по ее следам в деревню пришел пастух-адыгеец и стал требовать лошадь. Его заманили в правление колхоза и там разоружили и заперли, после чего он сознался, что лошадь эту он купил у лысого человека — по всем признакам колхозного бухгалтера.

— Тогда куда делся наш бухгалтер? — спросили у него.

— Спустился в Россию,— ответил он.

Дядя Сандро опять заволновался и потребовал, чтобы его отвели к следователю. Но следователь принять его отказался, хотя велел ему передать через дежурного, что все это он уже знает.

Через неделю тот же неугомонный надзиратель, которого правильнее было бы назвать глашатаем, принес еще более замечательную весть. Оказывается, бухгалтера накрыли в ставропольском привокзальном ресторане с неизвестной женщиной, которая после допроса созналась, что она коридорная краснодарского «Дома колхозников».

— Обоих везут сюда,— сказал надзиратель, — теперь твоя судьба решена.

Дядя Сандро снова затребовал встречи со следователем, но ему опять отказали в законной просьбе. Тогда он решил действовать народным средством. Он передал на волю, чтобы кто-нибудь из сто́ящих людей как следует пуганул следователя.

Выбор пал на Колчерукого. То ли потому, что он в самом деле был уважаемым человеком, пользующимся общественным доверием, то ли потому, что он уже принимал участие в судьбе дяди Сандро, теперь уже неизвестно. Скорее всего, и то, и другое.

В один прекрасный день он появился в райцентре на лошади бухгалтера и при встрече со знакомыми людьми говорил, что ему поручено приискать нового следователя.

— А что же старый? — спрашивали у него.

— Начинает повянивать,— отвечал он, косясь на солнце,— нам бы посвежее кого.

Сначала следователь, когда ему первый раз сказали, что Колчерукий появился в райцентре и говорит такие странные слова, махнул рукой: мол, пусть болтает. Но когда ему еще несколько человек об этом же сказали, да еще прибавили, что Колчерукий приехал не на своей лошади, а на лошади арестованного бухгалтера, следователь занервничал, он понял, что это намек, и притом опасный.

— А в райкоме что говорят? — спросил он у человека, последним встречавшего Колчерукого.

— Кажется, пока еще не знают,— отвечал тот.

— А сейчас где Колчерукий? — спросил следователь, все еще надеясь, что беду пронесет.

— В сторону тюрьмы поехал,— отвечал тот.

Тюрьма находилась у выезда из Кенгурска, и следователь не знал, радоваться ему или надо что-то предпринимать: то ли Колчерукий, угомонившись, выехал из Кенгурска, то ли еще что-нибудь надумал.

Тут ему позвонил начальник милиции, и следователь, взяв трубку, побледнел. Оказывается, начальнику милиции позвонил начальник тюрьмы и сказал, что Колчерукий только что проехал мимо тюрьмы и, крикнув своим громовым голосом: «Крепись, ребята!» — ускакал в сторону своей деревни. Начальник тюрьмы советовал начальнику милиции послать вдогон ему наряд верховых милиционеров, с тем чтобы задержать его и выяснить, что он хотел этим сказать. Начальник милиции отклонил предложение начальника тюрьмы, но, зная о том, что Колчерукий приехал на лошади бухгалтера, дал следователю нагоняй за нечеткое ведение дела.

Следователь немедленно вызвал дядю Сандро на допрос.

— Только не говори, что не ты наслал Колчерукого! — в сильнейшем волнении произнес он, увидев его.

— Я пока ничего не говорю,— отвечал дядя Сандро спокойно. То ли Колчерукий его успокоил своим бодрящим лозунгом, то ли он, увидев взволнованного следователя, понял, что правда побеждает.

— Что он этим хотел сказать? — стал допытываться следователь, но дядя Сандро был спокоен и непреклонен.

— «Не падайте духом» — вот, что хотел сказать,— отвечал дядя Сандро.

— А если это проходит как призыв к сопротивлению властям? — сказал следователь, удивляясь твердости и спокойствию дяди Сандро.

— Не проходит,— сухо отвечал ему дядя Сандро, и следователь понял, что надо переходить на более сговорчивый тон.

Интересно, что через множество лет, во время войны, когда Колчерукого привлекли (читай рассказ «Колчерукий», где, впрочем, об этом ничего не говорится) к ответственности за то, что он пересадил тунговое дерево с колхозного поля на свою фиктивную могилу, ему напомнили об этом случае, но Колчерукий сделал вид, что ничего не помнит.

— Я знаю, что ты не убивал бухгалтера,— говорил следователь дяде Сандро, перейдя на более миролюбивый тон,— но войди и ты в мое положение.

— Ты меня посадил, и я должен входить в твое положение?

— Но ведь все-таки кости нашли в твоем дупле?

— Председатель подбросил,— твердо держался дядя Сандро взятой линии,— или сам, или через своих комсомольцев.

— Это еще надо доказать,— сказал следователь.

— Отпусти — докажу,— обещал дядя Сандро.

— В том-то и дело, что не могу,— вздохнул следователь,— я бы тебя отпустил, но в газете уже написали об этом... Приходил тут один из «Кенгурийской нови». Он написал, что ты убил бухгалтера, как несмирившийся сын смирившегося кулака.

— Но ведь бухгалтер жив! — удивился дядя Сандро.

— Это верно,— вздохнул следователь,— и мы его осудим как растратчика. Но если тебя сейчас отпустить, получится, что газета ошиблась.

Как ни лукав был дядя Сандро, а все-таки такие хитрости не понимал.

— Сколько штук этой газеты выходит? — спросил он.

— Десять тысяч,— ответил следователь.

— И во всех так написано? (Позже, рассказывая об этом случае, дядя Сандро говорил, что он придуривался, сейчас трудно сказать, правда ли это, во всяком случае, усердным читателем газет он и сейчас не выглядит.)

— Во всех,— отвечал следователь.

— Сколько стоит одна газета? — спросил дядя Сандро.

— Две копейки.

— Мой отец заплатит пять копеек за каждую штуку! Мы их все соберем и сожжем! —сказал дядя Сандро с большим подъемом.

— Газету сжигать нельзя,— покачал головой следователь.

— А молельный орех можно? — спросил дядя Сандро.

На это следователь ничего не ответил. Некоторое время они оба молчали, и призрак истины витал между ними. Но тут скрипнула дверь, и призрак истины исчез. Дежурный милиционер всунул голову в кабинет и, таким образом напомнив о себе, снова закрыл дверь. Это было его третье напоминание в течение допроса. Дело в том, что по принятому у нас обычаю человек, которого милиционер водит на допрос, на обратном пути должен зайти куда-нибудь и угостить его. Вот он и напоминал о себе.

— Сандро,— сказал следователь после некоторого раздумья,— ты уйми Колчерукого, а я сделаю для тебя все, что могу, как только улягутся разговоры вокруг этого дела.

— Унять, конечно, можно,— отвечал дядя Сандро,— если и ты с нами по-хорошему, почему бы не унять.

С этими словами он вышел из кабинета в коридор, где сопровождавший милиционер встретил его протяжным вздохом.

— Сам мучаюсь и тебя замучил,— ответил ему дядя Сандро на вздох.

— Не в этом дело — закрыть могут,— скромно ответил ему милиционер, и они двинулись к выходу.

* * *

Неизвестно, чем бы все это кончилось и скоро ли вышел бы дядя Сандро из гостеприимных стен кенгурийской тюрьмы, если б не помог случай, а вернее, неутомимая любознательность Нестора Лакобы.

В этот день Нестор Аполлонович, приехав в райцентр, просматривал списки зажиточных крестьян, вступивших в колхоз в этом районе. В списках был и отец дяди Сандро. Он-то и привлек внимание Нестора Аполлоновича. По данным этого списка получалось, что Хабуг вместе со всяким другим добром сдал в колхоз четырех верблюдов. Нестор Аполлонович пытался уточнить у местного руководства, откуда у этого жителя горной Абхазии оказались верблюды. Районные руководители не могли ничего вразумительного ответить по этому поводу. Они сказали, что сами верблюдов не видели, потому что не было указания заинтересоваться ими, но чегемские списки заверены председателем колхоза и сельсовета.

Нестор Аполлонович не любил всякие неясности и велел сейчас же снарядить человека в Чегем, чтобы тот выяснил, откуда там появились верблюды, и, если можно, пригнал их в Кенгурск, с тем чтобы потом перегнать их в Мухус как необычное в наших краях животное.

Отправили верхового милиционера, того, что привез дядю Сандро. Милиционер уже выехал из Кенгурска, когда его догнал родственник дяди Сандро верхом на его лошади.

— Прошу, как брата, отгони мне эту лошадь,— сказал родственник, подъезжая к нему.

Милиционеру страшно неохота было отгонять лошадь дяди Сандро. Он вообще не собирался туда заезжать. Он собирался заехать в сельсовет, узнать насчет верблюдов и вернуться. А тут получалось как-то не вполне красиво — увез всадника, привез лошадь. Ему до того неохота было выполнять это поручение, что он сразу же сообразил, что делать.

— А я вообще туда не еду,— сказал он родственнику и вернулся в милицию.

Он вернулся к начальнику милиции и сказал, что дядя Сандро сидит в тюрьме, можно вообще не ехать в Чегем, а спросить у него насчет верблюдов.

Начальник милиции связался с райкомом, а товарищи из райкома передали Нестору Аполлоновичу, что в местной тюрьме находится сын Хабуга, обвиненный в убийстве бухгалтера, который впоследствии оказался живым растратчиком и сейчас находится под стражей.

— Так давайте его сюда! —сказал Нестор Аполлонович.

Дядю Сандро срочно привезли к начальнику милиции, выдали гражданскую одежду и объявили, что его хочет видеть сам Нестор Аполлонович. Зачем хочет видеть — не сказали, чтобы он не успел ничего придумать, если захочет соврать.

— Пока не вымою голову, не побреюсь, не приведу в порядок костюма — не явлюсь! — решительно предъявил дядя Сандро верноподданнический ультиматум.

— Правильно,— согласился начальник милиции и обернулся к своему помощнику,— обслужите его.

И его обслужили. Пока дядя Сандро мыл голову под умывальником самого начальника милиции, а помощник поливал ему горячую воду, был срочно вызван лучший районный парикмахер, который брил и стриг на дому живых начальников и знатных покойников.

Через час дядя Сандро, затянутый в черкеску, в сверкающих сапогах предстал перед глазами Нестора Аполлоновича, исполненный сдержанной почтительности.

Нестор Аполлонович в это время вместе с друзьями и сподвижниками обедал в единственном кабинете единственного ресторана этого, тогда еще незначительного, райцентра. Говорят, вид дяди Сандро ему очень понравился.

— Настоящий абхазец и в тюрьме держится соколом,— сказал Нестор Аполлонович, глядя на него.

— Тем более когда невинно посажен,— вставил дядя Сандро.

Нестор Аполлонович вопросительно посмотрел на начальника милиции, и тот, быстро наклонившись, зашептал ему что-то на ухо.

— Газета... газета...— только и мог уловить дядя Сандро. Судя по выражению лица Нестора Аполлоновича и его благосклонным кивкам, ничего плохого его не ожидало.

— Я думаю,— сказал Нестор Аполлонович, отстраняясь от начальника милиции и глядя на дядю Сандро, — мы тебе поможем, если ты скажешь, откуда у тебя верблюды?

— Какие верблюды? — спросил дядя Сандро, стараясь понять, о чем идет речь.

Лакоба нахмурился. Вся эта история начинала ему не нравиться.

— Записано, что твой отец сдал в колхоз пятьсот голов мелкого рогатого скота, пять коров и четыре верблюда.

— Четыре мула! — радостно догадался дядя Сандро.— У нас было пять мулов... Отец одного оставил, потому что привык на нем ездить.

— Почему же записаны верблюды? — удивился Нестор Аполлонович.

— Наверное,— сказал дядя Сандро,— комсомолец, который записывал, не знал, как по-русски пишется «мул» и записал их как верблюдов.

— А-а,— сказал Нестор Аполлонович,— передай своему председателю, что он сам верблюд, а сейчас садись с нами обедать.

— Обязательно передам,— радостно согласился дядя Сандро и прибавил на всякий случай,— лучше бы списки проверял, чем кости подбрасывать.

Но Нестор Аполлонович не обратил внимания на его слова, а может, и недослышал. А может, чегемские дела ему поднадоели, и он, пользуясь своей глуховатостью, сделал вид, что недослышал.

В этот вечер было порядочно выпито, было немало спето народных и партизанских песен, и, когда начались пляски, судьба дяди Сандро была решена, потому что его пригласили танцевать.

За родную Советскую, за Нестора Аполлоновича, за всех дорогих гостей плясал дядя Сандро. И как плясал!

— Не мы одни, а весь народ должен наслаждаться таким талантом,— сказал Нестор Аполлонович и велел ему ехать домой, немного отдохнуть, а потом приезжать в Мухус и прямо заходить к нему. Он обещал устроить его в абхазский ансамбль песен и плясок.

На следующий день дядя Сандро оседлал своего застоявшегося коня и, подъехав к зданию милиции, постучал камчой в окно начальника. Тот выскочил на балкон, где уже стояло несколько милиционеров, и пригласил дядю Сандро спешиться.

— Спасибо,— сказал дядя Сандро,— но я заехал за хурджином.

— Вынесите,— зычно приказал начальник милиции и добавил, обращаясь к нему,— я вообще был против твоего ареста.

— Я тоже,— сдержанно согласился дядя Сандро.

Один из милиционеров вынес хурджин и хотел передать его хозяину, но начальник его остановил.

— Приторочь сам,— приказал он ему и добавил, снова обращаясь к дяде Сандро,— извини, что возвращаю пустой.

— Ничего,— сказал дядя Сандро,— не у тестя гостил.

По абхазским обычаям считается хорошим тоном, возвращая хозяину посуду, корзину, мешок, одним словом, тару, вложить в нее какое-нибудь угощение, а если нечего вложить, то извиниться за это. Можно назвать этот обычай благодарностью за тару или, наоборот, извинением за ненаполненную емкость. Обычай этот был принят между соседями, и начальник милиции, стараясь быть приятным, явно переборщил.

— А кости куда дели? — поинтересовался дядя Сандро, трогая лошадь.

— Пока в несгораемом шкафу,— ответил начальник милиции.

— Это хорошо, что в несгораемом,— согласился дядя Сандро,— а то второго пожара они не выдержат.

С этими словами он тронул коня и легкой рысью пошел в сторону Чегема. Через неделю дядя Сандро был уже в Мухусе, где его приняли в абхазский ансамбль песен и плясок под управлением Платона Панцулая, да еще по совместительству подрабатывал в качестве коменданта местного ЦИКа. Нестор Аполлонович умел привлечь и обогреть одаренных людей, способных украсить нашу маленькую республику.

* * *

В ту же осень в Чегеме случилось вот что. В один прекрасный день Хабуг нашел в лесу дерево, в котором гнездились дикие пчелы. Он обрадовался этому даровому меду и решил забрать его домой, но у него не было посуды. Ему неохота было возвращаться домой за посудой, и он вспомнил, что гораздо ближе подняться к молельному ореху и вытащить там из дупла медный котел, авось, божество четвероногих не обидится на него.

И вот, когда он поднялся к молельному ореху и вытащил из дупла медный котел, он, по его словам, что-то припомнил, но что именно, он никак не мог определить. Он спустился к роднику и стал отмывать внутренние стенки котла, и, когда отмыл, ему еще сильней показалось, что он должен что-то вспомнить, но он все еще никак не мог понять, что именно. Он подумал, что, если бы еще песком поскрести котел, он бы ясней припомнил то, что ему хотелось вспомнить, но ему надоело отмывать котел, и он, выплеснув из котла воду, вернулся к медоносному дереву. Хабуг развел у его подножия костер, набросал в огонь побольше гнилушек, чтобы гуще дымило, приладил к поясу котел и топор и полез на каштан.

И вот, когда он прорубил отверстие в дупле и стал ножом выскребать оттуда большие нежные ломти свежего меда, а пчелы, выкуренные и оттиснутые дымом, с яростным гулом кружились над ним, он вспомнил то, что отец Кунты, таинственно исчезнувший двадцать лет тому назад, исчез в лето, названное чегемцами годом войны Диких Пчел со Стервятниками. В то лето чегемцы видели, как рой диких пчел, гнездившийся в самом верхнем отверстии дупла, стал воевать с неожиданно налетевшими на молельное дерево стервятниками.

Несколько трупов стервятников свалилось возле дерева, но рой не выдержал и навсегда покинул молельное дерево. Именно с тех пор пастухи стали разводить огонь в самом дупле, если их застигала здесь слишком ветреная и холодная погода: поужинают, поворошат головешки, сунут ноги в теплую золу и спят.

Теперь Хабуг был уверен, что отец Кунты пытался добраться до меда через нижнюю расщелину дупла и, по-видимому, до смерти искусанный пчелами, так и застрял там навсегда. Из всех чегемцев только он, по мнению Хабуга, как человек чуждых кровей (эндурская примесь), и мог решиться на такое святотатство. Потому-то он и исчез бесследно, что и дома никому ничего не сказал о своем преступном замысле.

И вот через множество лет его высохшие кости Сандро расшатал своей колотушкой, комсомольцы подогрели своим нечестивым огнем, и они посыпались вниз, как переспелые орехи.

В тот же день ближе к вечеру он рассказал обо всем этом Кунте, сидя у себя на кухне и топыря к очажному огню свои огромные, искусанные пчелами руки. С привычной покорностью Кунта выслушал его рассказ, время от времени поглядывая на стоящий у очага медный котел, сейчас продраенный и промытый женой Хабуга. Она тоже сидела сейчас на кухне и лущила в подол кукурузу, откуда по мере наполнения ссыпала ее в таз.

— Знай я в тот день, что это кости отца, отнес бы их домой,— вздохнул Кунта, выслушав рассказ Хабуга.

— Ну да,—кивнул ему Хабуг на котел,—сложил бы туда и отнес... А мой Сандро сидел бы дома вместо того, чтобы, как цыган, танцами зарабатывать себе на жизнь.

— При чем тут Сандро? — спросил Кунта, не понимая ход мысли Хабуга.

— При том, что через эти кости его арестовали, а там он увиделся с Лакобой, и тот его выманил в город.

— Верно,— кивнул головой Кунта в знак согласия.

Жена Хабуга, соскучившаяся по сыну, вздохнула. Помолчали. В тишине раздавался только хруст вылущиваемых зерен и хлюпанье фасолевой похлебки в глиняном горшочке, стоявшем у огня.

— Как подумаю,— сказал Кунта, глядя на огонь,— что кости моего отца двадцать лет провисели в этом треклятом дупле, чудно становится...

— Что ж чудного? — усмехнулся Хабуг.

— Я же там чуть не каждый день хожу... Божество могло бы как-нибудь намекнуть...

— Вы же его осквернили, и оно же вам подсказывать?

— Тоже верно,— согласился Кунта,— а если это не отец?

— Он,— уверенно подтвердил Хабуг и кивнул на котел,— котел-то признал?

— Котел наш,— поспешно согласился Кунта.

— Может, что из одежды наверху застряло,— предположил Хабуг, но, подумав, сам отверг свою версию,— ...Пожалуй, нет... Птицы бы растащили...

— Да, столько времени,— вздохнул Кунта. Опять помолчали. Жена Хабуга со звоном высыпала зерна из подола в таз. Встала, отряхнула подол и, подхватив горсть кукурузных кочерыжек, сунула их в огонь. Помешала деревянной ложкой фасолевую похлебку, вынула ложку, дунула, лизнула и, положив ее сверху на горшок, села на место.

— Если на нем было какое железо... Там пуговицы, крючки... можно в золе отыскать...— сказал Хабуг.

— Так там золы по колено,— пожал плечами Кунта и посмотрел на Хабуга своими слабыми выцветшими глазами.

Жена Хабуга перестала лущить кукурузу.

— Можно через сито просеять,— сказала она.

— Тоже верно,— согласился Хабуг,— но ты сначала поезжай в Кенгурск и отбери у них кости. Надо похоронить — стыдно перед людьми.

— Говоришь, в милиции? — справился Кунта.

— В милиции... В несгораемом сундуке, если верить моему бездельнику.

— Тебя послушать, так все бездельники, кроме тебя,— вставила жена и, сердито хрустнув початком, сразу вылущила целую горсть.

Хабуг оставил ее слова без внимания.

— Дадут? — с надеждой спросил Кунта.

— Думаю, дадут,— сказал Хабуг и добавил,— на всякий случай возьми пару индюшек и мешок орехов. Но прямо не вноси. Эти — прямо не любят. Через наших родственников передай.

— Хорошо,— сказал Кунта, вставая,— котел сейчас взять?

— Конечно, бери,— ответил Хабуг и тоже встал.

— Подожди,— сказала жена Хабуга и, отбросив кукурузную кочерыжку, со звоном высыпала зерно из подола в таз.

Она вложила ему в котел (чтобы не извиняться за ненаполненную емкость) несколько хороших ломтей свежих сот.

— Да стоит ли? — поломался Кунта.

— Стоит,— мрачно пошутил Хабуг,— может, это потомки тех пчел, которые твоего отца закусали...

— Чего не бывает,— сказал Кунта и, приподняв котел, заковылял через двор.

Хабуг, стоя в дверях, долго смотрел ему вслед.

— Говорят, ему теперь вся власть,— кивнул он в сторону уходящего Кунты,— так я и поверил...

— Кому это вся власть? — повернулась от огня жена Хабуга. Раздвинув головешки, она разгребла жар поближе к горшку с фасолевой похлебкой.

— Да про Кунту я,— сказал Хабуг, все еще стоя в дверях и глядя ему вслед.

— Он как был, бедняга, при своем горбе, так и остался,— вздохнула она и снова уселась лущить кукурузу. Хабуг все еще стоял в дверях.

— Чем торчать тут,— сказала жена, с хрустом соскребывая вылущенной кочерыжкой зерна из плотного початка,— поймал бы своего мула и поехал бы сына проведать...

— Нечего мне делать больше, как плясуна твоего проведывать,— сказал Хабуг и добавил,— я на мельницу поеду, перекусить приготовь...

— Я бы Кунту послала на мельницу, а ты бы к сыну поехал,— снова повторила жена, но уже без всякой уверенности. Она снова встала и сняла зацепленный ножками за чердачную балку кухонный столик.

— Кунта теперь сам кого хочешь пошлет на мельницу,— усмехнулся Хабуг, усаживаясь за столик,— хозяин...

* * *

А между прочим, если бы старый Хабуг послушался свою жену и вправду, поймав своего мула, оседлал бы его и поехал проведать сына, может, ему удалось бы сказать свое слово в самом начале большой дискуссии, которая развернулась на страницах «Красных субтропиков» по поводу таинственных костей неизвестного, найденных в дупле молельного ореха.

Первая корреспонденция, на которую я наткнулся, просматривая подшивки тех лет, называлась «Конец молельного дерева». В ней рассказывалось о том, что молодежь села Чегем весело, с песнями (так и было написано) предала сожжению знаменитый молельный орех села Чегем. Теперь пастухи, подымаясь с колхозными стадами на альпийские луга, говорилось в ней, не будут останавливаться возле этого дерева, чтобы под видом языческого обычая прирезать козла и попировать, а будут целенаправленно двигаться к своим летним стоянкам. В конце заметки указывалось, что молельное дерево обладает уникальным дуплом, которое тянется до вершины и имеет несколько выходов. Ширина дупла у подножия дерева дает возможность двум всадникам въехать в него и, не мешая друг другу, выехать. (Кстати, я заметил, что везде, где говорится об уникальных дуплах, указывается на то, что всадник, по крайней мере один, может в него въехать, не спешиваясь. Можно подумать, что это самая пламенная мечта всякого всадника, начиная с Дон Кихота, найти дупло, в которое можно въехать, не спешиваясь, постоять там немного, может, сделать что-нибудь, не спешиваясь, и выехать обратно.)

В самом конце заметки глухо указывалось, что в дупле был найден скелет дореволюционного происхождения. (Я подозреваю, что эта фраза, скрыто полемизируя со статьей в «Кенгурийской нови», тайно рекомендовала следственным органам кенгурийского района оставить дядю Сандро в покое.)

Вот последняя фраза этой статьи, переписанная мной в блокнот: «По-видимому, мы никогда не узнаем, какому бедному пахарю или бесправному пастуху принадлежит этот скелет, но мы уверены, что это еще одно преступление местных дореволюционных феодалов».

Через некоторое время, примерно через неделю, на страницах «Красных субтропиков» выступил ученый-кавказовед из Москвы, который как раз в это время находился в Абхазии с археологической экспедицией. Он вел раскопки в двенадцати километрах от Мухуса в селе Эшеры. Газета дала его выступление под холодноватым, как мне кажется, нейтральным названием «Мнение ученого».

Он выдвинул гипотезу, что, возможно, найденный скелет — не результат убийства, а один из интереснейших древних обычаев воздушного погребения покойников, о котором с таким живым интересом рассказывал Аполлоний Родосский во втором веке до нашей эры. Оказывается, предки нынешних абхазцев считали святотатством хоронить мужчин в земле. Оказывается, их заворачивали в бычьи шкуры и вздымали на деревья при помощи виноградной лозы, чего нельзя сказать про женщин, которых предавали земле.

По-видимому, в районе Чегема было древнее поселение предков нынешних абхазцев, и следовало бы тщательно изучить наиболее многолетние экземпляры деревьев в этой местности.

Почему-то эта заметка вызвала гневную отповедь на страницах «Красных субтропиков». Ответ на статью знаменитого археолога назывался «Ученый копуша».

Когда я наткнулся на эту отповедь в пожелтевших подшивках «Красных субтропиков», я почувствовал, что на глаза мои наворачиваются слезы умиления. Я уловил в ней, пусть только для себя, но все-таки уловил истоки того стиля, который так прочно закрепился в последующие годы.

Автор ее начал свое выступление с того, что назвал предположение ученого неуклюжей и по крайней мере странной попыткой выгородить дореволюционного убийцу. После этого бойкое перо автора вонзилось в самого Аполлония Родосского и оказавшегося у него в плену нашего ученого.

Прочитав фразу про плен, я опять умилился и подумал, что, видимо, именно тогда ученые и другие общественные деятели стали попадать в плен.

Помнится, в самые ранние школьные годы это выражение было в ходу, и я довольно картинно представлял себе этих самых ученых, попавших в плен к буржуям. Я их почему-то представлял бородатыми дядьками, с завязанными назад руками, уныло бредущими под конвоем в буржуазную сторону. Я только не понимал тогда, почему вместо того, чтобы только ругать попавших в плен наших людей, не постараться неожиданным партизанским налетом отбить их у конвоиров и пустить в нашу сторону.

Одним словом, статья эта, отвергнув Аполлония Родосского, защищала традицию общепринятого у абхазцев и многих других народов захоронения мертвецов. Особенно, как недопустимая вольность, отмечалось предположение, что трупы мужчин поднимали на деревья, тогда как женщин унизительно зарывали в землю.

Абхазцы, отмечал автор, всегда отличались рыцарским отношением к женщине, тем более сейчас, при Советской власти, когда равноправные мужчины и женщины бок о бок работают на стройках и на колхозных полях.

«Пока жив Нестор Аполлонович, никакому Аполлонию Родосскому не удастся оклеветать наши народные обычаи!» — с таким, несколько неожиданным пафосом заканчивал статью тогда еще молодой журналист, подписывавший свои статьи псевдонимом Леван Гольба.

Кстати, как только погиб Лакоба, он стал выступать в печати под псевдонимом Леван Гольбидзе, иногда разнообразя его псевдонимом Леван Гольбия, а именно тогда, когда представители мингрельцев в грузинском правительстве становились наиболее сильной группировкой. Ради справедливости надо сказать, что, меняя фамилии, он всегда твердо оставлял за собой псевдоним первоначального имени.

Неудивительно, что именно он, столько раз перепсевдонимившийся сам, оказался в 1948 году крупнейшим мастером по расшифровке чужих псевдонимов. Правда, в начале 1953 года он написал статью под названием «Лжегорцы Кавказа» и дал маху. Статья была набрана, но ее не успели напечатать, потому что в это время умер отец всех народов, кроме высланных в Сибирь и в Казахстан. На некоторое время он впал в немилость и даже вынужден был перейти работать в промкооперацию. В настоящее время возвращен в прессу и пока работает под первоначальным псевдонимом.

Кстати, возвратимся к временам его первоначального псевдонима. Надо отдать должное молодым тогда еще абхазским ученым, они дали отпор этой проработочной статье. Как видим, даже в те времена в отдельных случаях здравый смысл нет-нет, да и прорывался на свет божий.

Так, один наш ученый, имени которого я сейчас не могу назвать, писал в тех же «Красных субтропиках», что ни московский ученый, ни тем более Аполлоний Родосский, живший во втором веке до нашей эры, не собирались клеветать на наши народные обычаи и нашу сегодняшнюю действительность.

Что касается обычая воздушного захоронения у колхов, предков нынешних абхазцев, то, действительно, указания на этот обычай имеются не только у Аполлония Родосского, но и у Николая Элиане, который уже в нашу эру писал, что «колхи хоронят покойников в кожах: зашивают их и вешают на деревья». (Я не нахожу ничего плохого в том, что молодой ученый, как это можно заметить даже в моем пересказе, слегка кокетничает эрудицией. Позже ученые стали кокетничать безграмотностью и дошли в этом деле до подозрительной естественности.)

Что характерно для всех этих и других источников, продолжал молодой ученый, это то, что все они прямо указывают на то, что речь идет о воздушном захоронении мужчин, а не женщин. Поэтому здесь нет никакой клеветы, а есть горькая научная истина.

Но, с другой стороны, добавлял он, указания античных и других источников пока не подтверждаются ни этнографическими, ни археологическими данными, если не считать более чем сомнительный чегемский случай.

Во всяком случае, неожиданно добавлял он в конце, независимо от проблемы воздушного захоронения колхов, раскопки, которые ведутся московской экспедицией в районе села Эшеры, и от которых наша научная общественность так много ожидает, никакого отношения к вышеуказанной проблеме не имеют.

При чем тут раскопки? В статье Левана Гольбы о раскопках вообще ничего не говорится. Остается предположить, что после его выступления были предприняты какие-то административные попытки приостановить раскопки.

К сожалению, спросить об этом у нашего историка оказалось не так-то просто. Дело в том, что он сейчас живет в Москве, работает в институте истории и в наших краях теперь сам бывает только с археологическими экспедициями.

В конце концов в один из приездов в Москву мне удалось увидеться с ним в его институте. Встретил он меня с истинно абхазским радушием, мы покалякали с полчаса у него в кабинете, и тут я нашел уместным напомнить ему о его давней статье.

— Да, да,— просиял он,— тогда нам удалось отстоять раскопки... А не собираешься ли ты писать об этом?

Он как-то сразу потускнел.

— Нет,— сказал я,— а что?

— Не стоит,— посоветовал он и с некоторой вопросительной озабоченностью посмотрел на телефон,— конечно, перегибы... Далекого прошлого...

Мне показалось, что последнюю фразу он сказал не столько мне, сколько телефону. Поймав мой взгляд, вернее, поняв по моему взгляду, что я понял смысл его взгляда, направленного на телефон, он решил не скрывать своих опасений и, ткнув рукой на аппарат, сделал отрицательный жест, усилив его брезгливой мимикой. Жест этот не только не оставлял сомнений, что аппарат не пользуется у него никаким доверием, но и всячески призывал меня с оттенком далеко идущего дружелюбия разделить его скептицизм.

— Неужели и вас? — спросил я, кивнув на телефон.

Тут он развел руками в том смысле, что вокруг этого вопроса сложилась обстановка удручающей неясности.

— Ну, а вообще, что слышно? — спросил я, каким-то образом чувствуя, что телефон втягивает меня в сферу своих интересов. Тут как-то само собой получается, что хочется поиграть с Великим Немым, хочется подразнить его.

— Да как сказать,— протянул он неопределенно и снова посмотрел на телефон.

— Левана вернули в газету,— сказал я.

— Неважный признак,— сказал он и как-то весь оживился. Казалось, эта маленькая, но точная информация мгновенно привела в движение хорошо налаженную, но застоявшуюся ввиду отсутствия фактов машину исторического прогноза.

Он сделал свирепое выражение лица и подкрутил обеими руками несуществующие усы. После этого он сделал этими же руками жест вверх, похожий на тот жест, которым показывают крановщику, что груз можно поднимать.

— Но ведь Левана вернули в газету под первоначальным псевдонимом,— напомнил я.

— Вообще это неплохой признак,— сказал он и замолк. Казалось, машина прогноза сделала обратное движение и осеклась на том месте, с которого она двинулась в начале.

— Кроме шуток,— спросил я, снова возвращаясь к его статье,— что вам это выступление тридцатилетней давности? Вы — профессор, да и живете в Москве?

— А раскопки? — возразил он.— Мы готовимся к интереснейшей экспедиции в районе Цебельды. Испортить ее на месте ничего не стоит... Разве что найдется молодой чудак, который выступит в мою защиту?

Мы посмеялись и, слегка растроганные взаимным либерализмом, расстались.

На этом я прерываю историю молельного дерева и щадящим движением останавливаю себя, с тем чтобы, набравшись мужества и спокойствия, вернуться к нему...

Пиры Валтасара

Хорошей жизнью зажил дядя Сандро после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город, сделал комендантом ЦИКа и определил в знаменитый абхазский ансамбль песен и плясок под ру-

ководством Платона Панцулая. Там он быстро выдвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способных соперничать с самим Патой Патарая!

Тридцать рублей в месяц как комендант ЦИКа и столько же как участник ансамбля — неплохие деньги по тем временам, прямо-таки хорошие деньги, черт подери!

Как комендант ЦИКа дядя Сандро следил за работой технического персонала, получал время от времени по почте слуховые аппараты из Германии для Нестора Аполлоновича да еще распоряжался гаражом, в том числе и личным «бьюиком» Лакобы, который он называл «бик» для простоты заграничного произношения.

Разумеется, личный «бьюик» Лакобы находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь.

В такие времена, бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый «бьюик» для того, чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение или свадьбу или в крайнем случае собственный приезд.

Прикатить в родную деревню на личной машине Лакобы, которую все знали, было вдвойне приятно, то есть политически приятно и приятно просто так. Все понимали, что, раз человек приехал на машине Нестора Аполлоновича, значит, он идет вверх, может, даже Нестор Аполлонович его приблизил к себе и знай похлопывает по плечу или даже, дружески облапив, вталкивает в свою машину: мол, поезжай, подлец, куда тебе надо, да только не блюй на сиденье на обратном пути.

Были, конечно, и неприятности. Так, один не такой уж ответственный, но все же руководящий товарищ поехал на этом «бьюике» в свою деревню. Там он (уже за столом) на чей-то вопрос насчет «бьюика» с коварной уклончивостью ответил, что хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали.

Не успел он выйти из-за этого пиршественного стола, а точнее сказать, досиделся он за ним до того, что из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы. Они осторожно, чтобы не побеспокоить остальных, вытащили его из-за стола и во дворе измолотили, как следует.

Вдобавок ко всему они его привязали к багажнику «бьюика», чтобы в таком виде провезти по всей деревне. Правда, провезти не удалось, потому что сами управлять машиной они не могли, а шофер сбежал в кукурузник.

В сущности говоря, иного и не следовало ожидать. Своими вздорными разговорами он оскорбил не только самого Нестора Лакобу, но и весь его род. А оскорбление рода редко в те времена оставалось безнаказанным.

После этого случая приличные люди долго удивлялись, как этот товарищ осмелился столь открыто заниматься святотатством и при этом лживым святотатством!

Сам он говорил, что на него нашло затмение на почве выпивки, а хозяин дома, в котором он сидел, клялся всеми предками, что из-за стола никто не вставал, так что ему до сих пор непонятно, кто побежал доносить в соседнее село.

К счастью, вся эта история не дошла до ушей Нестора Аполлоновича, а то бы всем этим племянникам или однофамильцам, да и самому дяде Сандро, а уж заодно и пострадавшему святотатцу по второму заходу крепко бы досталось.

Дяде Сандро, конечно, кое-что перепадало за эти небольшие вольности с «бьюиком». Не то, чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но устроить родственника в хорошую больницу, быстро получить

нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжаются николаевские времена, крадет чужих лошадей да еще на суде, вместо того чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику...

Много хорошего сделал дядя Сандро в те золотые времена для своих близких, только не все отплатили добром за добро, многие впоследствии оказались неблагодарными.

Абхазский ансамбль песен и плясок уже гремел по всему Закавказью, а позже гремел в Москве и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет.

В описываемые времена он уже набирал скорость своей славы, которую в первую очередь ему создали Платон Панцулая, Пата Патарая и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на сцене республиканского театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха закавказского побережья.

После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам.

Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Патой Патарая. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патарая: разгон за сценой, падение на колени и скольжение, скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте.

Так вот, это знаменитое па он так хорошо усвоил, что многие говорили, что не могут отличить одного исполнителя от другого.

Однажды участник ансамбля, танцор и запевала по имени Махаз, сказал, что если нахлобучишь башлык на лицо исполнителя этого номера, то и вовсе не поймешь, кто скользит через всю сцену: знаменитый Пата Патарая или новая звезда Сандро Чегемский.

Возможно, Махаз, как земляк дяди Сандро по району, хотел ему слегка польстить, потому что отличить все-таки можно было, особенно опытному глазу, но главное не это. Главное то, что своими случайными словами он заронил в голове дяди Сандро идею великого усовершенствования и без того достаточно сложного номера.

На следующий же день дядя Сандро приступил к тайным тренировкам. Пользуясь своим служебным положением, он их проводил в конференц-зале ЦИКа при закрытых дверях, чтобы уборщица не подсматривала.

Около трех месяцев тренировался дядя Сандро, и вот наступил день, когда он решился показать свой номер. Сам он считал, что номер недостаточно отшлифован, но обстоятельства вынудили его рискнуть и бросить на сцену свой тайный козырь.

Накануне лучшая часть ансамбля в составе двадцати человек уехала в Гагры. Ансамбль должен был выступить в одном из крупных санаториев, где в эти дни проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, проводил сам Сталин, отдыхавший в это время в Гаграх.

По-видимому, мысль собрать секретарей райкомов возникла у него здесь во время отдыха. Но почему он созвал совещание секретарей райкомов только Западной Грузии, дядя Сандро так и не понял.

По-видимому, секретари райкомов Восточной Грузии в чем-то провинились, а может, он им хотел дать почувствовать, что они еще не доросли до этого высокого совещания, чтобы в будущем работали лучше, соперничая с секретарями райкомов Западной Грузии.

Так думал дядя Сандро, напрягая свой любознательный ум, хотя это, собственно говоря, не входило в его обязанности коменданта ЦИКа или гем более участника ансамбля.

И вот лучшая часть ансамбля выехала, а дядя Сандро остался. Дело в том, что у дяди Сандро в это время тяжело болела дочь. Все об этом знали. Перед самым отъездом группы дядя Сандро попросил Панцулая оставить его ввиду болезни дочери. Он был уверен, что Панцулая всполошится, будет упрашивать его поехать вместе с группой, и тогда, поломавшись, он даст свое грустное согласие.

Так было бы прилично по отношению к родственникам, мол, не сам кинулся плясать, а был вынужден, и, кроме того, участники ансамбля еще не раз почувствовали бы, что без Сандро танцевать можно, да танец будет не тот.

И вдруг руководитель ансамбля сразу дает согласие, и дяде Сандро ничего не остается, как повернуться и уйти. В тот же день управляющий ЦИКом делает ему оскорбительное замечание.

— По-моему, у нас крадут дрова,— сказал он, указывая на огромный штабель дров, распиленных и сложенных во дворе ЦИКа еще в начале лета.

— Садятся,— небрежно ответил ему дядя Сандро, чувствуя скуку из-за своего артистического одиночества.

— Я что-то не слыхал, чтобы дрова садились,— сказал управляющий с намеком, как показалось дяде Сандро.

— А ты не слыхал, что вокруг Чегема леса сгорели? — вкрадчиво спросил дядя Сандро.

Это был знаменитый чегемский сарказм, к которому далеко не всякий мог приспособиться.

— При чем тут Чегем и его леса? — спросил управляющий.

— Вот я и вожу в горы ЦИКовские дрова,— ответил дядя Сандро и отошел от управляющего. Тот только развел руками.

«Эшеры уже проехали,— думал дядя Сандро, подымаясь по лестнице ЦИКовского особняка,— наверное, сейчас приближаются к Афону». Сквозняк, тронувший его лицо прохладой, показался ему дуновением опалы. «Видно, управляющий что-то знает, видно, Лакоба от меня отступился»,— думал дядя Сандро, сопоставляя оскорбительный тон управляющего с еще более оскорбительной легкостью, с какой Платон Панцулая согласился на его просьбу.

Особенно было обидно, что на банкете, как предполагали, будет сам товарищ Сталин. Правда, точно никто не знал. Да это и не полагалось точно знать, даже было как-то сладостней, что точно никто ничего не знал.

На следующий день дядя Сандро сидел у постели своей дочки, тупо глядя, как жена его время от времени меняет на ее головке мокрое полотенце.

Девочка заболела воспалением легких. Ее лечил один из лучших врачей города. Он уже сомневался в благоприятном исходе, хотя и надеялся, как он говорил, на ее крепкую чегемскую природу.

Четверо чегемцев, дальних родственников дяди Сандро, сидели тут же в комнате, осторожно положив руки на стол. В последние годы они стали все чаще и чаще наезжать в город и, надо сказать, слегка поднадоели дяде Сандро.

Чегемцы проходили ускоренный курс исторического развития. Делали они это с некоторой патриархальной неуклюжестью. С одной стороны, у себя дома в полном согласии с ходом истории и решениями вышестоящих органов (в сущности, сам ход истории тогда был предопределен решениями вышестоящих органов) они строили социа-

лизм, то есть вели колхозное хозяйство. С другой стороны, выезжая в город торговать, они впервые приобщились к товарно-денежным капиталистическим отношениям.

Такая двойная нагрузка не могла пройти бесследно. Некоторые из них, удивленные, что за такие простые продукты, как сыр, кукуруза, фасоль, можно получать деньги, впадали в обратную крайность и, заламывая неимоверные цены, несколько дней горделиво простаивали возле своих некупленных продуктов. Иногда, уязвленные пренебрежением покупателей, чегемцы увозили назад свои продукты, говоря: «Ничего, сами съедим». Впрочем, таких гордецов оставалось все меньше и меньше, деспотия рынка делала свое дело.

К одному никак не могли привыкнуть чегемцы, это к тому, что в городских домах нет очажного огня. Без живого огня дом казался чегемцу нежилым, вроде канцелярии. Беседовать в таком доме было трудно, потому что непонятно, куда смотреть. Чегемец привык, разговаривая, смотреть на огонь, или по крайней мере, если приходилось смотреть на собеседника, огонь можно было чувствовать растопыренными пальцами рук.

Вот почему четверо чегемцев молчали, осторожно положив руки на стол, чем вызывали у дяди Сандро дополнительное раздражение.

«Сегодня,— думал дядя Сандро,— наши, может быть, будут танцевать перед самим Сталиным, а я должен сидеть здесь и слушать молчание чегемцев». Оказывается, на базаре им предложили остаться в Доме колхозника, но они с возмущением отвергли этот совет, ссылаясь на то, что здесь в городе живет дядя Сандро, и он может обидеться, как «родственник». Нельзя сказать, что такая верность родственным узам взволновала дядю Сандро.

— Слава богу, наш Сандро выбился в присматривающие,— сказал один из чегемцев, с трудом преодолевая отсутствие в доме живого огня.

— Железные колени сейчас властями ценятся, как никогда,— после продолжительного раздумья объяснил второй чегемец причину успеха дяди Сандро.

— Князь Татырхан, помнится, тоже ценил хороших танцоров,— провел историческую параллель третий чегемец.

— Все же не настолько,— после долгого молчания добавил четвертый чегемец. Он долго думал, потому что хотел сказать что-нибудь свое, но, не найдя ничего своего, решил подправить сказанное другим.

Скупо переговаривались чегемцы. Жена, сидя возле больной девочки, обмахивала ее опахалом. Муха жужжала и билась о стекло. Дядя Сандро терпел.

И вдруг распахнулась дверь, а в ней — управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда.

Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита.

— Что легко пришло, то легко уходит,— ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую пословицу.

— Не хотел тебя беспокоить,— сказал управляющий и, вздохнув, вынул из кармана бумажку,— тебе телеграмма.

— От кого?! — выхватил Сандро свернутый бланк.

— От Лакобы,— сказал управляющий с уважительным удивлением.

«Приезжай если можешь Нестор»,— прочел дядя Сандро расплывающиеся от счастья буквы.

— «Если можешь»?! — воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму,— да есть ли что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора! Где «бик»? — уже властно обратился он к управляющему.

— На улице ждет,— ответил управляющий,— не забудь захватить паспорт, там с этим сейчас очень строго.

— Знаю,— кивнул дядя Сандро и бросил жене: — Приготовь черкеску.

Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к остающимся и сказал с пророческой уверенностью:

— Клянусь Нестором, девочка выздоровеет!

— Откуда знаешь? — оживились чегемцы. Жена ничего не сказала, а только, продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа.

— Чувствую,— сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь.

— Именем Нестора не всякому разрешают клясться,— услышал дядя Сандро из-за дверей.

— Таких в Абхазии раз-два и обчелся,— уточнил другой земляк дяди Сандро, но этого, припустив к машине, он уже не слышал.

Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть.

...Через три часа бешеной гонки «бьюик» остановился в Старых Гаграх перед воротами санатория на одной из тихих и зеленых улочек.

Вечерело, дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина.

— Пропуск,— сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши.

Женщина посмотрела в паспорт, сверила его с каким-то списком, потом несколько раз придирчиво взглянула на дядю Сандро, стараясь выявить в его облике чуждые черты.

Каждый раз, когда она взглядывала, дядя Сандро замирал, не давая чуждым чертам проявиться и стараясь сохранить на лице выражение непринужденного сходства с собой.

Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник встречи с вождем.

С пропуском и паспортом в одной руке, с чемоданом — в другой, он быстро перешел пустой дворик санатория и остановился у входа, где его встретил дежурный милиционер. Тот почему-то долго и недоверчиво смотрел на его пропуск, сверяя его с паспортом.

— Абхазский ансамбль,— намекнул дядя Сандро на мирный характер своего визита. Тот на это ничего не сказал, но, продолжая держать в руке паспорт, перевел взгляд на чемодан.

Дядя Сандро радостно закивал, показывая полное понимание ответственности момента. Он быстро раскрыл чемодан и, поставив у ног, стал вынимать из него черкеску, азиатские сапоги, галифе, кавказский пояс с кинжалом. Вынимая каждую вещь, дядя Сандро честно встряхивал ее, давая возможность выскочить любому злоумышленному предмету, который мог бы там оказаться.

Когда дело дошло до пояса с кинжалом, дядя Сандро, улыбаясь, слегка выдвинул его из ножен, как бы отдаленно намекая на полную его непригодность в цареубийственном смысле, даже если бы такая безумная идея и возникла в какой-нибудь безумной голове.

Милиционер внимательно проследил за его жестом и коротко кивнул, как бы признавая сам факт непригодности и отсекая всякую возможность рассуждений по этому поводу.

Дядя Сандро заложил все вещи в чемодан, закрыл его и уже протянул было руку за паспортом и пропуском, но милиционер опять остановил его.

— Вы Сандро Чегемба? — спросил он.

— Да,— сказал дядя Сандро и вдруг догадался,— но для афиши я прохожу как Сандро Чегемский!

— Афиши меня не интересуют,— сказал милиционер и, не предлагая дяде Сандро пройти, снял со стены новенький телефон и стал куда-то звонить.

Дядя Сандро пришел в отчаяние. Он вспомнил о телеграмме, как о последнем спасительном документе, и стал рыться в карманах.

— Бик, ЦИК, Лакоба,— словами-символами заговорил он от волнения, безуспешно роясь в карманах.

И вдруг дядя Сандро заметил, что сверху по широкой лестнице, устланной ковром, спускается участник ансамбля Махаз. Дядя Сандро почувствовал, что сама судьба посылает ему земляка по району. Он отчаянно зажестикулировал, подзывая его, хотя тот и так спускался к ним, слегка обгоняя отвевающиеся полы черкески.

— Его спросите,— сказал дядя Сандро, когда Махаз, топыря грудь и невольно раздуваясь, остановил себя возле них. Милиционер, не обращая внимания на Махаза, продолжал слушать трубку. Шея Махаза стала наливаться кровью.

Между тем, если бы дядя Сандро прислушался к телефонному разговору, ему не пришлось бы так волноваться, а земляку по району не пришлось бы утруждать грудные силы, необходимые для предстоящего пения.

Дело в том, что дежурная в проходной по ошибке вместо Чегемба сначала на пропуске написала Чегенба, а потом исправила букву. Вот это исправление буквы, по-видимому, не положенное в таких местах, и вызвало подозрение милиционера. Сейчас по телефону, уточняя это недоразумение, он убедился, что исправила букву она сама, а не кто-нибудь со стороны.

Хотя телефон был новенький, может, только сегодня поставленный, слышно было плохо, и милиционеру приходилось то и дело переспрашивать.

— Участник ансамбля, известный Сандро Чегемский,— заявил Махаз, выставив вперед перетопыренную грудь, когда милиционер положил трубку.

— Знаю,— просто сказал милиционер,— проходите.

Дядя Сандро и Махаз подымались по лестнице, устланной красным ковром. Оказывается, руководитель ансамбля уже несколько раз посылал Махаза встречать его.

Дядя Сандро теперь не испытывал к милиционеру никакой враждебности. Наоборот, он чувствовал в этой строгости прохождения в санаторий залог грандиозности предстоящей встречи. Дядя Сандро, пожалуй, согласился бы и на новые препятствия, только бы знать, что в конце концов он их одолеет.

— Он будет? — спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору.

— Почему будет, когда есть,— сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь, как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и, очень возбужденный, вошел в большую светлую комнату.

Участники ансамбля, уже переодетые, разминаясь, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные, расслабленные ноги.

— Сандро приехал! — раздалось несколько радостных голосов.

Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им телеграмму Лакобы.

— Управляющий принес,— говорил он, размахивая телеграммой.

— Быстро переодевайся! — крикнул Панцулая.

Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля, и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора.

— Главное,— говорил он,— когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино. Ведите себя скромно, но девушку строить из себя тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей предлагает тебе выпить — выпей и отойди к товарищам. Не стой рядом с вождем, тем более жуя, как будто ты с ним Зимний дворец штурмовал.

Танцоры, слушая Панцулая, похаживали по комнате, переминались, перетягивали пояса. Некоторые становились на носки и вдруг, приподняв ногу, затянутую в мягкий, как перчатка, азиатский сапог — скок, скок, скок! — делали несколько прыжков на одной ноге, одновременно прислушиваясь к ровному, успокаивающему голосу руководителя.

Пата Патарая несколько раз, готовясь к своему знаменитому номеру, разгонялся, но не падал на колени, а просто скользил, чтобы как следует почувствовать пол. Проскользив, он останавливался, осторожно поворачивался и, прикладывая пятку одной ноги к носку другой, измерял пройденный путь.

Дядя Сандро занялся тем же самым. Теперь он мог соразмерить силу разгона с расстоянием скольжения с точностью до длины своей ступни. Правда, Пата Патарая это делал с точностью до ширины ладони, но у дяди Сандро был в запасе его секретный номер, и это сейчас опаляло его душу тревожным ликованием: «Получится ли?»

— Помните, что сцены никакой не будет,— говорил Панцулая, в своей белой черкеске похаживая среди питомцев,— танцевать будете прямо на полу, пол там такой же. Главное, не волнуйтесь! Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше...

Но вот открылась дверь, и в ней показался пожилой человек в чесучовом кителе. Это был директор санатория. Он грозно и вместе с тем как бы испуганно за возможный провал кивнул Панцулая.

— За мной, по одному,— тихо сказал Панцулая и мягко выскользнул за дверь вслед за чесучовым кителем.

За руководителем двинулся Пата Патарая, за Патой — дядя Сандро, а там и остальные, рефлекторно уступая дорогу лучшим.

Бесшумными шагами дворцовых заговорщиков они прошли по коридору и стали входить в комнату, в дверях которой стоял штатский человек.

Директор санатория кивнул ему, тот кивнул в ответ и стал всех пропускать в дверь, всматриваясь в каждого и считая глазами. Комната эта оказалась совершенно пустой, и только в дальнем ее конце у окна сидели два человека в таких же штатских костюмах, как и тот, что стоял у дверей. Они курили, о чем-то уютно переговариваясь. Заметив участников ансамбля, один из них, не вставая, кивнул, дав знать, что можно проходить.

Директор открыл следующую дверь, и сразу же оттуда донесся гул застольных голосов. Не входя внутрь, он остановился возле дверей и, молча, отчаянным движением руки: давай! давай! давай! — как бы вмел всех в банкетный зал.

В несколько секунд участники ансамбля впорхнули в зал и выстроились в два ряда, оглушенные ярким светом, обильным столом и огромным количеством людей.

Банкет был в разгаре. Все произошло так быстро, что в зале их не сразу заметили. Сначала одинокие хлопки, а потом радостный шквал рукоплесканий приветствовал двадцать кипарисовых рыцарей, как бы выросших из-под земли во главе с Платоном Пангулая.

Чувствовалось, что аплодирующие хорошо поели и выпили и теперь с удовольствием продолжат веселье через искусство, чтобы, может быть, потом снова возвратиться к посвежевшему веселью застолья.

Участники ансамбля, придя в себя, стали искать глазами товарища Сталина, но не сразу его обнаружили, потому что они смотрели в глубину зала, а товарищ Сталин сидел совсем близко, у самого края стола. Он сидел, слегка отвернувшись к соседу, который оказался Всесоюзным Старостой Калининым.

Аплодисменты продолжались, а Пангулая, склонив голову, стоял перед кипарисовым строем, как мраморное изваяние благодарности. Но вот, почувствовав, что рукоплескания не иссякают, и потому дальнейшее молчание ансамбля становилось нескромным, он приподнял голову и, покосившись на участников ансамбля, ударил в ладони. Так всадник, приподняв камчу, прежде чем огреть скакуна, слегка оглядывается на его спину.

Участники ансамбля стали рукоплескать, прорываясь шумом своей любви к самому источнику любви, сквозь встречный шум правительственной симпатии. Неожиданно поднялся Сталин, и за ним с грохотом вскочил весь зал, стараясь догнать его до того, как он распрямится.

С минуту длилась эта бескровная борьба взаимной привязанности, как бы дружеская возня приятелей, похлопывающих друг друга по спине, дурашливая схватка влюбленных, где побежденный благодарил победителя и тут же любовно побеждал его, новой шумовой волной опрокидывая его шумовую волну.

Танцоры по привычке, продолжая рукоплескать, переговаривались, не поворачиваясь друг к другу.

— Вон товарищ Сталин!
— Где, где?
— С Калининым говорит!
— Оказывается, Ворошилов тоже маленький!
— А это кто?
— Жена Берии!
— Вожди — и маленького роста.
— Маленькие, они более устойчивые...
— Тебе бы, Сандро, за таким столом тамадой...
— Тамада наш Нестор!
— А, может, Берия?
— Нет, видишь, Нестор во главе стола сидит.
— Сталин его всегда выбирает... Он — его любимчик...

Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарования эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, и что потому он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий.

Появление этих стройных танцоров, затянутых в черные черкески, обрадовало его. В такие часы он любил все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надоедавшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расползающимся, во что превращается всякая политическая акция, и воспринимал ее пусть как маленькое, но вещественное доказательство его правоты.

Двадцать стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к Мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить, как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой — от демонической беспощадности до умиления этими маленькими, в сущности, радостями. Замечая, что он поражает окружающих этой неслыханной широтой, он дополнительно ценил в себе это умение ценить маленькие внеисторические радости жизни.

Так или иначе, один из ликующих делегатов его национальной политики, а именно дядя Сандро, насмотревшись на вождей, продолжая аплодировать, перевел взгляд на стол.

Стол, вернее, столы пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломящиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью.

Горбились индюшки в коричневой ореховой подливе, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью выставляли голые гузки. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожным. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями.

Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски.

Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржомом. Бутылки с вином были без этикеток, видно, из местных подвалов. Дядя Сандро по запаху определил, что это «Изабелла» из села Лыхны.

Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли — так, жареные перепелки запеклись в собственном жире. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу, навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий.

За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но не дай бог сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравновешивалась деспотией выпивки.

Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним, как жезл застольной власти.

Направо от него сидел Сталин, дальше Калинин. Налево от Лакобы сидела жена его, смуглянка Сарья, рядом с ней красавица Нина, жена Берии, а дальше сидел ее муж, энергично посверкивая стеклами пенсне. За Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калининым по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.

Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями, так и застывшими в удивленной приподня-

тости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны. Дядя Сандро их сразу узнал, потому что они, в отличие от секретарей райкомов, ничему не удивлялись и тем более не подымали бровей.

Нестор Лакоба, сидевший во главе стола, сейчас, круто обернувшись, смотрел на ансамбль и, как хозяин, соблюдая приличия, аплодировал гораздо сдержанней остальных.

Когда Сталин опустил руки и сел, аплодисменты замолкли. Но не сразу, потому что те, что сидели подальше, этого не заметили. Они замолкли, как замолкает ветерок, прошелестев в листве большого дерева.

— Любимый вождь и дорогие гости,— начал Панцулая,— наш скромный абхазский ансамбль, организованный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакобы...

Дядя Сандро заметил, что в это мгновение Сталин посмотрел на Лакобу и плутовато улыбнулся в усы, на что тот ответил ему застенчивым пожатием плеч.

— ...исполнит перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов.

Панцулая низко наклонил голову, как бы заранее извиняясь, что ему придется сейчас повернуться спиной к высоким гостям. Не подымая головы, плавным движением, стараясь избегнуть хотя бы оскорбительной неожиданности предстоящей позы (раз уж так или иначе она необходима), одновременно скорбя лицом за то, что поворачивается спиной, он довершил свой многозначный поворот, приподнял голову, взмахнул руками, окрыленными рукавами белой черкески, и замер на взмахе.

— О-райда, сиуа-райда, эй,— как бы из глубины узкого ущелья вытянул Махаз.

И вот уже хор по взмаху окрыленных рукавов подхватывает древнюю песню. Не все вернутся с набега, без слов рассказывает она... Не всем суждено увидеть пламя родного очага... И когда поперек седла мертвый юноша въедет во двор отцовского дома, от крика матери вздрогнет конь и шевельнется мертвец.

Но не вскрикнет отец и не заплачет брат, потому что, только отомстив, мужчина получает право на слезы.

Такова воля судьбы и судьба мужчины.
Женщина зреет, чтобы родить мужчину.
Мужчина зреет, чтобы родить мужество.
Виноград зреет, чтобы родить вино.
Вино зреет, чтобы напомнить о мужестве.
А песня зреет, чтобы пляской напомнить поход.

Постепенно мелодия переходит в энергию ритма. Песня сжимается, она отбрасывает лишние одежды, как борец отбрасывает их перед тем, как приступить к схватке.

Дядя Сандро чувствует подступающее опьянение, чувствует, как песня переливается в его кровь и теперь хочет стать пляской, выполнением клятвы, заложенной в ней.

Участники хора уже бьют в ладони, хотя все еще продолжают напевать сжатый до предела мотив. Вся энергия теперь в ритме хлопающих ладоней, но пляска должна дозреть, дойти, и поэтому ее продолжают подогревать на маленьком огне мелодии.

— О-райда, сиуа-райда! — повторяет хор.

Тащ-тущ! Тащ-тущ! — хлопают ладони, продолжая вытягивать пляску из песни.

Кто-то из зрителей не выдерживает и тоже начинает бить в ладони, стараясь ускорить явление пляски. Весь зал вместе с товарищем Сталиным хлопает в ладони.

Тащ-тущ! Тащ-тущ! И тут вырывается Пата Патарая! Безумный бег коня, сорвавшегося с привязи, и вдруг замер!.. Вытягивается, выструнивается на носках, показывая готовность взмыть, как стрела, врезаться во вражеские ряды, но в последний миг меняет решение и в бешеном вращении утоляет ненасытную жажду воина куда-то прорваться и во что-то врезаться.

В круг вбрасывается Сандро Чегемский! И вот уже все танцоры взвились черными вихрями черкесок, показывая древнюю готовность мужчины стать воином, а воину — врезаться, взмыть, прорваться... Но в последний миг выясняется, что приказа врезаться, взмыть, прорваться все еще нет.

— Ах, так?! — словно говорят танцоры и, грозно топнув ногой, кружатся.

— Ах, так? Ах, все еще? — И снова.

— Ах, так? Ах, так? Ах, так?

Кружась, они тончают, расслаиваются и в конце концов делаются полупрозрачными, как пропеллеры. Оказывается, вращаясь вокруг себя, можно утолить ненасытную жажду боя.

— О-райда-сиуа-райда! Тащ-тущ! Тащ-тущ!

Танцоры, умело и вовремя заменяя друг друга, влетают в круг, и уже кажется, что карусель танца движется сама по себе, по древнему замыслу, суть которого отчасти заключается в желании ошеломить невидимого врага (в далекие времена, когда князья приглашали друг друга на пиршества, враг был видимым), так вот — ошеломить его неистощимостью своей свирепой энергии.

С короткими перерывами для песен ансамбль танцует абхазские, грузинские, мингрельские и аджарские танцы.

И вот коронный, свадебный танец. Наступает долгожданный миг. Внезапно вскрикнув, Пата Патарая разлетается, еще в прыжке подогнув ноги, шлепается на колени и, раскинув руки, скользит и замирает у ног товарища Сталина.

Для гостей это случилось так неожиданно, что некоторые, особенно те, что сидели далеко, вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Берия вскочил раньше всех и, сверкнув стеклами пенсне, воинственно замер над столом.

Но не было злого умысла, и товарищ Сталин улыбнулся. И в тот же миг грянул шквал рукоплесканий, а Пата Патарая, словно подброшенный этим шквалом, разогнулся и влетел в круг танцующих.

Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновение, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопающих в ладони, повторил знаменитый номер Паты Патарая, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глазами от хорошо начищенных, сверкающих сапог вождя к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз.

Снова рукоплескания.

— Они состязаются! — крикнул Лакоба Сталину, стараясь перекричать шум и собственную глухоту. Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения.

И снова Пата Патарая, вскрикнув, как ужаленный, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, замирает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности.

— Чересчур,— покачал головой Берия.

— А по-моему, здорово! — воскликнул Калинин, всматриваясь из-за плеча товарища Сталина.

Шквал рукоплесканий, и Пата Патарая пятится в вихрь танцующих. То, что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног вождя, почти предрешало его победу.

Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя! Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он кое-что приберег на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ног товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо забралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина.

Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного, танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли.

И в этой тишине, с лицом, прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина.

Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатой в кулак трубкой, но сама поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная беззащитность раскинутых рук, и слепота гордо закинутой головы, и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающее вождю, мол, не встану, пока не благословишь, заставили его улыбнуться.

В самом деле, положив трубку на стол и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства, стал развязывать башлык на его голове.

И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий, а секретари райкомов Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподымать их дальше некуда.

Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы давая убедиться, что номер был проделан чисто, без всякого трюкачества. Он жестом пригласил дядю Сандро встать. Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взял из рук Сталина башлык и стал его рассматривать. Неожиданно Ворошилов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калинина башлык. Под смех окружающих он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно.

— Кто ты, абрек? — спросил Сталин и взглянул на дядю Сандро своими лучистыми глазами.

— Я Сандро из Чегема,— ответил дядя Сандро и опустил глаза. Взгляд вождя был слишком лучезарным. Но не только это. Какая-то беспокойная тень мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дяди Сандро.

— Чегем...— задумчиво повторил вождь и сунул в руку дяде Сандро башлык. Дядя Сандро отошел.

— Какая точность,— услышал он голос Калинина. Поглаживая бородку, Калинин ласково кивнул в сторону дяди Сандро.

— Солнце видно сквозь башлык,— важно заметил Ворошилов, отрезая ухо жареного поросенка. Покамест он возился с ухом, поросенок выпустил изо рта зажатую в нем редиску, и она покатилась по столу, что очень удивило Ворошилова. Он настолько удивился, что, оставив вилку в недорезанном ухе поросенка, стал искать закатившуюся между блюдами и бутылками редиску.

Тут только дядя Сандро обратил внимание на то, что сидящие за столом уже порядочно выпили. Теперь он присмотрелся к ним своим наметанным глазом и определил, что выпито уже по двенадцать-тринадцать фужеров.

Дядя Сандро говаривал, что умеет определить по внешности застольцев, сколько они выпили с точностью до одного стакана. При этом он пояснял, что чем больше людей за столом и чем больше они пьют, тем точнее он мог это определить. Но это еще не все. Оказывается, точность определения повышается с выпитым вином не беспредельно. После трех литров, говаривал дядя Сандро, точность определения снова падает.

...Платон Панцулая стоял перед сдвоенным кипарисовым строем своих питомцев. Сейчас они должны были спеть песню о красных партизанах «Кераз». Все шло как нельзя лучше, поэтому Панцулая не спешил, давая танцорам отдышаться.

— Тебе хорошо,— говорил дяде Сандро земляк по району,— теперь ты обеспечен на всю жизнь...

— Да брось ты, Махаз,— скромничал дядя Сандро.

— Да ты что? — не глядя на него, распалялся Махаз.— Подкатить к самому Сталину, да еще прикрыв лицо башлыком! Такое и немец не придумает!

Да, дядя Сандро прекрасно понимал, что этот блестящий номер не только выдвигает его на первое место в ансамбле, но и окончательно укрепляет его комендантские полномочия. Теперь-то управляющий, конечно, не посмеет лезть к нему с дурацкими расспросами насчет дров.

Когда начали петь партизанскую песню «Кераз», дядя Сандро только делал вид, что поет, слегка открывая и закрывая рот по ходу мелодии. Это была первая, маленькая дань за его подвиг. Пока они пели, Лакоба, наклонившись к Сталину, что-то ему рассказывал, и, судя по тому, что он и Сталин несколько раз бросали взгляд в его сторону, дядя Сандро, сладко замирая, почувствовал, что говорят о нем.

А когда Нестор Аполлонович сжал кулак и взмахом руки что-то показал, дядя Сандро догадался, что он рассказывает ему о молельном дереве и жест его означает, что по дереву надо было ударить чем-нибудь, чтобы оно прозвенело: «Кум-хоз...» Во всяком случае, Сталин в этом месте рассказа откинулся и стал хохотать, за что Калинин его слегка толкнул, показывая, что он мешает ансамблю. Тогда Сталин перестал смеяться и, наклонившись к Калинину, стал ему, как догадался дядя Сандро, пересказывать эту же историю. Дойдя до места, где надо было показать, что дерево ударяли, он несколько раз рукой, сжимающей трубку, сделал энергичное движение. Тут Калинин не выдержал и, тряся бородкой, зашелся в хохоте, после чего уже Сталин пригрозил ему, показывая, что он своим хохотом мешает ансамблю.

Взяв в одну руку рог, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам.

Нестор Аполлонович что-то шепнул жене, и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталиным. Не успел Сталин подойти к танцорам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его Махазу.

Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил, приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькой, пухлой ладонью воздух:

— Пей, пей, пей...

Это был литровый рог. Директор, приняв у Сталина пустую бутылку, поставил ее на стол и прибежал с новой. Он взял у Сарьи блюдо с курицей, чтобы придерживать его, пока она будет разрезать курицу. То ли от смущения, то ли от того, что блюдо покачивалось в руках у директора, Сарья неловко орудовала вилкой и ножом. На смуглых щеках Сарьи проступил румянец, директор начал задыхаться.

Между тем Махаз опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовестность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и, обеими руками взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал на две части. Потом каждую из них разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания...

Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и, осторожно присматриваясь, решил: да, немного есть... Вот бы его свести с Колчеруким, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки.

Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее Махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее.

Директор попытался было налить в рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новой.

— Пей, пей, пей,— услышал дядя Сандро над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог, с той артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада — не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд.

— Пьешь, как танцуешь,— сказал Сталин и, подавая ему куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом.— Где-то я тебя видел, абрек?

Рука Сталина, подававшая куриную ножку, вдруг остановилась и в глазах у него появилось выражение грозной настороженности. Дядя Сандро почувствовал смертельную тревогу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что онто, Сандро, запомнил бы, если бы видел его где-нибудь.

Ансамбль, и без того молчавший, окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти Махаза, жующие курицу, остановились. Надо было отвечать. Но нельзя было отрицать, что Сталин его видел, и в то же время еще страшнее было согласиться с тем, что он его видел не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных воспоминаниях. Это он сразу почувствовал.

Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, провернул за одну-две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный.

— Нас в кино снимали,— неожиданно для себя сказал дядя Сандро,— там могли видеть, товарищ Сталин.

— А-а, кино,— протянул вождь, и глаза его погасли. Он подал куриную ножку: — Держи. Заслужил.

Снова забулькало вино, переливаясь в рог.

— Пей, пей, пей,— раздалось рядом.

Дядя Сандро надкусил куриную ножку и слегка зашевелил шеей, чувствуя, что она омертвела, и по этому омертвению шеи узнавая, какая тяжесть с него свалилась. Ну и ну, думал дядя Сандро, как это я вспомнил, что нас снимали в кино? Ай да Сандро, подумал дядя Сандро, хмелея от радости и гордясь собой. Нет, чегемца не так легко укусить! Неужели мы с ним где-то встречались? Видно, с кем-то спутал. Не хотел бы я быть на месте того, с кем он меня спутал, думал дядя Сандро, радуясь, что он — Сандро Чегемский, а не тот человек, с кем его спутал вождь.

Сталин уже подавал рог последнему танцору в первом ряду, когда к нему подошел Нестор Аполлонович.

— Может, пригласим их за стол? — спросил он.

— Как скажешь, дорогой Нестор, я только гость,— ответил Сталин и, приняв у Сарьи салфетку, стал медленно и значительно, как механик, закончивший работу, вытирать руки. Бросив салфетку в опустошенное блюдо, он пошел рядом с Лакобой к столу упругой, легко несущей свои силы походкой.

Участников ансамбля рассадили за банкетным столом. Тех, что получше, рядом с вождями, тех, что попроще, рядом с секретарями райкомов Западной Грузии. Над банкетным столом уже подымался довольно значительный шум. Островки разнородных разговоров начинали жить самостоятельной жизнью.

Вдруг товарищ Сталин встал с поднятым фужером. Грянула тишина, и через миг воздух очистился от мусора звуков.

— Я подымаю этот бокал,— начал он тихим внушительным голосом,— за эту орденоносную республику и ее бессменного руководителя...

Он замер и долгое мгновение, словно в последний раз стараясь взвесить те высокие качества руководителя, за которые он однажды его удостоил сделать бессменным. И хотя все понимали, что он никого, кроме Лакобы, сейчас не может назвать, все-таки эта длинная пауза порождала азарт тревожного любопытства: а вдруг?

— ...моего лучшего друга, Нестора Лакобу,— закончил Сталин фразу, и рука его сделала утверждающий жест, несколько укороченный тяжестью фужера.

— «Лучшего» сказал, «лучшего»,— прошелестели секретари райкомов, мысленно взвешивая, как эти слова отразятся на тбилисском руководстве партией, а уж оттуда возможным рикошетом на каждом из них. При этом брови на каждом из них продолжали оставаться удивленно приподнятыми.

— ...В республике умеют работать и умеют веселиться...

— Да здравствует товарищ Сталин! — неожиданно вскрикнул один из секретарей райкомов и вскочил на ноги. Сталин быстро повернулся к нему с выражением грозного презрения, после чего этот высокий и грузный человек стал медленно оседать. Словно уверившись в надежности его оползания, Сталин отвел глаза.

— Некоторые товарищи...— продолжал он медленно, и в голосе его послышались отдаленные раскаты раздражения. Все поняли, что он сердится на этого секретаря райкома за его неуместное прославление Сталина.

Берия заерзал и, на мгновение сняв пенсне, бросил на него свой знаменитый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся, как от удара.

Сидевшие рядом с ним секретари райкомов как-то незаметно расступились, образовав между ним и собой просвет с идеологическим оттенком. Все секретари райкомов смотрели на него, удивленно приподняв брови, как бы силясь узнать, кто он такой и откуда он вообще взялся.

Тот продолжал, опираясь руками о стол, глядя на Берию, медленно оседать, стараясь незаметно войти в застолье и в то же время сдерживая себя на тот случай, если ему будет приказано удалиться.

— ...некоторые грамотеи, там, в Москве...— продолжал Сталин после еще более длительной паузы, и в голосе его еще более отчетливо прозвучали нотки угрозы и раздражения. И сразу же всем стало ясно, что он решает про себя что-то очень важное, а про этого неловкого секретаря райкома давным-давно забыл.

Берия отвел от него взгляд, и тот словно обвалился под собственным обломанным костяком, радостно рухнул — пронесло!

— ...Бухарина...— услышал дядя Сандро шепот одного из второстепенных вождей, незнакомых ему по портретам.

— ...Бухарина, Бухарина, Бухарина...— прошелестело дальше по рядам секретарей райкомов.

В самом деле, в партийных кругах было известно, что Сталин так называет Бухарина. В дни дружбы: «наш грамотей». Теперь: «этот грамотей».

— ...думают, что руководить по-ленински,— продолжал Сталин,— это устраивать бесконечные дискуссии, трусливо обходя решительных мер...

Сталин опять задумался. Казалось, он с посторонним интересом прислушивается к этому шелесту и доволен им. Он любил такого рода смутные намеки. Фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями границ зараженной местности. В таких случаях каждый отшатывался с запасом, а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шараханьи.

— ...но руководить по-ленински — это значит, во-первых, не бояться решительных мер, а, во-вторых, находить кадры и умело расставлять их, куда надо... Небольшой пример.

Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз, при этом сам он, не мигая, продолжал смотреть на вождя.

— ...Нестор нашел этого абрека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием,— продолжал Сталин,— раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует на радость всей республики и на нашу с вами радость, товарищи.

— ...Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола, Нестора Лакобу,— закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил: — Аллаверды, Лаврентию...

Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга, и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу.

Поддев ножом, он достал из солонки шматок аджики, переложил его к себе в тарелку и, густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, отправил его в рот, хрустнув молочным хрящом.

— Не слишком дерет? — спросил Калинин, опасливо проследив, как Сталин мазал мясо аджикой.

— Нет,— сказал Сталин, мотнув головой,— думаю, что эта абхазская аджика имеет большое будущее.

Многие из тех, кто слышал слова Сталина, потянулись к аджике. Впоследствии это предсказание вождя в отличие от многих других в самом деле подтвердилось — аджика распространилась далеко за пределы Абхазии.

Между тем Берия произнес тост и, ничем не выдавая своих чувств, выпил за Лакобу. Лакоба, который тост вождя слушал со слуховым аппаратом, сейчас снял аппарат и слушал Берию, приставив ладонь к уху. Он тоже ничем не выдавал своих чувств, время от времени кивая головой в знак благодарности и того, что расслышал слова.

После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о грамотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился, и он потянулся, чтобы поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя.

Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что лучезарно сиял глазами Калинину и вдруг потускнел, съежился. Берия оживленно сверкнул пенсне, а секретари райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калинина.

«Значит, он с ними, а не со мной,— подумал Сталин,— как же я его проморгал»... Он испугался не самой измены Калинина, раздавить

его ничего не стоит, а тому, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило, и это было страшно.

— А что с тобой, конопатым, целоваться,— сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина,— вот если бы ты был шестнадцатилетней девочкой (он собрал пальцы правой руки в осторожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности), тогда другое дело...

Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошелестел по залу. Нет, не изменило чутье, подумал Сталин.

— Ах, ты, мой, Всесоюзный...— сказал он, обнимая и целуя Калинина, а в сущности обнимая и целуя собственное чутье.

— Ха! Ха! Ха! Ха! — рассмеялись секретари райкомов, радуясь взаимной шутке вождей. С некоторым опозданием к ним присоединился Лакоба, которому дядя Сандро, он теперь сидел рядом с ним, пояснил недослышанную шутку. Запоздалый смех Лакобы прозвучал несколько странно, и Берия, не удержавшись, двусмысленно хохотнул, хотя его хохоток можно было принять и за отголосок еще того смеха.

Но Сталин почувствовал издевательский смысл его смеха. Этот смех ему сейчас был неприятен, и он сказал, посмотрев на Берию:

— Лаврентий, попроси жену, пусть потанцует...

— Конечно, товарищ Сталин,— сказал Берия и посмотрел на жену.

— Но я не умею, товарищ Сталин,— сказала она, краснея.

Сталин знал, что она не умеет танцевать.

— Вождь просит,— грозно шепнул Берия.

— Зачем вождь, мы все просим,— сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил,— давайте, ребята.

На ходу хлопая в ладони и подпевая, участники ансамбля образовали полукруг, открытой стороной обращенный к основанию стола.

— Я не ломаюсь, я в самом деле не умею,— говорила жена Берии, стараясь перекричать шум рукоплесканий. Но теперь ее просили все. Подталкиваемая мужем, она, робко упираясь, шла в круг. На мгновение, когда Берия повернулся спиной к столу, дядя Сандро заметил, что его искривленные губы шепчут жене непечатные слова.

Раскинув руки, она сделала два неловких круга и остановилась, не зная, что делать дальше. Ясно было, что она и в самом деле не умеет танцевать.

— Молодец,— сказал Сталин, улыбаясь, и похлопал ей. Все похлопали жене Берии.

— Сарью, просим Сарью! — раздались голоса. Сейчас Сарья сидела между дядей Сандро и Лакобой. Сверкнув темными глазами, она посмотрела на мужа.

— Иди же,— сказал Лакоба по-абхазски. Она взглянула на Сталина. Тот ласково ей улыбнулся. Все шло, как он хотел.

Сарья вошла в круг. Смуглянка, с головой, слегка запрокинутой тяжелым узлом волос, сделала несколько плавных кругов и вдруг остановилась возле Паты Патарая, вызывая его на танец. Сдержанно улыбаясь, Пата проплыл рядом с ней.

Берия сидел за столом, не глядя на танцующих, тяжело опершись головой на руку. Жена его, растерянная, стояла возле участников ансамбля, видимо, не решаясь сесть на место.

— Лаврентий,— тихо сказал Сталин. Тот, выпрямившись, посмотрел на вождя.— Оказывается, Глухой не только в кадрах лучше разбирается...

Берия развел руками, мол, ничего не поделаешь — судьба. Дяде Сандро стало неприятно, он почувствовал, что здесь таится опасность

для Лакобы. Ох, не надо бы вождю так растравлять Лаврентия, подумал дядя Сандро.

В это время Сарья выскочила из круга и, обняв жену Берии, поцеловала ее в глаза. Все почувствовали в этом ее порыве тайное благородство, желание смягчить ее неудачу, обратить все в шутку. Все радостно захлопали, и женщины, обнявшись, прошли к столу.

— Потом скажешь, что они говорили,— шепнул дяде Сандро Лакоба, когда раздался последний взрыв рукоплесканий, и все посмотрели на Сарью, обнявшую жену Берии. Лакоба заметил, что Сталин что-то сказал Берии, и тот развел руками. Видимо, он почувствовал, что речь идет о нем.

Почти одновременно со словами Лакобы раздались три пистолетных выстрела. Дядя Сандро вскочил на ноги. Ворошилов вкладывал в кобуру дымящийся пистолет. Растроганный танцем Сарьи и особенно ее благородным порывом, он не удержался от маленького салюта. Все радостно зашумели и стали смотреть на потолок, где возле люстры чернели три маленькие дырочки, соединенные между собой молнийкой трещины.

Штукатурка, осыпавшаяся вниз после выстрелов, покрывала белым налетом стынущую индейку. Сталин посмотрел на слегка припудренную индейку, подняв голову, посмотрел на черные дырочки в потолке, потом перевел взгляд на Ворошилова и сказал:

— Попал пальцем в небо.

Ворошилов густо покраснел и опустил голову.

— Среди нас,— сказал Сталин,— находится настоящий народный снайпер, попросим его.

Он посмотрел на Лакобу и, положив трубку на стол, начал аплодировать. Все дружно зааплодировали, присоединяясь к вождю, хотя почти никто толком не знал, в чем дело.

Лакоба понял, о чем его просят и, склонив голову, смущенно пожал плечами.

— Может, не стоит? — сказал он, взглянув на Сталина. Тот подносил к трубке огонь.

— Стоит! Стоит! — закричали вокруг. Сталин, прикуривая, остановился и кивнул на крики, мол, глас народа, ничего не поделаешь.

Смущаясь от предстоящего удовольствия, Нестор Аполлонович развел руками. Он стал искать глазами директора санатория, но тот уже быстрой рысцой бежал к нему.

— Позови,— кивнул Лакоба склонившемуся директору.

— Переодеть? — спросил директор, все еще склоненный.

— Зачем? — сморщился Лакоба.— Проще, проще...

Нестор Аполлонович налил себе фужер вина и знаком показал, чтобы всем налили. Все наполнили свои бокалы.

— Я хочу поднять этот бокал,— начал он своим дребезжащим голосом,— не за вождя, но за скромность вождя.

Нестор Аполлонович рассказал по этому поводу такой случай. Оказывается, в прошлом году он получил записку от товарища Сталина, в которой тот его просил выслать ему мандарины, строго наказав сопроводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же получки.

Сталин задумчиво покуривал трубку, слушая рассказ Нестора. Все это правда, думал он, Глухой не льстит. И деньги выслал с получки... Хороший урок всем этим секретарям, которые только и знают, что весь вечер задирают брови.

Ему было приятно, что все, о чем говорит Нестор, правда, но, заглядывая в себя глубже, он находил еще один источник более скрытой, но и более тонкой радости. Источник этой радости заключался в том, что и тогда, когда он писал записку, он помнил: рано или

поздно она вот так вот выплывет и сыграет свою маленькую историческую роль... Так кто умеет заглядывать в будущее, он или эти грамотеи?

— ...Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы пошлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины? — продолжал Нестор Лакоба.

— Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор,— ткнул Сталин трубкой в его сторону,— народ сажал...

— Народ сажал,— прошелестело по рядам.

Народ сажал, повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это невинное выражение. Впоследствии, когда отшлифовалась его великолепная формула «Враг народа», некоторые пытались приписать ее происхождение Великой французской революции. Может, у французов и было что-нибудь подобное, но он-то знал, что здесь, в России, он ее вынянчил и пустил в жизнь.

Подобно поэту, для которого во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего стихотворения, так и для него эти случайные слова стали зародышем будущей формулы.

Ужасно подумать, что механизм кристаллизации идеи может быть один и тот же у палача и поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься, то, что кажется равнодушием природы человека, есть следствие ее высочайшей мудрости.

Человеку дано стать палачом, так же как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами.

И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечивания людоеда. Неизвестно, куда обратилась бы эта его склонность.

Нет человечности без преодоления подлости и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Да мы и говорим о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный выбор.

Под гром рукоплесканий Лакоба выпил свой бокал. И не успел замолкнуть этот гром во славу скромности вождя, как в дверях появился повар в белом халате, а за ним директор санатория с тарелкой в руке.

Услышав рукоплескания, повар сделал попытку шарахнуться, но директор слегка подтолкнул его и отвел от двери.

Это был среднего роста, пожилой, полнеющий мужчина с нездоровым цветом лица, какой часто бывает у поваров, с тяжелой шапкой курчавых волос на голове.

Жестом приказав ему стоять, директор, стараясь неподвижно держать тарелку, подошел к Лакобе.

— Нестор Аполлонович, повар здесь,— сказал он, склонившись над ним и показывая содержимое тарелки. В тарелке, слегка перекатываясь, лежало с полдюжины яиц.

— Хорошо,— сказал Лакоба и хмуро посмотрел в тарелку.

Тут только дядя Сандро догадался, что Нестор Аполлонович будет стрелять по яйцу. Этого он еще не видел.

— Индюшкины яйца? — вдруг спросил Берия и, протянув руку, вытащил из тарелки яйцо...

— Куриные, Лаврентий Павлович,— подсказал директор, поближе подсовывая ему тарелку.

— Тогда почему такие большие? — спросил Берия, с любопытством рассматривая яйцо. Яйца и в самом деле были довольно крупные.

— Сам выбирал,— хихикнул директор, кивнув головой в сторону повара, стараясь обратить внимание Берии на тайный комизм этого обстоятельства. Но Берия, не обращая внимания на тайный комизм этого обстоятельства, продолжал рассматривать яйцо. Директор встревожился.

— Может, заменить, Лаврентий Павлович? — спросил он.

— Нет, я просто так говорю,— опомнился Берия и быстро положил яйцо в тарелку.

— Ревнует к Глухому,— шепнул Сталин Калинину и беззвучно рассмеялся в усы. Калинин в ответ затряс бородкой.

— В этом углу, по-моему, лучше,— сказал Лакоба, оглядывая люстру и кивая в противоположный тому, где стоял повар, угол. Так фотограф перед началом съемки старается найти лучший эффект освещения.

— Совершенно верно,— подтвердил директор.

— Волнуется? — кивнул Лакоба на повара.

— Немножко,— сказал директор, низко склонившись к уху Лакобы.

— Успокой его,— сказал Нестор Аполлонович, слегка отстраняясь от директора, поза которого слишком назойливо подчеркивала его глухоту.

Повар все еще стоял у дверей с безучастным подопытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились. Директор подошел к повару, что-то шепнул ему, и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами.

Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар остановился в углу, повернувшись лицом к залу.

— Если б ты только знала, как я ненавижу это,— шепнула Сарья, поворачиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все.

Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему беспрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучной цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар, теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельно от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попалось неустойчивое, оно никак не хотело становиться на попа́.

Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо, прищурился своими белыми, отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку.

Яйцо стояло на голове. Теперь он, вытянувшись, замер в углу и, если б не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост.

Директор быстро посмотрел вокруг, не находя, куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг, словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям.

Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калинина, стараясь стоять так, чтоб им все было видно. Дяде Сандро пришлось сойти с места. Он встал за стулом Сарьи, ухватившись руками за спинку. Дядя Сандро очень волновался.

Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Сандро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня.

Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое и только потом услышал выстрел.

— Браво, Нестор! — закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал, как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата.

Он оглянулся на Лакобу, как оглядываются на стрельбище, чтобы показать, куда попал стрелявший, или спросить, надо ли подготовить мишень к очередному выстрелу.

— Давай,— кивнул Лакоба. Директор на этот раз быстро поставил яйцо на голову повара и, хрустнув скорлупой разбитого яйца, отошел к дверям. И снова лицо Лакобы превратилось в кусок камня, вытянутая рука окаменела и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз.

И опять на этот раз дядя Сандро заметил сначала, как желтый фонтанчик яйца выплеснул вверх и только потом раздался выстрел.

— Браво! — И взрывы рукоплесканий сотрясли банкетный зал. Улыбаясь бледной, счастливой улыбкой, Лакоба прятал пистолет. Повар все еще стоял в углу, медленно оживая.

— Посади его за стол,— бросил Лакоба жене по-абхазски.

Сарья схватила салфетку и подбежала к повару. Вслед за нею подбежал и директор, которому повар теперь сердито сунул тарелку с яйцами. Сарья стояла перед ним и, вытирая ему лицо салфеткой, что-то говорила. Повар с достоинством кивал. Директор, присев на корточки и поставив рядом с собой тарелку с яйцами, подбирал скорлупу разбитых яиц.

Сарья стала уводить повара, но тот вдруг остановился и, сбросив халат, кинул его директору. По-видимому, случившееся на некоторое время давало ему такие права, и он явно показывал окружающим, что он недаром рискует, а имеет за это немало выгоды.

Когда директор с халатом, перекинутым через плечо, и с тарелкой в руке быстро проходил к дверям, дядя Сандро с удивлением подумал, что повар и директор могли бы заменить друг друга, потому что многое в этой жизни решает случай.

Сарья посадила повара между последним из второстепенных вождей, не знакомых дяде Сандро по портретам, и первым из секретарей райкомов.

Сарья налила повару фужер коньяка, придвинула тарелку, плеснула в нее ореховой подливы и положила кусок индюшатины. Повар сразу же выпил и сейчас, оглядывая стол, важно кивал на какие-то слова, которые ему говорила Сарья.

Бедная Сарья, думал дядя Сандро, она сейчас пытается замолить грех за эту стрельбу, которую она так не любила и которая, кстати, однажды закончилась неприятностью.

Дело происходило в одной абхазской деревне. После большого застолья началась стрельба по мишени. Может, именно потому, что стреляли по мишени и Лакоба был не очень внимателен или еще по какой-нибудь причине, но он ранил деревенского парня, который то и дело бегал смотреть на мишень. Рана оказалась неопасная, и парня тут же на «бьюике» Лакобы отправили в районную больницу.

Лакоба обратно ехал вместе с другими членами правительства на второй машине. И вот тут-то, на обратном пути, один из членов пра-

вительства сильно повздорил с Лакобой и даже ссадил его с машины посреди дороги.

«Мне надоели твои партизанские радости»,— говорят, сказал он ему тогда. Трудно сейчас установить, почему Лакоба согласился сойти с машины. Возможно, он сам был так подавлен случившимся, что не нашел возможным сопротивляться такому оскорблению. Я думаю, скорее всего, человек, который его ругал, был старше его по возрасту. И если тот ему сказал что-нибудь вроде того, что или ты сейчас сойдешь с машины, или я сойду, то Лакоба как истый абхазец этого допустить не мог и, вероятно, сам сошел с машины.

...Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.

— Мой Вильгелм Телл,— сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову,— а ты кто такой?

— Я — Ворошилов,— сказал Ворошилов довольно твердо.

— Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? — спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, подумал он, растравлять Ворошилова против нашего Лакобы.

— Конечно, он лучше стреляет,— сказал Ворошилов примирительно.

— Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок? — спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства.

Секретари райкомов, с трудом подымая отяжелевшие брови, начинали удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место.

— Ну, хватит, Иосиф,— сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.

— Хватит, Иосиф,— сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова,— говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?

Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался.

— Скажи, чтоб начали его любимую,— шепнул Нестор жене. Сарья тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махаз. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя.

Махаз затянул старинную грузинскую застольную «Гапринди шаво мерцхало» («Лети, черная ласточка»). В это время Ворошилов, подняв голову, попытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем жесте, мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню.

Сталин сидел, тяжело опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку.

Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы, потому что как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных.

Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический цвет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение Судьбы, История и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и потому самое величественное место?

Лети, черная ласточка, лети...

Но вот постепенно эта траурная процессия Судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины...

Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в давильню. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.

На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гостя из Кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник.

Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечно кивает им, мимолетно улыбается всаднику, который, вглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой догадке и улыбается он мимоходом, показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности.

Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.

— Слушай, кто этот человек? — говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.

— Это тот самый Джугашвили,— радостно говорит ему хозяин.

— Неужели тот самый? — удивляется гость из Кахетии.— Я думаю, вроде похож, но не может быть...

— Да,— подтверждает хозяин,— тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина.

— Интересно, почему не захотел? — удивляется гость из Кахетии.

— Хлопот, говорит, много,— объясняет хозяин,— и крови, говорит, много придется пролить.

— Хо-хо-хо,— прицокивает гость из Кахетии,— я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.

— А зачем ему Россия,— поясняет хозяин,— у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети...

— Что за человек! — продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому.— От целой страны отказался...

— Да, отказался,— подтверждает хозяин,— потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина...

— Дай бог ему здоровья! — восклицает всадник.— Но откуда он знает, что будет с крестьянами?

— Такой человек, все предвидит,— говорит хозяин.

— Дай бог ему здоровья,— цокает гость из Кахетии.— Дай бог...

Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина.

И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо, приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают... Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами?

Куры, пьяные от виноградных отжимок, ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию, крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется, мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая, старая мать с морщинистым лицом. Хоть в старости почет и достаток пришел, наконец... Добрая...

Лети, черная ласточка, лети...

Он поднял голову и, оглядывая теперь поющих секретарей райкомов, постепенно успокоился. С каждым накатом мелодии песня смывала с их лиц эти жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все отчетливей, все самостоятельней проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов.

Лети, черная ласточка, лети...

Они думают, власть — это мед, размышлял Сталин. Нет, власть — это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить.

Вот я уже полюбил Глухого и я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть — это когда нельзя никого любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину. Да, да, он это знает. И его любили и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если б можно было любить и не доверять одновременно. Но это невозможно.

Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь, с врагами дела.

Да, Дела, подумал он. Конечно, Дела. Все делается ради Дела, думал он, удивленно вслушиваясь в полый, пустой звук этой мысли. Это от песни, подумал он. Вообще надо бы запретить эту песню, она опасна, потому что я ее слишком люблю. Глупость, подумал он, она была бы опасна, если бы другие ее могли так же глубоко чувствовать, как я... Но так ее никто не может чувствовать...

Продолжая слушать песню, он налил себе фужер вина и молча, ни на кого не глядя, выпил. Поставив фужер, он взял со стола давно потухшую трубку и несколько раз безуспешно попытался затянуться. Заметив, что трубка потухла, он уже нарочно тянул, словно продолжая оставаться в глубокой задумчивости. Спички лежали рядом на столе, но он ждал: кто-нибудь догадается или нет подать ему огня.

Вот так, будешь умирать — стакан воды не подадут, подумал он, жалея себя, но тут Калинин зажег спичку и поднес ее к трубке.

Оставаясь в глубокой задумчивости, он ждал, пока пламя спички доберется до пальцев Калинина, и только тогда потянулся к огню и, прикуривая, наблюдал, как легкое пламя касается дрожащих пальцев Калинина. Ничего, думал он, не одному мне мучиться.

Он с удовольствием затянулся и откинулся на стуле. Взгляд его упал на Ворошилова. Тот все еще сидел за столом, опустив голову и насупившись, с выражением обиженного ребенка. И вдруг острая жалость к нему пронзила Сталина. Он тоже загубил душу, подумал Сталин.

— Клим,— сказал он глухим от волнения голосом,— где Царицын, где мы, Клим?

— За что обидел, Иосиф? — поднял голову Ворошилов и посмотрел на Сталина горьким преданным взглядом.

— Прости, Клим, если обидел,— сказал Сталин, раскаиваясь и любуясь своим раскаянием,— но они нас с тобой еще хуже обижают...

— Ничего, Иосиф! — воскликнул Ворошилов, потрясенный тем, что вождь не только понимает его обиды, но и ставит их рядом со своими,— ты им еще покажешь, где раки зимуют...

— Думаю, что покажу,— сказал Сталин скромно и пыхнул трубкой. Песня кончилась, и рой смутных, нетвердых мыслей схлынул из его отрезвевшей головы.

Да разве на него можно обижаться, думал Ворошилов, веселея и незаметно оглядывая вождей, чтобы убедиться в том, что они слышали, как его только что возвысил Сталин. И как он точно понимает, думал Ворошилов восторженно, что мои враги в руководстве армией, это продолжение враждебной Сталину линии в руководстве государственным аппаратом.

— Товарищ Сталин, что делать с этим Цулукидзе? — спросил Берия, внимательно прислушивавшийся к словам Сталина. Он давно хотел спросить об этом и решил, что сейчас самое подходящее время.

Дело в том, что этот старый большевик, еще ленинской гвардии, хотя давно уже был отстранен от всяких практических дел, продолжал язвить и ворчать по всякому поводу. В свое время это он бросил подхваченную грузинскими коммунистами реплику, что Берия с маузером в руке рвется к партийному руководству Закавказья. («А что, сволочи, с Эрфуртской программой я должен был рваться к руководству? Разве вы с ней в говне не очутились?»)

Другого человека за такие слова (теперь, когда уже прорвался к руководству) он давно бы подвесил за язык, но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами.

— А что он сделал? — спросил Сталин и в упор посмотрел на Берию.

— Болтает лишнее, выжил из ума,— сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше, чем он выскажется.

— Лаврентий,— сказал Сталин, мрачнея, потому что он не находил сейчас нужного решения.— Я приехал использовать законный отпуск, почему ты мне задаешь такие вопросы?

— Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел,— быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачнение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. Хорошо, что не ликвидировал, с радостным испугом мелькнуло у него в голове.

— ...Болтунов Ленин тоже ненавидел,— сказал Сталин задумчиво.

— Может, выгнать из партии к чертовой матери? — спросил Берия, оживляясь. Ему показалось, что Сталин все-таки не прочь как-то наказать этого сукиного сына.

— Из партии не можем,— сказал Сталин и вразумляюще добавил: — Не мы принимали, Ленин принимал...

— А что делать? — спросил Берия, окончательно сбитый с толку.

— У него, по-моему, был брат,— сказал Сталин.— Интересно, где он сейчас?

— Жив, товарищ Сталин,— сказал Берия, покрываясь холодным потом,— работает в Батуме директором лимонадного завода.

Сталин задумался. Берия покрылся холодным потом, потому что раньше не знал о существовании брата Цулукидзе и только в прошлом году, собирая материал против этого видного в прошлом большевика, узнал о его брате. Материалы о брате, запрошенные из Батума, ничего полезного в себе не заключали, он даже ни разу не проворовался на своем лимонадном заводе. Но то, что он знал о его су-

ществовании, знал, что он делает и как он живет, сейчас работало на него. Сталин это любил.

— Как работает? — спросил Сталин строго.

— Хорошо,— сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода — простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя.

— Пусть этот болтун,— ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна,— всю жизнь жалеет, что загубил брата.

— Гениально! — воскликнул Берия.

— У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи,— объяснил Сталин ход своей мысли,— пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания.

Почувствовав, что Сталин своими словами отделил себя от Кавказа, некоторые секретари райкомов стали смотреть на него с грустным упреком, словно спрашивая: «За что осиротил?»

— Век живи, век учись,— сказал Берия и развел руками.

— Но только не за счет моего отпуска, Лаврентий,— строго пошутил Сталин, чем обрадовал Лакобу. Он считал нетактичным, что Берия здесь, за пиршественным столом в Абхазии, выклянчивал у Сталина санкцию на расправу со своими врагами. Вечно этот Берия лезет вперед, и сам же я виноват, что познакомил его со Сталиным, думал Лакоба. Сейчас самое время поднять тост за старшего брата, за великий русский народ. Недаром Сталин сказал, мол, у вас на Кавказе... Значит, он уже чувствует себя русским...

Он знаками показал на другой конец стола, чтобы всем разлили.

— Я хочу поднять этот тост,— сказал он, вставая со своего места, бледный, упрямо не поддающийся хмелю на исходе ночи,— за нашего старшего брата...

Пиршественная ночь набирала второе дыхание. Снова пили, ели, плясали, и уже даже у дяди Сандро, величайшего тамады всех времен и народов, покруживалась голова. Увидеть за одну ночь столько грозного и прекрасного даже для него было многовато.

Лакоба приспустил поводья тамады, чувствуя, что вождю строгий порядок кавказского застолья начинает надоедать.

— Прекрасную Сарью, просим, просим! — кричал Калинин, хлопая в ладони и любовно склоняя бородатую голову.

— «Мравалджамие», «Мравалджамие»! — просили на том конце стола и затягивали ее.

— «Многие лета»! — кричали другие и затягивали абхазскую застольную.

— Теперь ты на коне,— кричал с того конца стола Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро,— благодать снизошла на тебя, благодать!

— У меня волос курчавый, как папоротник,— рассказывал повар одному из секретарей райкомов, давая ему пощупать свои волосы,— яйцо, как в гнездышке, лежит.

— Все же риск,— сказал секретарь, угрюмо щупая волосы повара.

— У людей жены,— бормотал Берия, тяжело опустив голову на руки.

— Но, Лаврик, пойми... Мне было стыдно, и он совсем не рассердился.

— Дома поговорим...

— Но, Лаврик...

— Я для тебя больше не Лаврик...

— Но, Лаврик...

— У людей жены...

— Какой же риск, мил-человек, у меня один волос на три пальца возвышается,— радостно разуверял повар недоверчиво косящегося на его голову секретаря райкома.

— А в голову не попадал?

— Конечно, нет,— радуясь его наивности, говорил повар,— риску тут мало, страха много.

— Все же риск, человек выпивший,— угрюмо придерживался своей версии секретарь райкома.

— Говорит «у вас на Кавказе»,— качал головой другой секретарь,— а что мы ему сделали?

— Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя,— утешал его товарищ.

— Я за него жизнь готов отдать, но у меня душа болит,— отвечал тот, бросая осиротевший взгляд на тот конец стола.

— Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя...

— Везунчик! Везунчик! — кричал захмелевший Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро.— Теперь вся Абхазия у тебя в кармане!

Дядя Сандро укоризненно качал головой, намекая на непристойность таких криков, тем более направленных в самую гущу правительства. Но Махаз не понимал этих знаков.

— Не притворяйся, что не в кармане! — кричал он.— Не притворяйся, везунчик!

— Что это он все кричит? — даже Лакоба обратил внимание на Махаза.

— Глупости,— сказал дядя Сандро и подумал: «Хорошо, хоть по-абхазски кричит, а не по-русски».

— Это что! — пытался повар развлечь угрюмистого секретаря.— Я еще во времена принца Ольденбургского здесь, в Гаграх, учеником повара начинал. Принц, как Петр, с палкой ходили. Обед для рабочих сами пробовали. Случалось, поваров палкой бивал, но всегда за дело.

— Все же риск,— угрюмо качал головой секретарь. Он чувствовал себя перебравшим, и мысль его застряла на стрельбе по яйцу.

— Это что! — пытался отвлечь его повар удивительными воспоминаниями.— Сюда приезжал государь император...

— Зачем выдумываешь? — неохотно отвлекся секретарь.

— Крестом клянусь, на крейсере! Сам крейсер остановился на рейде... Государь на катере причалили, а государыня не пожелали причалить, чем обидели принца,— рассказывал повар.

— Придворные интриги,— угрюмо перебил его секретарь.

...Рано утром, когда по велению Лакобы директор санатория раздвинул тяжелые занавески и нежно-розовый августовский рассвет заглянул в банкетный зал, он (нежно-розовый рассвет) увидел многих секретарей райкомов спящими за столами — кто, откинувшись на стуле, а кто прямо головой на столе.

Одному из них, спавшему, откинувшись на стуле, друзья сунули в рот редиску, что могло вызвать у нежно-розового рассвета только недоумение, потому что поросят, державших в оскаленных зубах по редисинке, на столе не оставалось, и шутливая аналогия была понятна лишь посвященным.

Участники ансамбля один за другим подходили к Сталину. Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски мяса, жареных кур, хачапури и другую снедь. Приподняв полу черкески или подставив башлыки, они принимали подарки и, поблагодарив, отходили от вождя.

— Марш,— говорил Сталин, накидав очередному танцору гостинцев. Он старался всем раздавать поровну, приглядывался к кускам мяса, к жареным курам и если в чем-то одном недодавал, то старался побольше наложить другого. Так деревенский патриарх, Старший в Доме, после большого пиршества раздает гостям дорожные и соседские паи.

— Все равно все на Сталина спишут,— шутил вождь, накладывая снедь в растопыренные полы черкески,— все равно скажут — Сталин все скушал...

Некоторые участники ансамбля, раз такое дело, перемигнувшись, прихватывали с собой бутылки с вином.

* * *

На трех переполненных легковых машинах ансамбль возвращался в Мухус. Когда садились в машины, произошло замешательство. Рядом с шофером первой машины сел, конечно, руководитель ансамбля Платон Панцулая. Рядом с шофером второй машины должен был сесть, как обычно, Пата Патарая. Он уже занес было голову в открытую дверцу, но потом вытащил ее оттуда и предложил сесть дяде Сандро, случайно (будем думать) оказавшемуся рядом.

Дядя Сандро стал отказываться, но после вежливых пререканий ему все-таки пришлось уступить настояниям Паты Патарая и сесть рядом с шофером во вторую машину.

Было решено доехать до реки Гумисты, выбрать там место поживописней и устроить завтрак на траве. Ехали весело, с песнями. По дороге попадались ребятишки, и тогда им из машины бросали конфеты и печенье. Дети кидались собирать божий дар.

— Знали бы, с какого стола,— устало улыбались танцоры.

За Эшерами, там, где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу.

— Хейт! Хейт! — кричал мальчишеский голос, волнуя дядю Сандро какой-то странной тревогой. Время от времени мальчик кидал камни, и они, хрястнув по густому сплетенью, глухо, с промежутками падали на землю. И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до этого угадал, что именно этот камень в нее попадет. Когда коза, крякнув, выбежала из-за кустов и вслед за ней появился подросток и, увидев легковые машины, смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил.

Да, да, почти так это и было. Мальчик перегонял коз в котловину Сабида. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах. И он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как сейчас, когда он попал в нее камнем, она крякнула и выскочила из кустов, а следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности.

В нескольких шагах от него по тропе проходил человек. Он гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав треск кустов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел.

В первое мгновение мальчику показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи, но и успев разглядеть, что перед ним только мальчик и коза, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывая, что с ним делать: убить

или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернулся, взбрасывая карабин, сползавший с покатого плеча.

Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не терять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого понукания движутся с такой быстротой.

Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновение — еще шаг — и скроется за кустом — он опять вскинул карабин, сползавший с покатого плеча и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почудился отчетливый шепот в самое ухо:

— Скажешь — вернусь и убью...

Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится и тропа их выведет на открытый склон по ту сторону котловины Сабида.

Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетливые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в лесу. Даже сейчас, на расстоянии примерно километра, было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой палки или камчи, что он из тех, кого лошади и безо всякого понукания боятся.

Перед тем как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разглядеть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито.

Через день до Чегема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из Одессы в Батум. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того, что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми, они сумели склонить к участию в грабеже четырех матросов. Ночью они связали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное, и отплыли к берегу.

К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденные шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой, и двое оставшихся в живых увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней, уже совсем недалеко от Чегема, нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой атарской дороги чуть ли не на головы жителям села Наа, упрямо расположившимся под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился, и в нем признали человека, месяц назад покупавшего лошадей в селе Джгерды.

Чегемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные — это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине Сабида.

Дней через десять после той встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающей, что он как нужный человек содержится властями.

Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом маль-

чика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые.

— Не видел кто из ваших,— спросил всадник у отца,— чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхнечегемской дороге?

— Про дело слыхал,— ответил отец,— а человека не видел.

«Да не по верхней, а по нижней!» — чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык.

Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше.

— Кто это, па? — спросил мальчик у отца.

— Старшина,— ответил отец и молча вошел в дом.

И только глубокой осенью, когда они с отцом, нагрузив ослика мешками с каштанами, поднимались из котловины Сабида, а потом присели отдохнуть на той самой нижнечегемской тропе, чуть ли не на том же месте, он не удержался и все рассказал отцу.

— Так вот почему ты перестал сюда коз гонять! — усмехнулся отец.

— Вот и неправда! — вспыхнул мальчик: отец попал в самую точку.

— Что ж ты молчал до сих пор? — спросил отец.

— Ты бы только видел, как он посмотрел,— сознался мальчик,— я все думаю, как бы он не вернулся...

— Теперь его сюда на веревке не затащишь,— сказал отец, вставая и погоняя ослика хворостиной,— но если бы ты сразу сказал, его еще можно было поймать.

— Откуда ты знаешь, па? — спросил мальчик, стараясь не отставать от отца. С тех пор, как он встретился с этим человеком, он не любил эти места, не доверял им.

— Человек с навьюченными лошадьми дальше одного дня пути никуда не уйдет,— сказал отец и взмахнул хворостинкой: ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой.

— А ты знаешь, как он быстро шел! — сказал мальчик.

— Но никак не быстрее своих лошадей,— возразил отец и, подумав, добавил: — Да он и убил этого последнего, потому что знал — один переход остался.

— Почему, па? — спросил мальчик, все еще стараясь не отстать от отца.

— Вернее, потому и оставил его в живых,— продолжал отец размышлять вслух,— чтобы тот помог ему навьючить лошадей для последнего перехода, а потом уже прихлопнул.

— Откуда ты знаешь все это? — спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом.

— Знаю я их гяурские обычаи,— сказал отец,— им лишь бы не работать, да я о них и думать не хочу.

— Я тоже не хочу,— сказал мальчик,— но почему-то все время вспоминаю про того.

— Это пройдет,— сказал отец.

И в самом деле это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро, иногда вспоминая, сомневался — случилось ли все это на самом деле или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении парохода возле Кенгурска.

Но тогда, после знаменитого на всю его жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 года или годом раньше, но никак не позже, все это увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил Бога за свою находчивость.

Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после двадцатого съезда и просто знакомым, добавляя к рассказу свои отроческие не то видения, не то воспоминания.

— Как сейчас вижу,— говаривал дядя Сандро,— все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает, не глядя. Очень уж у Того покатое плечо было...

При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не нижнечегемским, путем.

И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду.

Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы отражающей неясность и колебания земных судей в его оценке.

Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на мысль, что Бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью.

Арсений Несмелов

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Арсений Иванович Митропольский (литературный псевдоним — Арсений Несмелов) родился в 1891 году в Москве, в интеллигентной семье, учился в кадетском корпусе. О первом периоде жизни поэта известно немногое. Детские годы он вспоминал неохотно и редко; судя по стихотворению «Все чаще и чаще встречаю умерших», отношения в семье были сложные.

Первая мировая война застала Арсения Несмелова поручиком Второго гренадерского Фанагорийского полка, в составе которого он провоевал почти четыре года. Потом — гражданская война, с начала двадцатых годов — Владивосток.

Хотя первые литературные опыты Несмелова относятся еще к довоенному периоду (в 1912 и 1913 году печатался в «Ниве»), регулярно писать стихи он начал на Дальнем Востоке. В период с 1921 по 1924 год он выпустил три книжки: сборники «Стихи» и «Уступы» и повесть в стихах «Тихвин».

В 1925 году Арсений Несмелов переехал в Харбин, но связи с литературной жизнью на Родине не прерывал. Он печатался в таких советских изданиях, как «Дальневосточное обозрение», «Дальневосточная трибуна», «Голос пахаря», а также в журнале «Сибирские огни» (где, кстати, в № 4 за 1924 год была помещена очень благожелательная рецензия на его стихи). Связь Несмелова с «Сибирскими огнями» не прерывалась до 1929 года.

Расцвета творчество Несмелова достигло в харбинский период его жизни, когда он опубликовал свои лучшие книги: «Кровавый отблеск» (Харбин, 1928), «Без России» (Харбин, 1931), «Через океан» (Шанхай, 1934), «Полустанок» (Харбин, 1938), «Протопопица» (Харбин, 1939) и сборник, которому суждено было стать последним, — «Белая флотилия» (Харбин, 1942).

Умер Арсений Несмелов в СССР в 1945 году. Более подробных данных об обстоятельствах его смерти пока нет.

Поэт редкого и оригинального дарования, он доставит немало затруднений литературоведу, который, изучая его творчество, захочет причислить его к какой-нибудь определенной школе. Несомненно одно: в самом раннем периоде он испытал заметное влияние футуристов, был хорошо знаком с Николаем Асеевым и Сергеем Третьяковым и навсегда сохранил восхищение Маяковским. Тогда же возникла и через всю жизнь протянулась его нежная и прочная дружба с Мариной Цветаевой: оказавшись оба вне Родины, они переписывались.

Есть таланты, которые, оторвавшись от родной почвы, хиреют и вянут. Так случилось с Куприным. Есть другие — такие, как Бунин, которых страдание (а оно неизменно сопутствует изгнанию, вынужденному или добровольному) обогащает духовно. Арсений Несмелов принадлежал ко вторым. Чем больше времени проходило, чем дальше отодвигалась от него Родина («Россия отошла, как пароход...» — скажет он в одном стихотворении), чем яснее сознавал он свою обреченность, тем тверже и чище становился его голос, тем мужественнее, хотя и горше, звучала его лира.

И если бы надо было единым словом охарактеризовать творчество Несмелова, я не задумываясь выбрал бы «мужество», хотя прийти в голову

могли бы и такие: скорбь, тоска, обреченность, одиночество, отчаяние и даже нежность. Но главной темой Арсения Несмелова была все-таки война, гражданская война и как следствие ее — утрата Родины. Изгнание Несмелов переживал очень тягостно и остро, и несомненно, ярче, чем кто-либо из зарубежных русских поэтов его поколения, выразил тоску и боль разлуки с родной землей в своих стихах.

Но вот что важно: в стихах его нет ненависти к силам революции. Крушение — и свое и своих единомышленников — он воспринимал с достоинством и, я бы сказал, с мудростью, не умаляя горечи поражения, но отнюдь не пестуя в себе злобы к победителям. На запасных путях харбинского вокзала, среди вагонов Китайской Восточной железной дороги, принадлежавшей в ту пору Советскому Союзу, поэт увидел старый броневик, когда-то использованный белыми.

У розового здания депо,
С подпалинами копоти и грязи,
За самой дальней рельсовой тропой,
Куда и сцепщик с фонарем не лазит,
Ободранный и загнанный в тупик
Ржавеет «Каппель» — белый броневик.

Вдали перекликаются свистки
Локомотивов. Лязгают форкопы...
Кричат китайцы... И совсем близки
Веселой жизни путанные тропы.
Но жизнь невозвратимо далека
От пушек ржавого броневика.

Они глядят из узких амбразур
Железных башен — безнадежным взглядом,
По корпусу углярок, чуть внизу,
Сереет надпись: «Мы — до Петрограда!»
Но явственно стирает непогода
Надежды восемнадцатого года.

Тайфуны с Гоби шевелят пески,
О сталь щитов звенят, звенят песчинки,
И от бойниц протянуты мыски
Песка на опорожненные цинки.
Их исковеркал неудачный бой
С восставшими рабочими. С судьбой.

Последняя российская верста
Ушла на запад. Смотаны просторы,
Но в памяти легко перелистать
Весь длинный путь броневика, который,
Фиксируя атаки партизаньи,
Едва не докатился до Казани.

И рядом с ним, — ирония судьбы,
Ее громокипящие законы,
Подняв молотосерпные гербы,
Встают на отдых красные вагоны...
Что может быть мучительней и горше
Для мертвых дней твоих, бесклювый коршун?

Борьба проиграна, возврата к старому быть не может, да и не надо никакого возврата. Это Несмелов всегда ясно понимал. Что же остается? Если душа жива (хотя в минуты слабости поэту кажется, что она умерла) и если в ней тлеет еще огонек творчества, если мужество не изменило, поэзия остается с человеком. В ней и смысл и оправдание жизни:

Я же не путешественник-янки,
Нахлобучивший пробковый шлем,
На китайском моем полустанке
Даже ветер бессилен и нем!

Ни крыла, ни руля, ни кабины,
Ни солдатского даже коня,
И в простор лучезарно-глубинный
Только мужество взносит меня.

(«Полустанок»)

Трезвое осмысление прошлого и спокойно-горькие раздумья о настоящем составляют главную тему его лучших, наиболее зрелых по содержанию и совершенных по форме стихов, вошедших в сборники «Без России», «Полустанок» и «Белая флотилия».

И конечно же, о мужестве продолжает писать Арсений Несмелов. Ему он посвящает вышедшие отдельными книжками две большие поэмы: «Через океан» — о фантастическом по смелости переходе через Тихий океан на утлом боте группы русских молодых людей и «Протопопица» — о жертвенном подвиге жены неистового протопопа Аввакума, добровольно разделившей с ним все неисчислимые тяготы его подвижнической жизни.

Но время идет, неумолимо отодвигая Арсения Несмелова все дальше от России. В Харбине с 1932 года — японцы, и гнет их военной оккупации с годами становится все тяжелее, все невыносимее. Замирает культурная жизнь города, прекращает существование литературный кружок «Молодая Чураевка», в котором он вырастил целую группу способных поэтов. Кто только может—уезжает; постепенно уходят из жизни старые друзья. Полог одиночества и творческого удушья опускается над поэтом.

Почему Несмелов не уехал из Харбина хотя бы в Шанхай, где все-таки дышалось куда свободней? Мне кажется, он не в силах был оборвать последнюю нить, соединявшую его с Россией. Ведь Харбин, построенный русскими, со своим укладом и бытом, с раздававшейся отовсюду русской речью, с русскими названиями улиц, с колокольным звоном православных церквей не случайно показался Шаляпину осколком России за рубежом. Для Несмелова же город этот был последним, что оставалось в его жизни от России. И он упорно жил в этом единственном уцелевшем уголке старого мира, столь милом его сердцу, жил, предвидя, что и этому уголку приходит конец.

Шла великая война, созревали сроки, и многие «зарубежные» русские начинали понимать, что вне Родины жизни нет. Понял это и Арсений Несмелов. В одном из последних опубликованных им стихотворений («Пьяный визитер») с необычайной силой выражена жгучая тоска по Родине и сознание своей обреченности, а также понимание необратимости происшедших в России перемен.

Стихи Арсения Несмелова сохранились в нескольких частных архивах. Их бережно хранила, в частности, ныне покойная поэтесса Лидия Хаиндрова, жившая в Краснодаре,— любимая и преданная ученица поэта. Не один год собирал тексты Несмелова московский поэт и переводчик Евгений Витковский: не осталось, вероятно, ни одного книгохранилища, фонда или библиотеки, да и просто частного лица, у которого могли быть стихи Несмелова,— куда бы не писал, с кем бы не вошел он в личный контакт.

И вот извлечен из небытия поэт—после долгих блужданий по извилистым дорогам судьбы Арсений Несмелов наконец-то возвращается на Родину.

★

Ловкий ты и хитрый ты,
Остроглазый черт.
Архалук твой вытертый
О коня истерт.

На плечах от споротых
Полосы погон.
Не осилил спора ты
Лишь на перегон.

И дичал все более,
И несли враги
До степей Монголии,
До слепой Урги.

Гор песчаных рыжики,
Зноя каминок.
О колено ижевский
Поломал клинок.

Но его не выбили
Из беспутных рук.

По дорогам гибели
Мы гуляли, друг!

Раскаленный добела
Отзвенел песок,
Видно, время пробило
Раздробить висок.

Вольный ветер клонится
Замести тропу...
Отгуляла конница
В золотом степу!

Пять рукопожатий

Ты пришел ко мне проститься. Обнял.
Заглянул в глаза, сказал: «Пора!»
В наше время в возрасте подобном
Ехали кадеты в юнкера.

Но не в Константиновское, милый,
Едешь ты. Великий океан
Тысячами простирает мили
До лесов Канады, до полян

В тех лесах, до города большого
Где—окончен университет!—
Потеряем мальчика родного
В иностранце двадцати трех лет.

Кто осудит? Вологдам и Бийскам
Верность сердца стоит ли хранить?..
Даже думать станешь по-английски,
По-чужому плакать и любить.

Мы—не то! Куда б ни выгружала
Буря волчью костромскую рать,—
Все же нас и Дурову, пожалуй,
В англичан не выдрессировать.

Пять рукопожатий за неделю,
Разлетится столько юных стай!..
...Мы умрем, а молодняк поделят —
Франция, Америка, Китай.

О России

Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани отходит.
Печаль, как расстояние, растет.
Уж лиц не различить на пароходе.

Лишь взмах платка и лишь ответный взмах.
Басовое взывание сирены.
И вот корма. И за кормой — тесьма
Клубящейся, все уносящей пены.

Сегодня мили и десятки миль,
А завтра сотни, тысячи — завеса.
А я печаль свою переломил,
Как лезвие. У самого эфеса.

Пойдемте же! Не возвратится вспять
Тяжелая ревущая громада.
Зачем рыдать и руки простирать,
Ни призывать, ни проклинать — не надо.

Но по ночам — заветную строфу,
Боюсь начать, изгнанием подрублен,—
Упорно прорубающий тайфун,
Ты близок мне, гигант четырехтрубный!

Скрипят борта. Ни искры впереди,
С горы — и в пропасть!.. Но обувший уши
В наушники не думает радист
Бросать сигнал «Спасите наши души!»

Я, как спортсмен, любуюсь на тебя
(Что проиграю — дуться не причина)
И думаю, по-новому любя:
— Петровская закваска... Молодчина!

★

Сыплет небо щебетом
Невидимок-птах,
Корабли на небе том
В белых парусах.

Важные, огромные,
Легкие, как дым, —
Тянут днища темные
Над лицом моим.

Плавно, без усилия
Шествует в лазурь
Белая флотилия
Отгремевших бурь.

Стихи о Харбине

1

Под асфальт, сухой и гладкий,
Наледь наших лет, —
Изыскательной палатки
Канул давний след...

Флаг Российский. Коновязи.
Говор казаков.
Нет с былым и робкой связи —
Русский рок таков.

Инженер. Расстегнут ворот.
Фляга. Карабин.
— Здесь построим русский город.
Назовем — Харбин.

Без тропы и без дороги
Шел, работе рад.
Ковылял за ним трехногий
Нивелир-снаряд.

Перед днем Российской встряски,
Через двести лет,
Не Петровской ли закваски
Запоздалый след?

Не державное ли слово
Сквозь века: приказ.
Новый город зачат снова,
Но в последний раз.

2

Как чума, тревога бродит, —
Гул лихих годин...
Рок черту свою проводит
Близ тебя, Харбин.

Взрывы дальние, глухие,
Алый взлет огня, —
Вот и нет тебя, Россия,
Государыня!

Мало воздуха и света,
Думаем, молчим.
На осколке мы планеты
В будущее мчим!

Скоро ль кануть иль не скоро,
Сумрак наш рассей...
Про запас Ты, видно, город
Выстроила сей.

Сколько ждать десятилетий,
Что, кому беречь?
Позабудут скоро дети
Отческую речь.

3

Милый город, строг и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.

Пусть удел подобный горек, —
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик-историк,
Вспомяни о нас.

Ты забытое отыщешь,
Впишешь в скорбный лист,
Да на русское кладбище
Забежит турист.

Он возьмет с собой словарик
Надписи читать...
Так погаснет наш фонарик,
Утомясь мерцать!



1

Ночью думал о том, об этом,
По бумаге пером шурша,
И каким-то болотным светом
Тускло вспыхивала душа.

От табачного дыма горек
Вкус во рту. И душа мертва.
За окном же весенний дворик
И над двориком — синева.

Зыбь на лужах подобна крупам
Бриллиантовым — глаз рябит.
И задорно над сердцем глупым
Издеваются воробьи.

2

Печью истопленной воздух согрет.
Пепел бесчисленных сигарет.
Лампа настольная. Свет ее рыж.
Рукопись чья-то с пометкой: «Париж».

Лечь бы! Чтоб рядом, кругло, горячо,
Женское белое грело плечо,
Чтобы отрада живого тепла
В эти ладони остывшие шла.

Связанный с тысячью дальних сердец,
Да почему ж я один, наконец?
Участь избранника? Участь глупца?..
Утро в окне, как лицо мертвеца.

Ночью

Я сегодня молодость оплакал,
Спутнику ночному говоря:
«Если и становится на якорь
Юность, так непрочны якоря.

У нее: не брать с собой посуду
И детей, завернутых в ватин...
Молодость уходит отовсюду,
Ничего с собой не захватив.

Верности насиженному месту,
Жалости к нажитому добру —
Нет у юных. Глупую невесту
Позабудут и слезу утрут

По утру. И выглянут в окошко.
Станция. Решительный гудок.
Хобот водокачки. Будка. Кошка.
И сигнал прощания — платок.

Не тебе! Тебя никто не кличет.
Слез тебе вослед еще не льют:
Молодость уходит за добычей,
Покидая родину свою!..»

Спутник слушал, возражать готовый.
Рассветало. Колокол заныл.
И китайский ветер непутевый
По пустому городу бродил.

Прикосновение

Была похожа на тяжелый гроб
Большая лодка, и китаец греб,
И весла мерно погружались в воду...
И ночь висела и была она
Беззвездная, безвыходно черна
И обещала дождь и непогоду.

Слепой фонарь качался на корме,—
Живая точка в безысходной тьме,
Дрожащий свет, беспомощный и нищий...
Крутились волны, и неслась река,
И слышал я, как мчались облака,
Как медленно поскрипывало днище.

И показалось мне, что не меня,
В мерцании бессильного огня,
На берег, на неведомую сушу
Влечет гребец безмолвный, что уже
По этой шаткой водяной меже
Не человека он несет, а душу.

И позабыв о злобе и борьбе,
Я нежно помнил только о тебе,
Оставленной, живущей в мире светлом.
И глаз касалась узкая ладонь,
И вспыхивал и вздрагивал огонь,
И пену с волн на борт бросало ветром...

Клинком звенящим сердце обнажив,
Я, вздрагивая, понял, что я жив.
И мига в жизни не было чудесней.
Фонарь кидал, шатаясь, в волны медь...
Я взял весло, мне захотелось петь,
И я запел... И ветер вторил песне.

Высокому окну

Этой ночью, ветреной и влажной,
Грозен, как Олимп,
Улыбнулся дом многоэтажный
Мне окном твоим.

Золотистый четырехугольник
В переплете рам,—
Сколько мыслей вызвал ты невольных,
Сколько тронул ран!

И, прошедший годы отрицанья,
Все узлы рубя,—
Погашу ли робкое сиянье,
Зачеркну ль тебя?

О стихи, привычное витийство,
Скользкая стезя,
Если рифма мне самоубийство,
Отойти нельзя!

Ибо если клятвенность нарушу
Этому окну,—
Зачеркну любовь мою и душу
Тоже зачеркну.

И всегда надменный и отважный,
Робок я и хром
Перед домом тем многоэтажным,
Пред твоим окном.

Анне

За вечера в подвижнической схиме,
За тишину, прильнувшую к крыльцу...
За чистоту, за ласковое имя,
За вытканное пальцами твоими
Прикосновенье к моему лицу.

За скупость слов. За клятвенную тяжесть
Их, поднимаемых с глубин души.
За щедрость глаз, которые как чаши,
Как нежность подносящие ковши.

За слабость рук. За мужество. За мнимость
Неотвратимостей отвергнутых. И за
Неповторяемую неповторимость
Игры без декламаторства и грима,
С финалом, вдохновенным, как гроза.



В эти годы Толстой зарекался курить
И ушел от жены на диван в кабинете.
В эти годы не трудно себя укротить,
Но заслуга ль они, укрощения эти!

Укротителем заперта рысь на замок,
Сорок стражей годов — часовыми у дверцы.
Ты двенадцати раз подтянуться не мог
На трапеции. Ты вспоминаешь о сердце.

И впервые подумав о нем, никогда
Не забудешь уже осторожности некой.
Марш свой медленный вдруг ускоряют года:
Сорок два, сорок три, сорок пять и полвека.

Что же, бросим курить. Простокваша и йод.
Больше нечего ждать. Жизнь без радуг. Без премий.
И бессонницами свою лампу зажжет
Отраженная жизнь, мемуарное время.

В ломбарде

В ломбарде старого ростовщика,
Нажившего почет и миллионы,
Оповестили стуком молотка
Момент открытия аукциона.

Чего здесь нет? Чего рука нужды
Ни собрала на этих полках пыльных?
От генеральской Анненской звезды
До риз с икон и крестиков крестильных.

Былая жизнь, увы, осуждена
В осколках быта, потерявших имя...
Поблескивают тускло ордена
И в запыленной связке их — Владимир —

Дворянства знак. Рукой ростовщика
Он брошен на лоток аукциона, —
Кусок металла в два золотника,
Тень прошлого и тема фельетона.

Потрескалась багряная эмаль, —
След времени, его непостоянство.
Твоих отличий никому не жаль,
Бездарное последнее дворянство.

Но как среди купеческих судов
Надменен тонкий очерк миноносца,
Среди тупых чиновничьих крестов
Белеет грозный крест Победоносца.

Святой Георгий — белая эмаль,
Простой рисунок. Вспоминаешь кручи
Фортов, метавших огненную сталь,
Бетон, звеневший в вихре пуль певучих.

И юношу, поднявшего клинок
Над пропастью бетонного колодца,
И белый окровавленный платок
На сабле коменданта: враг сдается!

Георгий! Ты — в руках ростовщика!
Но не залить зарю лавиной мрака!
Не осквернит нечистая рука
Его неоскверняемого знака.

Пусть пошлости неодолимой клев
Швыряет нас в трясучий жизни кузов,
Твой знак носил бесстрашный Гумилев
И первым кавалером был Кутузов!

Ты — гордость юных, доблесть и мятеж,
Ты — гимн победы под удары пушек.
Среди тупых чиновничьих утех
Ты — браунинг, забытый средь игрушек.

Не алчность, робость чувствую в глазах
Тех, кто к тебе протягивает руки.
И ухожу... И сердце все в слезах
От горечи, бессилия и муки!

Эпитафия

Нет ничего печальней этих дач,
С угрюмыми следами наводненья.
Осенний дождь, как долгий, долгий плач,
До исступления, до отупения.

И здесь, на самом берегу реки,
Которой в мире нет непостоянней,
В глухом окаменении тоски
Живут стареющие россияне.

И здесь же, здесь, в соседстве бритых лам,
В селеньи, исчезающем бесследно,
По воскресеньям православный храм
Растерянно подъемлет голос медный.

Но хищно полноводная река
Кусает берег, дни жестоко числит.
И горестно мы наблюдаем, как
Строения подмытые повисли...

И через столько-то летящих лет —
Ни россиян, ни дач, ни храма нет.
И только память обо всем об этом
Да двадцать строк, оставленных поэтом.

★

Хорошо расплакаться стихами!
Муза тихим шагом подойдет,
Сядет, приласкает, пустяками
Все обиды наши назовет.

Не умею! Только скалить зубы,
Только стискивать их сильней
Научил поэта пафос грубый
Революционных наших дней.

Темень бури прошибали лбом мы,
Вязли в топях, зарывались в мхи.
Не просите, девушки, в альбомы
Наши зачумленные стихи!

Вам ведь только розовое снится,
Синее... Без всяких катастроф...
Прожигает нежные страницы
Неостывший пепел наших строф.

В затонувшей субмарине

Облик рабский, низколобый,
Отрыгнет поэт, отринет:
Несгибаемые души
Не снижают свой полет.
Но поэтом быть попробуй
В затонувшей субмарине,
Где ладонь свою удушье
На уста твои кладет.

Где за стенкою железной
Тишина подводной ночи,
Где во тьме, такой бесшумной, —
Ни надежд, ни слез, ни вер,
Где рыданья бесполезны,
Где дыханье все короче,
Где товарищ твой безумный
Поднимает револьвер.

Но прекрасно сердце наше,
Человеческое сердце:
Не подобие ли Бога
Повторил собой Адам?
В этот бред, в удушный кашель
(Словно водный свод разверзся)
Кто-то с ласковостью строгой
Слово силы кинет нам.

И не молния ли это
Из надводных, поднебесных,
Неохваченных рассудком
Озаряющих глубин, —
Вот рождение поэта.
И оно всегда чудесно,
И под солнцем, и во мраке
Затонувших субмарин!

Орбита

Ты, молчаливый, изведал много,
Ты, недоверчивый, был умен,
С лучшими мира ты видел Бога,
С самыми страшными был клеймен.

Знающий, — самое лучшее смерть лишь,
Что ж не прикажешь себе: — Ложись!
Окнам безлюдным позорно вертишь
Злую шарманку, чье имя — жизнь.

Пыльны цветы на кустах акаций.
Смят одуванчик под теркой ног...
Твой дьяволенок посажен на цепь, —
Вырасти в дьявола он не смог.

Что же, убей его, выйдя к Богу,
Выбери схиму из чугуна,
Мерно проламывая дорогу,
Как спотыкающаяся луна.

Будешь светить ты неярким светом,
Где-то воруя голубизну,
И завершишь небольшим поэтом
Закономерную кривизну.

Стихи в письме

С Новым годом!.. Как большие льдины
Из предельных стран, издалека,
Проплывают горькие годины
Мимо беженского островка,

Мимо нас, что с каждым новым годом
Все старей, — седеет борода!..
Сколько их прошло неспешным ходом
Лишь затем, чтоб кануть навсегда!

И с песчаной отмели пустынной
Мы следим за ходом этих льдин.
День проходит бесконечно длинный,
Дни идут, и каждый — как один!

Смотрим мы в темнеющие дали, —
Не примчит ли, обагрен в закат,
За людьми, что ждать уже устали,
Белокрылый, радостный фрегат?

Где он, где он, голос капитана?
Скоро ль встречи долгожданный час?..
Хорошо б уплыть в такие страны,
Где еще не разлюбили нас!

Но враждебна к нам судьба-злодейка, —
Нет фрегата!.. К берегам пустым
Лишь подходит черная ладейка
За тобой, за мною, за другим...

Публикация и предисловие Левана Хаиндрава.

Владимир Тендряков

ОХОТА

Охота пуще неволи

Осень 1948 года.

На Тверском бульваре за спиной чугунного Пушкина багряно неистовствуют клены, оцепенело сидят старички на скамейках, смеются дети.

Чугунная спина еще не выгнанного на площадь Пушкина — своего рода застава, от нее начинается литературная слобода столицы. Тут же на Тверском — дом Герцена. Подальше в конце бульвара — особняк, где доживал свои последние годы патриарх Горький, где он в свое время угощал литературными обедами Сталина, Молотова, Ворошилова, Ягоду и прочих с государственного Олимпа. На задворках этих гостеприимных патриарших палат уютно существовал Алексей Толстой, последний из графов Толстых в нашей литературе. Он был постоянным гостем на званых обедах у Горького, и злые языки утверждают — граф мастерски наловчился смешить олимпийцев, кувыркаясь на ковре через голову. А еще дальше, минуя старомосковские переулочки — Скатертный, Хлебный, Ножевой, — лежит бывшая Поварская улица, на ней помещичий особняк, прославленный в «Войне и мире» Львом Николаевичем Толстым. Здесь правление Союза писателей, здесь писательский клуб Москвы, здесь писательский ресторан. Здесь, собственно, конец литературной слободе.

Но, наверное, нигде литатмосфера так не густа, как в доме Герцена. И если там в сортире на стене вы прочтете начертанное вкривь и вкось: «Хер цена дому Герцена!», то не спешите возмущаться, ибо полностью это настенное откровение звучит так:

> «Хер цена дому Герцена!»
> Обычно заборные надписи плоски,
> С этой согласен —
> В. Маяковский!

Так сказать, симбиоз площадности с классикой.

В двадцатые годы здесь находился знаменитый кабачок «Стойло Пегаса»*. В бельэтаже тот же В. Маяковский, столь нещадно хуливший дом Герцена, гонял шары по бильярду, свирепым басом отстаивал право агитки в поэзии:

> Нигде кроме
> Как в Моссельпроме!

А под ним, в подвале, то есть в самом «Стойле», пьяный Есенин сердечно изливался дружкам-застольникам:

---

* Уже после окончания повести я неожиданно узнал: увы, не слишком популярный клуб имажинистов под таким названием был не тут, а где-то на Тверской улице. Ни Маяковский, ни Есенин не снисходили до «Стойла», но посещали поэтическое кафе-ресторан дома Герцена. Не исправляю этого заблуждения потому, что все мы пребывали в нем в описываемое время, звонкую вывеску «Стойло Пегаса» принимали тогда как цеховое наследие.

Грубым дается радость.
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Но осень 1948 года, давно повесился Есенин и застрелился Маяковский.

А в доме Герцена уже много лет государственное учреждение — Литературный институт имени Горького.

Это, должно быть, самый маленький институт в стране; на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас — конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами — студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походя читаются стихи и поется сочиненный недавно гимн:

И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать.

Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.

— Дайте закурить, ребята.

Он был автором повально знаменитой:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса!..

Детище бурно жило, забыв своего родителя. «Тачанку» пели во всех уголках страны, а Рудерману не хватало на табачок:

— Дайте закурить, ребята.

Его угощали «гвóздиками».

Где-то за спиной нашего института, на Большой Бронной, жил в те годы некий Юлий Маркович Искин. Он не осчастливил мир, подобно Рудерману, победной, как эпидемия, песней, не свалился в сиротство, не приходил к нам «стрельнуть гвоздик», а поэтому мы и не подозревали о его существовании, хотя в Союзе писателей он пользовался некоторой известностью, был даже старым другом самого Александра Фадеева.

У него, Юлия Искина, на Бронной небольшая, зато отдельная двухкомнатная квартира, забитая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь Дашенька ходит в школу. Хозяйство ведет тетя Клаша, пятидесятилетняя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью.

По всей улице Горького садили липы. Разгромив «Унтер ден Линден» в Берлине, мы старательно упрятывали под липы центральную улицу своей столицы. Давно замечено — победители подражают побежденному врагу.

«Deutschland, Deutschland uber alles!» — «Германия — превыше!..» Ха!.. В прахе и в позоре! Кто превыше всего на поверку?..

Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..

Великий вождь на банкете поднял тост за здоровье русского народа:

— Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное — все враждебно. Папиросы-гвоздики «Норд» стали «Севером», французская булка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисона... Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета! Электрическую лампочку изобрел Яблочков! И самолет не братья Райт, а Можайский. И паровую машину не Уатт, а Ползунов. И уж, конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио... Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а этот предок в незапамятные времена пасся на «просторах родины чудесной», а никак не в потусторонней Индии.

Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?..

«Deutschland, Deutschland uber alles!» Разбитую «Унтер ден Линден» усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново.

На улице Горького садили липы.

В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки.

Охотились и садили липы...

В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса.

Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли, и глаза его при этом становились непроницаемо тусклые, какие-то глухие.

Его выбрали в институтский партком — за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности. Выбрали даже не секретарем, а рядовым членом.

И тут-то от заседания к заседанию Вася Малов начал показывать себя. Во-первых, он любил выступать, говорил длинно, обстоятельно, тихим, бесстрастным голосом, стараясь сам не волноваться и не волновать других. Во-вторых, ему, оказывается, просто невозможно было возразить ни по существу, ни в частностях. Пробитая осколком голова Васи Малова не терпела ни малейших возражений. Он сразу же начинал волноваться, краснел и бледнел одновременно — пятнами, полосами, кричал надрывным голосом, а глаза его наливались безумным мраком. К нему сразу же бросались, успокаивали, поддакивали, извинялись — иначе мог свалиться в припадке, не дай бог, тут же умереть на заседании.

Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов.

Вася Малов выступал на каждом парткоме, невзволнованно тихим голосом он называл имена: такой-то несет в себе заразу безродности!

Ему не возражали.

Вася Малов указал уже на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя.

Каждый из нас — кто таясь, а кто афишируя,— претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали — Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.

Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка — оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом его стихе знакомые вещи вдруг представали какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое — неожиданно хорошим.

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день едва ли
Бывало до календаря.

Шестнадцатого октября сорок первого в Москве была паника, повальное бегство. Позорный день, равносильный предательству. В печати его не вспоминали. Эмка вспомнил, мало того — взглянул на него по-своему:

Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну!
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.

Все поэты в стране писали о великом Сталине. Эмка Мандель тоже...

Там за текущею работой
Жил, воплотивши резвый век,
Суровый, жесткий человек —
Величье точного расчета.

Эмка искренне считал, что прославил Сталина, изумился ему. Другие могли понять иначе. Понять и указать перстом...

Но Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища все сдвигались и сдвигались, становились короче и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый, что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка — Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.

Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами.

Вася Малов был коренной москвич, в общежитии не жил. Каждое утро он вышагивал через сквер к институту своей расчетливо бережной походочкой — шляпа посажена на твердые уши, табачного цвета костюмчик, галстук, белая сорочка — вычищенный, без пылинки, отглаженный без морщинки, тишайше скромный, меланхолично отсутствующий, слабый здоровьем, слабый голосом.

— Здравствуйте,— кивок шляпой, неулыбчивый взгляд.

Студенты переставали читать стихи, расступались. Наш и. о. директора спешил поздороваться с Васей за руку. Вася на него не смотрел, прислушивался к себе. А и. о. директора не обращал внимания на неулыбчивость, жал руку, улыбался сам.

Лично меня Вася ничуть не пугал. Я ни по каким статьям не подходил под безродного. Я был выходцем из самой что ни на есть российской гущи, по-северному окал, по-деревенски выглядел да и невежествен был тоже по-деревенски. И сочинял-то я о мужиках, не о балеринах — почвенник без подмесу.

Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)?

Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.

Вся советская литература, которой мы, шестьдесят два студента с пяти курсов, готовились служить, насчитывала тогда каких-нибудь три десятка лет.

Юлий Маркович Искин как литератор родился вместе с нею.

Революция помешала ему окончить реальное училище, заставила порвать с тетушками и дядюшками, владельцами галантерейных лавочек на Зацепе, преуспевающими подрядчиками, не слишком преуспевающими, средней руки адвокатами. В шестнадцать лет Юлий оказался в паровозоремонтных мастерских при станции Казанского вокзала. В семнадцать он стал плохим слесарем, но отменным активистом — председателем цеховой ячейки комсомола, написал свой первый репортаж о саботажниках на железнодорожном транспорте. Этот репортаж был напечатан в «Гудке», газете, выходящей тогда от случая к случаю. Юлий Искин стал рабкором.

Рабкоры... Как ни прославлены эти волонтеры революционной прессы, тем не менее мы имеем о них тусклое представление, основанное главным образом на казенных междометиях.

Главная отличительная черта рабкоров — это вопиющая молодость и связанное с ней буйство чувств и незрелость мысли. Великая Октябрьская революция вообще была молода. Сорокасемилетний Ленин не только ее патриарх по авторитету, но и по возрасту. Троцкому тогда исполнилось тридцать восемь, Свердлову — тридцать два, Бухарину — двадцать девять, а рядовому революции Федору Тенкову, моему отцу — всего двадцать один год! В двадцать два он уже был комиссаром полка — отвечал за других, имел право судить и карать.

Рабкорами же становились те, кто жаждал активности, но еще не доспел до признания, а потому сверхвозбудимость, агрессивная честность при ничтожнейшем житейском опыте, порой при отсутствии элементарной грамотности. Они изредка помогали становлению разваленной жизни, но больше путали ее и разваливали по недомыслию.

Рабкора «Гудка» Юлия Искина боялись деповские «мазурики», воровавшие из обтирочной драгоценный керосин, но его боялись начальники служб и дистанций, проверенные в деле спецы. Они требовали дисциплины, а рабкор Искин считал это зажимом, они пытались воевать с уравниловкой, распределяли допталоны на обеды среди наи-

более квалифицированных рабочих, а рабкор Искин писал на них — подкуп, разделение на «любимчиков и постылых», нарушение принципа равенства, создание рабочей аристократии.

«Гудок» стал выходить регулярно, Юлия Искина как наиболее грамотного из рабкоров взяли в штат. Он печатался на второй и третьей — «серьезных» полосах газеты, а на последней, четвертой, затейливо-несерьезной, помещал рассказы уже получивший известность Валентин Катаев, гремел рифмами фельетонист Зубило—буйноволосый, приземистый Юрий Олеша, острили и подписывали пока что пустячки совсем никому не известные Илья Ильф и Евгений Петров.

Как-то само собой случилось, что Юлий Искин бросил писать о простоях вагонов и начал помещать критические статьи.

Он и в литературе остался рабкором, прямолинейным парнем, который весь мир резко делил на «наше» и «чужое», рабочее и буржуазное. Есенин мелкобуржуазен, значит, чужой, Маяковский хоть и горлопан, но насквозь революционен — свой в доску! А в общем: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!» Это желание у ринувшихся в литературу рабкоров появилось намного раньше, чем Маяковский вслух его высказал.

Юлия Искина озадачила небольшая повесть. Ее написал не какой-нибудь недобитый белогвардеец, а свой парень, недавно скинувший красноармейскую шинель. Повесть о гражданской войне, но — странно! — не о победе, а... о разгроме. Она так и называлась — «Разгром». А ведь гражданская-то война кончилась нашей победой, уж никак не разгромом... Наша повесть или чужая, рабоче-крестьянская или буржуазная?..

От повести веяло тем величавым великодушием, которое свойственно только сильным, только уверенным в себе: мы не всегда бывали удачливы, не всегда сильны, умны и справедливы — тоже не всегда.

Юлий Искин впервые в жизни написал нерабкоровскую статью.

Они скоро встретились. Автор «Разгрома» был высок, статен, плечист, трогательно ушаст, улыбка на щекастом лице была подкупающе простодушна, а в веселом подрагивании зрачков ощущалось нечто большее, чем простодушие,— сердечность.

Я никогда не интересовался — любили ли Фадеева женщины? Наверное. Я постоянно слышал о том, как в него влюблялись мужчины.

Сам я Фадеева видел только со стороны.

О нем до сих пор ходят изустные легенды. Одна упрямо повторяется чаще других — легенда о том, как Александр Фадеев разом победил своих литературных врагов.

Называют при этом Авербаха... Позднее Твардовский в беседе с Хрущевым скажет свою знаменитую фразу: «В Союзе писателей есть птицы поющие и есть птицы клюющие». Авербах, похоже, ничего не спел, что запомнилось бы по сей день, исклевал же, как говорят, многих. Он и Фадеев не выносили друг друга, не здоровались при встречах. И это знали все.

Горький в очередной раз давал обед. Присутствовал Сталин с «верными соратниками». Собрался весь цвет нашей литературы — лучшие из певчих, виднейшие из литстервятников.

После соответствующих возлияний, в минуту, когда отмякают сердца, кто-то, едва ли не сам радушный хозяин Алексей Максимович, прочувствованно изрек: «Как плохо, что среди братьев писателей существуют свары и склоки, как хорошо, если бы их не было». Этот проникновенный призыв к миру был почтен всеми минутой сочувственного молчания, скорбные взгляды устремились в сторону Авербаха и Фадеева. Неожиданно поднялся Сталин — с бокалом в руке или без оного,— подозвал к себе обоих.

— Нэ ха-ра-шо,— сказал он отечески. — Оч-чэнь нэ харашо. Плахой мир лучше доброй ссоры. Пратяните руки, памиритесь! Прашу!

Просил сам Сталин, не шуточка.

И Фадеев, доброжелательный, открытый, отнюдь не злопамятный, шагнул к Авербаху, протянул руку. Авербах с минуту глядел исподлобья, потом медленно убрал руки за спину. Рука Фадеева висела в воздухе, а за широким застольем обмирали гости — великий вождь и учитель попадал в неловкое положение вместе с Фадеевым.

Но Сталин не был бы Сталиным, если б вовремя не предал того, кто потерпел поражение. Он сощурил желтые глаза:

— То-варищ Фадзев! У вас сав-всэм нэт характера. Вы безвольный челавэк, то-варищ Фадзев. У Авэрбаха есть характэр. Он можэт пастаять за сэбя, вы — нэт!

И, наверное, был восторженно умиленный гул голосов, и можно представить, как пылали большие уши Фадеева, и, наверное, Авербах спесиво надувался сознанием своего превосходства.

Будто бы именно с того случая Фадеев стал круто подыматься над остальными писателями, его недоброжелатели сразу стушевались.

У Фадеева не было характера, у Авербаха он был... Авербаха вскоре арестовали, он бесследно исчез.

Это легенда. Правда? Вымысел? В какой мере?.. Я не знаю. Слышал ее не единожды из разных уст.

Когда у него началось несогласие с самим собой, в какое время? А оно было, непосильное несогласие, от него одна водка уже не помогала, к ней нужны были еще и приятели. И вовсе не обязательно застольные приятели должны петь величальную: мол, велик, неповторим, верим в тебя, верит народ!.. Нужен был общий язык, взаимное понимание и... взаимное восхищение. А это можно найти даже с теми, кто способен произносить всего лишь одну фразу в двух вариантах: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!»

Фадеев кидался в запои, пил с собратьями по перу, с высокопоставленными служащими, с истопниками, дворниками, случайными прохожими: «Ты меня любишь?! Ты меня уважаешь?!»

Юлий Искин пропускал рюмку только по праздникам, он никогда не делил с Фадеевым затяжные застолья. Юлий Маркович не находился в числе его приятелей. Он был другом Фадеева, верным и незаметным.

В Доме писателей на бывшей Поварской, в высоком, как колодец, зале, отделанном сумрачном дубом, шло очередное общее московское собрание литераторов. Председательствовал сам Фадеев. Обличали безродных космополитов, называли имена, раскрывали скобки, вспоминали, что такой-то, имярек, лет двадцать тому назад непочтительно отзывался о Маяковском, такой-то нападал на Макаренко, такой-то травил великомученика нашей литературы Николая Островского, кого даже враги называли «святым». И прокурорскими голосами читались выдержки из давным-давно забытых статей. Из зала неслись накаленные голоса:

— Позор!! Позор!!

От обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невнятно оправдывались.

— Позор!! Позор!! — Клич, взывающий к мести.

На возвышении за монументальным зеленым столом величаво восседал президиум — неподкупный трибунал во главе с Фадеевым. У Фадеева было спокойное, суровое выражение лица.

Он взял себе заключительное слово. Спокойно, но жестко, без кликушеского надрыва подтвердил состав преступления: «Идеологическая диверсия... Духовное ренегатство... Скрытое предательство по отношению к родине...» И вновь повторил имена, глядя в зал, где среди безвинных людей прятались виновники. И зал дружно ревел Фадееву:

— Позор!! Позор!!

Дружно. Восторженно. Благодарно.

Я находился наверху, на дубовых хорах. Я издалека любовался Фадеевым, его мужественной осанкой, открытым лицом, твердым и неподкупно суровым в эту минуту. Я верил ему.

Среди тех, кому кричали «Позор!», был некий Семен Вейсах, критик, литературовед, старый друг Юлия Марковича Искина.

Все расходились, одни спешили к раздевалке, другие тянулись в ресторан, чтоб за рюмкой армянского «три звездочки» перекинуться парой слов о прошедшем собрании. А Семен Вейсах стоял у стены, прижимаясь спиной к дубовой панели — размягше тучный, лицо серое, изрытое, свинцовое. На этом тяжелом корявом лице сам собою подмигивал глаз, каждому, кто проходил мимо, знакомым и незнакомым.

Вейсах стоял у самых дверей на выходе, и Юлий Маркович медлил в сторонке, мучительно решал про себя: пройти ли мимо, подчеркнуто не замечая друга Семена, или задержаться, приободрить: не все, мол, потеряно...

Юлий Маркович не кричал «Позор! Позор!». Он сидел в зале, слушал и... боялся. Хотя, казалось бы, чего?.. Не участвовал в оппозициях, не имел связей с заграницей, не примыкал к Серапионовым братьям, как некоторые, даже в критических статьях особенно не нагрешил — хвалил Маяковского, поругивал Есенина, всегда решительно поддерживал Фадеева. Но те, кто сейчас сидит по правую и левую руку от Фадеева, не очень-то хотят считаться с фактами. Они не стихами и драмами завоевали себе славу, а расправой. Им нужны жертвы...

Саша Фадеев отлично знает Юльку Искина. Однако он знал и Семена Вейсаха.

Вейсах, оплывше грузный, постаревший, стоит у выхода, со свинцового лица сам собой подмигивает глаз. Мимо него торопливо проходят и только потом запоздало оглядываются через плечо.

Юлий Маркович, склонив голову, решительной походочкой прошел мимо, боковым зрением уловил, как глаз друга Семена без участия хозяина подмигнул... Бессмысленный глаз, ничего не замечающий.

Чувство острой неловкости удалось потушить сразу же, еще не доходя до гардероба, на лестнице...

Семен Вейсах тоже ведь бывший рабкор. И, конечно же, рабкоровское, непримиримое в нем живо до сей поры: мир жестоко делится на своих и чужих, середины нет и быть не должно, любая половинчатость предосудительна, если не преступна. Раз твой друг попал в чужие, обязан ли ты ради дружбы, хоть на пядь, отойти от своих, хоть на секунду стать отщепенцем? Семен Вейсах поступил бы точно так же. Надо только выкинуть из головы изрытое, отяжелевшее лицо, мысленно зажмуриться и забыть сам собой подмигивающий глаз.

А в ресторане Дома писателей среди столиков бродил поэт Михаил Светлов. То тут, то там возникал его ломано-колючий профиль безунывного местечкового Мефистофеля. Михаил Светлов, пока шло собрание, обличали и каялись, кричали «Позор», не терял времени зря, он уже нетвердо стоял на ногах, морщился расслабленно беззащитной и в то же время едкой улыбочкой. А по углам Дома литераторов из уст в уста уже передавалась только что оброненная им острота:

— Я, право, понимаю русских — почему не любят евреев, но не могу понять — почему они любят негров?

Передавали да оглядывались, за такую вольность могли и прихватить.

В детстве над моей кроватью одно время висел плакат — три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо. Негр, китаец и европеец, черный, желтый и белый — три братские расы планеты, знаменующие собой Третий Интернационал. Едва ли не с младенчества любил я негров за то, что черны, за то, что обижены. «Хижину дяди Тома» я прочитал в числе самых первых книг, но ей-ей сердобольная миссис Бичер-Стоу уже ничего не добавила к моему всепланетному любвеобилию.

Михаила Светлова теперь нет в живых, шапочно был с ним знаком, редко виделись... Ах, Михаил Аркадьевич, Михаил Аркадьевич! А ведь мы вместе любили негров. Вы раньше, я вслед за вами. Разве «Гренада» не гимн этой любви?

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели.

Жена встретила Юлия Марковича в дверях, на мгновение замерла с широко распахнутыми глазами, словно всосала взгляд мужа в провальные зрачки, успокоилась и ничего не спросила.

— А у нас гостья.

Раиса, дочь тети Клаши. Давно уже шли разговоры, что она приедет в Москву погостить.

Сама тетя Клаша была плоскогруда, мослоковата, в угловатости костистого перекошенного тела, в каждой спеченной морщинке на лице чувствовался многолетний безжалостный труд, состаривший, но не убивший выносливую бабу.

Раиса же оказалась угнетающе не похожа на мать: белокожая, грубо крашенная — с расчетом «на знойкость» — брюнетка. У нее каменно тупые скулы и мелкие глаза с липкими ресницами, пухлый рот жирным сердечком и вызывающе горделивое выражение буфетчицы: «Вас много, а я одна».

Дина Лазаревна, должно быть, сердилась на себя за то, что гостья не нравится, потому была преувеличенно сердечна:

— Еще чашечку, Раечка?.. Вы варенья не пробовали.

— Нет уж, извиняюсь. И так много вам благодарна. — И отодвигала чашку белой крупной рукой с чинно оттопыренным мизинцем.

А в посадке присмиревшей за столом Дашеньки, в округлившихся глазах таилась недоуменная детская неприязнь, быть может, ревность. Дашенька и тетя Клаша до беспамятства любили друг друга.

Клавдия Митрохина — тетя Клаша — выросла в деревне под названием — надо же! — Веселый Кавказ. Этот Веселый Кавказ стоял среди плоских, уныло распаханных полей, открытый ветрам. Здесь даже

собаки ленились лаять, а девки и парни до войны ходили на игрища в село Бахвалово за семь верст.

А в войну Веселый Кавказ совсем опустел, какие были мужики, всех забрали, мужа Клавдии одним из первых. Он написал с формировки два письма: «Живем в городе Слободском в землянках, скоро пошлют на фронт», и... ни похоронной, как другим — «пал смертью храбрых»,— ни весточки о ранении, ничего — пропал.

В деревне же начался голод, из сенной трухи пекли колобашки, даже старую сбрую, оставшуюся с единоличных времен, сварили и съели. Райке исполнилось семнадцать лет, кожа синяя и прозрачная, глаза большущие, сонливые, с тусклым маслицем, шея и руки тоненькие, а живот большой и тугой. Невеста.

Надо было спасать Райку.

Из Веселого Кавказа сбежать нельзя. Без отпускных справок, без паспорта при первой же проверке схватят на дороге. Вся страна в патрулях, под строгим надзором. Есть только одна стежка на сторону — в лес. Туда не только пропускают, туда гонят. Каждую зиму колхоз выставлял сезонников на лесозаготовки — людей и лошадей.

В лесу давали хлеб. И не так уж и мало — семьсот пятьдесят граммов на сутки, ежели выполнил норму. Но даже мужики не выдерживали там подолгу — с лучковой пилой на морозе, по пояс в снегу, от темна до темна, изо дня в день — каторга.

У Райки означился рисковый характер:

— Пойду, мамка. Что уж, здесь помирать, а там еще посмотрим...

А смотреть-то нечего — костью жидка, одежонка худа, на первой же неделе свалится.

Но поди знай, где наскочишь на счастье. Повезло Райке, что с голодухи ветром ее шатало, куда такой на лесоповал, пусть подкормится — сунули в столовку при лесопункте посуду мыть. Думали на время, а Райка оказалась не из тех, кто свое упускает.

И стали приходить от нее редкие письма:

> Здравствуйте, родимая маменька Клавдия Васильевна!
>
> Низко кланяется вам ваша дочь Рая. Мое сердце без тебя, словно ива без ручья. Так что спешу сообщить: живу хорошо, чего и вам желаю. Нынче чай всегда с сахаром и даже с печеньем «Принет». Зовет меня к себе жить Иван Пятович Рычкон. Он у нас прораб по нывозке, но уже два месяца заместо начальника. Начальник наш Певунов Авдей Алексеевич стал шибко кашлять, увезли в больницу, должно, скоро умрет от кашля этого и от старости. У Ивана Пятовича в леспромхозовском поселке своей дом, и жена тоже есть, но стара. А дети совсем большие, одного даже убило на фронте. Такие, как Иван Пятович, нынче на дороге не валяются. И меня тогда сразу переведут из раздатчиц вторым поваром, а может, и вовсе экспедитором сделают, потому что почерк хороший и считаю н уме быстро.
>
> Покуда, до свидания. Ваша дочь — Рая.
>
> Жду ответа, как соловей лета.

До лесопункта проселками от Веселого Кавказа каких-нибудь километров шестьдесят, но письма шли кружным путем неделями. И на каждом письме стоял лиловый штамп: «Проверено военной цензурой».

Райка пила чай с сахаром и печеньем «Привет», а Клавдия давно уже не пробовала чистого хлеба.

Весной начали опухать ноги.

В конце мая перед троицыным днем она почувствовала себя лучше, потому что бригадирша Фроська схитрила — списала остатки семенного фонда, выдала вместо аванса. Клавдия напекла овсяных колобашек пополам с сушеной крапивкой, захлопнула поплотней дверь избы и отправилась к Райке. Родимая доченька, прими мамку, от смерти бежит!

А Райка уже не та — платье новое в лиловых цветочках чуть не лопается на грудях. Мать перед ней — ноги черные, на плечах полукафтанье — заплаты выкроены из старых мешков,— холщовая сума через плечо. У Райки под бровями, в сумраке раскосых глаз, что-то мечется, словно мышь в кувшине,— нет, не мать к ней пришла, а то старое, от чего сбежала, Веселый Кавказ нежданно-негаданно нагрянул, проклятая родина.

Холщовую суму Райка набила до отказа: кирпич хлеба, две банки мясных консервов, сахару полкило, большая пачка настоящего чая, четыре брикетика пшенного концентрата, даже пачечку печенья «Привет» в цветной обертке сунула. Для подарка слишком много, для жизни мало — не растянешь до свежей картошки.

Дочь проводила Клавдию до того места, где от корявой, искалеченной лесовозными машинами дороги отходил в сторону Веселого Кавказа мягкий, травянистый проселок. И тут Райка впервые обняла мать, прижала к себе, заголосила раскаянно:

— Маменька родима-а-я! На погибель тебя отправля-а-ю! Не увидимся боле-е!..

Она шла лесами и полями, минуя тихие, оцепеневшие от голода деревни, ночуя то в заброшенной сторожке, то в прошлогоднем стожке сена. И тучное лето стояло вокруг. Радостно зелены были поля, сияюще зелены перелески, листва хранила еще весеннюю праздничность. И садилась отдыхать у родничков, жевала городской хлебец со сладкой поджаристой корочкой, запивала его из берестяных черпачков студеной, травянисто пахучей водицей и радовалась не знай чему. В такую счастливую минуту она набрела на счастливое решение. Пока шагала до дому, все толком обдумала.

В сельповской лавке села Бахвалова на полках с самого начала войны стояли пожелтевшие коробки с порошком «дуст» да деревянные клещи — заготовки для хомутов. Но продавщица Кутепова Мария в глубоких тайничках всегда держала бутылочку «московской», спасенную от продажи по спецталонам. Клавдия предложила Машке Кутеповой обмен — две банки мясных консервов за пол-литра под сургучом.

Председатель сельсовета Афонька Кривой ради советской державы готов был отдать жизнь, и не одну — много, но за бутылку «московской» он бы не пожалел и самой державы. Афонька Кривой написал Клавдии справку с чернильным штампом и круглой печатью.

Она доехала до Москвы и стала просить милостыню возле Курского вокзала, выбирая тех, у кого подобрей лица. Она протянула руку к офицерику:

— Христа ради, на пропитание.

Офицерик был невысок, шинель нескладно сидела на его узких плечах — рыжие бровки, нос клювиком, мягкие чистенькие морщинки.

— Откуда ты, бабушка?

Разговорились. Клавдия чистосердечно поведала, как бежала из Веселого Кавказа.

Юлий Маркович тогда только что демобилизовался. Всю войну он без особых тягостей прослужил во фронтовой газете, часто наезжал в Москву. Шинель с погонами майора он донашивал последние дни,

несколько книжных издательств нуждались в его сотрудничестве, жена тоже работала, росла дочь, и ее не с кем было оставлять дома.

«Бабушка» оказалась старше его всего на три года. Поразили ее глаза — ненастно серые, ни боли в них, ни надежды, одно лишь бездонное терпение, глаза русской деревни, перевалившей через самую страшную в истории человечества войну.

Одиссея, начавшаяся в Веселом Кавказе, окончилась на Большой Бронной.

У порога нашего института, заполняя скверик, сиял бронзовый вечер. За сквериком, стороной, рыча, громыхая, давясь гудками, шелестя шинами, суетно и дерганно, равнодушно и напористо катился мимо город — нескончаемый поток необузданных машин и неприметно тихих прохожих.

Он был одним из этих тихих прохожих. В тщательно вычищенном пиджачке с протертыми до белизны локтями, в тусклом галстучке, в умеренно отглаженных, со следами выведенных пятен брючках, с бледной немочью горожанина на узком лице, которую, впрочем, можно принять и за невыстраданную грусть.

Случайный человек оказался возле нас, нескольких бездельников, глубокомысленно наслаждающихся ласковым вечером. Тут не было ничего необычного, институтик карманного размера, готовящий стране писателей, вызывал у многих острое любопытство и... недоумение:

— Чему вас тут учат?

Мы гордились своей исключительностью и отвечали с величавой неохотой:

— Тратить стипендию.

Нам платили самую маленькую стипендию, какая существовала в институтах. Студенты технических вузов получали втрое больше нас. Нам ничего не оставалось, как презирать сребролюбие.

На этот раз прохожий, завернувший к нам с панели, не спросил, а сам стал нам объяснять — чему нас учат.

— Это ловко кто-то придумал спрятать молодых писателей под одну крышу, под одну шапку,— заговорил он, разглядывая нас корыстными глазами барышника.— Да здравствует единомыслие! «Весь советский народ как один человек!»

И мы изволили обратить на него внимание: узкое лицо, хрящеватый нос, язвительная улыбочка на бледных губах и подрагивающее острое коленко, и худая, как коршунья лапа, рука вкогтилась в пиджачный лацкан.

Кто-то из нас удостоил его ленивым ответом:

— Учение — свет, неучение — тьма, дядя. Неужели не слышал?

— Добронравная ложь, молодые люди. Не всякое учение свет.— Он глядел на нас с оскорбляющей прямизной и улыбался, похоже, сочувственно.

— Хотите сказать, что нас тут губят во цвете лет?

— О вас проявляют отеческую заботу. Думай, как все, шагай по струнке: «Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег».

— И куда же мы ушагаем, по-вашему?

— Уже пришли... В гущу классовой борьбы, классовой непримиримости, классовой ненависти. Вас учат ненавидеть, молодые люди.

— Классово ненавидеть, не забывай, дядя.

— А что такое классово?

Мы переглянулись. С таким же успехом нас можно было спросить, что такое красное или желтое, соленое или сладкое. Столь наглядно очевидное — не было нужды задумываться.

— Маркса надо читать, дядя.

— Маркс, молодые люди, в наше время попал бы в крайне затруднительное положение. Он делил мир просто — на имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых, ненавидь одних, защищай других! А ведь сейчас-то эти имущие эксплуататоры — фабриканты там или лавочники со своими частными лавочками — фюить! Ликвидированы как класс. Так кого же классово ненавидеть, кого любить?

— Частные лавочки исчезли, дядя, а лавочники-то в душе остались. Они глядят не по-нашему, думают не по-нашему.

— Думай, как я, гляди, как я,— единственный признак для определения классовости? А что если кто-то думает глубже меня, видит дальше меня? Или же такого быть не может?

— Не передергивай, дядя. Можешь думать не так, как я лично думаю, но изволь думать п о-н а ш е м у.

Незнакомец глядел на нас с сочувствием столь откровенным, что оно казалось бесстыдным.

— По-нашему?.. А кто мы? Мы-то ведь тоже разные, среди нас могут быть профессора, могут быть и дворники... Согласитесь, профессору не так уж трудно понять ход мыслей дворника, а дворнику же профессора — не всегда-то под силу...

— Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что не по-дворницки думающий профессор чаще станет вызывать подозрение — не классовый ли он враг.

Мы снова переглянулись.

— И еще хочу напомнить,— продолжал незнакомец,— что дворников в стране куда больше, чем профессоров, молодые люди.

— «Восстань, пророк, и виждь и внемли!» Кто ты, пророк?

Тонкие губы незнакомца презрительно скривились.

— Увы!.. Я всего-навсего прохожий, который переходит улицу в положенном месте. Но когда нет рядом милиционера... хочется перебежать. Надеюсь, вы не из милиции, молодые люди?

— Не бойся, дядя. Мы лишь члены профсоюза.

— Очень рад. Тогда разрешите...

Он церемонно отбил нам поклон, показав вытертую макушку в жидких тусклых волосиках, и, вцепившись когтистыми пальцами в лацкан пиджака, подрагивающей походкой гордо удалился через сквер.

А город за сквериком лился мимо нас, рыча, покрикивая недоброжелательными гудками — необузданно шумные машины и тихие прохожие, переходящие улицы в положенном месте. И нас обступают молчаливые дома, тесно, этаж над этажом набитые все теми же прохожими, вернувшимися с разных улиц. Как приятно знать, что кругом тебя единомышленники. «Весь советский народ как один человек!» И как тревожно и неуютно, когда вдруг обнаруживаешь — есть отступники, не похожие на тебя! Нарушена великая семейственность, оскорблено святое чувство всеобъемлющего братства.

Тощий человек с узким лицом, с хрящеватым носом, пророк в потертом пиджачишке, неизвестно откуда появившийся, неизвестно куда исчезнувший. Не пригрезился ли он?..

Мы молчали и слушали шум вечернего города.

Из института вышел Вася Малов, необмятая шляпа на твердых ушах, защитный плащик поверх табачного костюма, кроткая усталость на лице и потасканный портфельчик под мышкой. Он остановился, потянул носом воздух, насыщенный запахом увядшей зелени и бензинового перегара, выдохнул:

— Вечерок... Да-а.

И в эту короткую минуту, пока Вася Малов с тихой миной, в расслабленном умилении стоял рядом со мной, я против воли вдруг испытал вину — сделал что-то нехорошее, нашалил, боюсь быть уличенным. Странно...

Я ведь не перебежал дорогу в недозволенном месте.

Всего-навсего я видел, как это сделал другой.

Отчего же неловкость? Почему вина?

Все молчали и слушали город.

— Вечерок... Да-а... Счастливо оставаться, ребята. До завтра.

Вася Малов ступил на землю, бережно пронес на твердых ушах свою необмятую шляпу через сквер на бульвар — личный вклад в общий поток. «Весь советский народ как один человек...»

Оказалось, Раиса приехала не просто погостить. В последнее время она работала в леспромхозовском орсе, там случились крупные неприятности, на Раису пытались повесить чужую растрату. И с Иван Пятычем пора было кончать. Он собирался разводиться с законной женой, а какой расчет связывать свою жизнь со стариком, когда молодые вернулись. Раиса намеревалась пустить корни в Москве.

Все это сообщила Юлию Марковичу тетя Клаша, ворча на дочь и вздыхая: «Не ндравится лисоньке малинку есть, на мясное, вишь ли, потягивает». Клавдия дочь не особо одобряла, но... помоги, Юлий Маркович.

Стихи и романы русских классиков, революционные лозунги, культура и политика, собственная совесть и государство — все изо дня в день, из года в год требовало от Юлия Марковича преклонения перед народом. Перед теми, кто пашет и стоит у станков, лишен образованности, но зато сохранил первозданную цельность, не философствует лукаво, не рефлексирует, не сентиментальничает, то есть не имеет тех неприглядных грехов, в каких погрязла интеллигенция. К интеллигенции как-то само собою ложатся непочтительные эпитеты, вплоть до уничтожающего — «растленная». Но чудовищно даже представить, чтоб кто-то осмелился произнести: «Растленный народ». Такого не бывает.

В последнее время слово «народ» получило новый заряд святости в сочетании со словом «русский». Украинский народ, казахский народ, узбекский, равно как народ манси, народ орочи — звучит, но не так. Сказано Сталиным, вошло во все прописи, узаконено: русский народ «наиболее выдающийся... руководящий народ». Народ из народов, не чета другим!

Тетя Клаша, баба из деревни Веселый Кавказ,— чистейший образец этого руководящего народа, честна, проста, не испорчена самомнением — золотая песчинка высокой пробы. И, конечно же, она по простоте своей неиспорченной души не подозревала о собственном величии.

— Деревня-то наша из самых что ни на есть некудышных. Насто кругом «черкесами» звали, обидней прозвища не было. Эвон, мол, «черкес» едет. А едет-то он, сердешный, на разбитой телеге, и лошадьто у него на ходу валится, и обрать-то — веревочка, и сам-то «черкес» лыком подбит...

Юлий Маркович считал своим долгом открыть ей на все глаза:

— Вот ужо, Клавдия, оглянутся наши дети и внуки на таких, как ты, никудышных, памятники вам поставят.

— Чем же сподобились?

— Не малым. Мир спасли.

— Ишь ты, прежде-то один спаситель был — Христос, посля-то, выходит, многонько спасителей будет.

— Ты слыхала о нашествии татар?

— Как же. И пословица есть: незваный гость хуже татарина.

— Так вот немцы почище татар. Франция им двери с поклоном открыла, Англия от страха обмирала, Америку хлипкий японец бил. Казалось, на всем свете нет силы, которая остановила бы новых татар. Остановили мы.

— Слава те господи.

— Не господу слава, а тебе, Клавдия. Таким, как ты, которые кору жрали, а хлебом кормили и фронт, и тыл, и нас, захребетников-интеллигентов. Выносливости твоей слава, простая русская баба. Спасибо, что сама выжила и миру жизнь вернула...

Открывая глаза Клавдии, Юлий Маркович испытывал возвышающее очищение. Он не ел лепешек из толченой коры, не мерз в окопах. Он не мог сказать сейчас русской бабе Клавдии: «Нас с тобой побратала жизнь». Побратать могла лишь предельная искренность: ставлю тебя по заслугам выше над собой, не сомневаюсь, что поймешь меня, не осудишь, ибо я сам уже себя осудил.

И еще тем усердней он возвеличивал Клавдию перед Клавдией, что в последнее время постоянно чувствовал к себе настороженность: «Ты не тот, кто способен оценить все русское». Ан нет! Если его дед носил пейсы, это не значит, что русское закрыто для него.

Клавдия олицетворяла русский народ, а вот родная дочь ее, тоже ведь прошедшая через чистилище Веселого Кавказа, наглядно русской почему-то не казалась. Раиса держалась обходительно: «Доброе утро вам... Извиняюсь... Много вам благодарна...» Но каменные ресницы, манерно оттопыренный палец, выправочка буфетчицы — как не похожа она на свою простую, родственно понятную мать!

Мать просит: «Помоги!» То есть приюти, оставь под своей крышей, введи в свою семью.

Как-то раз Юлий Маркович застал Раису за странным занятием — обмеряла веревочкой простенок в коридоре. Увидела Юлия Марковича, сунула веревочку в карман, похоже, смутилась, но только чуточку.

— Что это, Рая? — спросил он.

Она помедлила, глядя мимо, чопорно ответила:

— Сервант бы вам лучше сюда вынести, как раз встанет.

И ушла, ничего больше не объясняя,— голова в надменной посадочке: «Вас много, а я одна».

Старый сервант стоял в комнате Дины Лазаревны и Дашеньки. Зачем его выносить в тесный коридор? Юлий Маркович так ничего и не понял.

Ночью, перед сном, он вспомнил этот случай и рассказал жене. Дина Лазаревна долго молчала и вдруг тихо призналась:

— Я боюсь.

— Чего, Дина?

— Всего... И ты ведь тоже, не притворяйся... Юлик, хочу, чтоб она уехала.

Он помолчал и мягко возразил:

— Дина, вспомни Чехова.

— Что именно?

— Вспомни, как он говорил: надо, чтоб под дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и напоминал стуком, что есть несчастные. Дина, до сих пор мы были непозволительно счастливы. Она ела толченую кору. Нам стучат, Дина, а мы не хотим слышать.

Из окна падал свет уличного фонаря, освещал корешки книг и

внушительный медный барометр, подарок одного морского капитана Юлию Марковичу. В эту осень барометр неизменно показывал «ясно». Над Москвой стояло затяжное бабье лето.

Со стены нашего общежития отсыревшим голосом кричал репродуктор:

— Новое снижение цен на продукты массового потребления!.. Рост экономического благосостояния!.. Расцветание!..

На моей тумбочке лежит письмо матери. Мать пишет из села: «Картошки нынче накопала всего три мешка. Да мне одной много ли надо — проживу. Меня шибко выручает Маруська Бетехтина, она торгует сейчас в дежурке. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Карточки-то отменили, а хлеб у нас все равно по спискам продают. Для районного начальства по особым спискам даже белый хлебец отпускается. Через Маруську-то и мне его перепадает. А вот сахару у нас нет ни для кого, даже для начальства...»

Надо матери послать килограмма два сахара. Такие расходы мой тощий карман как-нибудь выдержит.

— Очередное снижение!.. Рост благосостояния!.. Расцвет жизни!..

В Москве сахар не проблема. В бывшем Елисеевском на площади Пушкина прилавки ломятся от разных продуктов: колбасы всех сортов, окорока, художественно разрисованные торты, монолиты сливочного масла... Но из Москвы я не смогу отправить сахар матери — продуктовые посылки в городе не принимают. Придется сесть на электричку, уехать куда-нибудь под Загорск, подальше от столицы, оттуда отправить ящичек с двумя килограммами сахара в наше село, где хлеб распределяется по спискам и начальство пьет несладкий чай.

Радио бравурно наигрывает и хвалится:

— Снижение!.. Рост!.. Расцветание!..

Я подсчитал: от такого снижения в месяц сэкономлю... два рубля. Обед в столовой стоит худо-бедно пять рублей. «Снижение!.. Расцветание!..»

Эмка Мандель сидит на своей койке, чешет за пазухой, сопит, смотрит в одну точку и неожиданно рожает четверостишие:

— А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.

Радио восторженно играет, мы смеемся.

— Талант — штука опасная! — вдруг изрекает из угла некто Тихий Гришка.

Ему уже за тридцать, среди нас он считается стариком, всегда молчалив, всегда обособлен, в своем углу, как крот в норе. Но если он раскрывает рот, то почти всегда выдает закругленную истину — банальность и откровение одновременно.

Эмка отбивает мяч:

— Старик! Ты в полной безопасности!

Должно быть, Раиса родилась под счастливой звездой. Все получилось неожиданно легко и быстро. Без помех отыскался старый знакомый Семена Вейсаха, который когда-то помог прописать Клавдию. Он по-прежнему работал в горисполкоме, занимал еще более высокое место, слышал о беде Семена, сочувствовал ему, готов был исполнить просьбу Юлия Марковича. Телефонного звонка в отделение милиции было достаточно, чтобы на периферийный паспорт Раисы поставили штамп: «Прописана временно». С Юлия же Марковича взяли лишь расписку, заверенную жилуправлением, что не возражает прописать на свою площадь гражданку Митрохину Раису Дмитриевну.

Операция проводилась с помощью имени Семена Вейсаха, а потому его пригласили на чашку чая. Юлий Маркович никак не мог забыть свинцового лица друга Семена, его самостийно подмигивающего глаза.

В пятнадцать лет Вейсах воевал у Котовского. Легендарный комбриг, как говорят, ласково называл его: «Образцово-показательный жид у меня». Вейсах специализировался по военной литературе, участвовал в свое время в разных объединениях — ВАППе, ЛЕФе, ЛОКАФе, из писателей больше всего чтил своего старшего друга Матэ Залку, в свое время рвался вместе с ним в Испанию, но что-то помешало — не уехал, еще недавно он носил на пухлых широких плечах полковничьи погоны. Сейчас у Семена на висках проступила нездоровая маслянистая желтизна, крупная нижняя губа отвалилась, как у деревенской заезженной лошади, во влажных глазах неизбывная печаль детей Авраамовых. Он пил чай, грустненько, в осторожных выражениях сообщал: «Воениздат» передал сборник очерков о партизанах другому составителю, договор на его книгу о Петре Вершигоре расторгнут...

Клавдия подсовывала Семену бутерброды с колбасой, вздыхала, а Раиса разглядывала его внимательным взглядом, словно оценивала про себя надетый на Семена пиджак. И Семен, должно, чувствовал этот взгляд, горбился, блуждал печальными глазами по сторонам.

— Юлик...— негромко произнес Семен после мучительного молчания,— Ася недавно продала свою шубу... И вот мы опять... без копейки.

— Да ради бога, Сима!..

Дина Лазаревна сорвалась с места, исчезла в соседней комнате, через полминуты вернулась с деньгами. Семен меланхолично их принял, опустил в карман и встретился взглядом с Раисой, веко его дернулось и глаз вызывающе подмигнул. Раиса равнодушно отвернулась, а Семен сразу заторопился:

— Мне пора... Уже поздно.

Юлий Маркович проводил его до дверей. В шляпе, в плаще, неповоротливо громоздкий Семен взял ватной рукой за локоть, дыхнул в лицо запахом только что съеденной колбасы.

— Юлька...— почти беззвучно шевельнул он отвалившейся лошадиной губой,— берегись!..— И качнул в сторону комнаты подбородком, где вместе со всеми за чайным столом сидела Раиса, произнес вслух, извиняясь: — Я теперь стал ясновидящим.

Он боком вывалился на лестничную площадку, оставив после себя тревожное предчувствие беды.

Беда вошла в дом через щель почтового ящика в служебном конверте со штампом вместо марки. Ничего особого — бумажка из парткома, Юлия Марковича просили явиться в назначенное время.

Секретаря парткома Юлий Маркович близко не знал, платил ему членские взносы и раскланивался в коридорах Дома литераторов. Ширпотребовский мятый костюмчик, обкатанная голова, простоватое лицо — когда-то что-то написал и напечатал, в свое время с должными усилиями прошел в члены Союза, не переживал головокружительного литературного успеха, ординарно скромен. Заурядность выдвигает людей чаще, чем дерзкая энергия и яркий талант. Заурядные никого не пугают. На тайных голосованиях эти люди получают подавляющее большинство голосов.

Секретарь парткома долго рылся в ящике письменного стола, и лицо его, кроме привычной озабоченности, выражало сейчас брюзгливенько несчастье: «Вы тут черт не что вытворяете, а я расхлебывай».

— Вот...—он вынул нужные бумаги, положил на них ладонь и взглянул на Юлия Марковича не начальственно, не строго, а скорей с досадою.— На вас поступила... М-м-м... Скажем так — жалоба.

— От кого?

Секретарь парткома пожал плечами, считая вопрос неуместным, продолжал:

— Надо признать — крайне глупая. Вот извольте, что стоит такое: «Кто это письмо прочтет, тот правду найдет...»

Тоскливенький холодок поплыл из глубины, от живота к горлу. Клавдия часто показывала Юлию Марковичу письма Раечки, он знал ее стиль: «Мое сердце без тебя, словно ива без ручья...»

— Вы, кажется, знаете, кто автор?

— Догадываюсь. Так что она там?..

— Она... гм... она пишет... «Член партии, писатель Искин Юлий Маркович принимает у себя дома подозрительных людей, которые ему жалуются на Советскую власть. Искин Ю. М. снабжает их деньгами на тайные цели. Он, Искин Ю. М., полный двурушник — в разговорах хвалит русскую нацию, а как на деле, то ненавидит. Простую русскую женщину, которую он у себя держит в прислугах, выпихнул на кухню, а сам живет в двух комнатах — одна шестнадцать квадратных метров, другая двадцать два...» — Секретарь, поморщившись, отодвинул письмо: — Вот, чем богаты, тем и рады.

«Сервант бы вам лучше сюда вынести...» До того, как он, Юлий Маркович, помог прописаться, она уже обмеривала веревочкой его жилплощадь.

— Вы хотите, чтоб я оправдывался? — спросил Юлий Маркович.

— А что делать? Мы обязаны внюхиваться, вы — очищаться.

— Письмо без подписи?

— Да, анонимка.

— Даже при царе Алексее Михайловиче не принимали анонимок. Каждый, кто кричал «Слово и дело!», должен был называть себя.

— При царе Горохе, может, и так, а я вот не могу выбросить этот букетик. Вписано в книгу, пронумеровано — документ!

— Тогда разрешите на него официально вам заявить: я не принимал у себя антисоветски настроенных людей, не вел с ними подрывные разговоры, не снабжал их деньгами на тайные цели... Вас это устроит?

— Вполне. Напишите объяснение, что у вас никто не бывал... кто бы вас мог как-то скомпрометировать.

Секретарь ждал краткого и решительного — никто. Но Юлий Маркович не мог так ответить. Соврать ради простоты столь же опасно, как выбросить в мусорную корзину анонимку.

— У меня бывал Вейсах... Семен Вейсах... Мы с ним двадцать пять лет знакомы.

Секретарь парткома тоскливо отвел глаза, и лицо его сразу же стало брюзгливо несчастным.

— Не хочу допрашивать вас, о чем вы там с ним говорили, но надеюсь... надеюсь — вы хотя бы не давали ему денег.

— Давал... Он сейчас без копейки.

В громадной, отделанной черным дубом комнате с величественным камином, где в углу сиротливо (за неимением другого места) ютился стол секретаря парткома, наступила тишина.

— Худо, Юлий Маркович, худо...— произнес наконец секретарь.— Я не хотел это выносить на обсуждение комитета... Не могу.

Это «не могу» были последние дружелюбные слова — взгляд стал скользить куда-то мимо уха Юлия Марковича, лицо обрело деловую сухость.

Позднее Юлий Маркович вспоминал об этом человеке только с обидой. Как быстро в нем иссякло сочувствие! Как легко он согласился на «не могу»! Как мало в нем было человеческого!

Но что бы ты сделал на его месте?

Выбросил письмо-анонимку в мусорную корзину, зная наперед, что при первой же проверке документации обнаружилось бы — исчезла бесследно бумага под входящим номером таким-то?

Или отмахнулся от факта, что такой-то имярек принимал человека, обличенного в нелояльности, ссужал ему деньги?

Но ты, конечно, постарался хотя бы посочувствовать — не глядел бы мимо, не корчил бы постную рожу.

Отказать в помощи и посочувствовать — экая добродетель! Куда честней откровенно признаться: не могу по справедливости, могу только по-казенному. Бесчувственное лицо, взгляд мимо.

Но иногда же нужно и через не могу. Во имя человечности будь подвижником!

Напрашивается вопрос: каждый ли на это способен?

Честно спроси себя: способен ли ты?

Ну, а если даже способен, то новый вопрос, уже совсем крамольный: так ли спасительно благородное подвижничество?

На минуту представим себе нечто невозможное: например, все сытые в голодном тридцать третьем году стали вдруг подвижниками, решили в ущерб себе делиться с голодающими последним куском хлеба. Невозможно, но представим — все сытые подвижники! И что же, спасет их подвижничество страну от голода? Увы! Причина голода не в том, что кто-то чрезмерно обжирается. Нужны какие-то иные меры, не подвижничество, иная деятельность, не столь героическая и красивая.

Джордано Бруно подвижнически взошел на костер. Но прежде он открыл некие секреты мироздания, создал новые теории. Сначала создал, а уж потом имел мужество не отказаться от созданного.

А вот Галилей таким мужеством не обладал или же не считал нужным его проявлять. Он отрекся от своих теорий, его подвижничество подмочено. Но благодарное человечество все-таки чаще обращается к имени Галилея, чем к Джордано Бруно. Просто потому, что Галилей больше создал для науки.

До сих пор люди еще не желают понять, что мужество без созидания — бессмыслица!

Изменить жизнь подвижничеством, делать ставку на некие героические акты. Нет! На такое можно решиться не от хорошей жизни. Да и не от большого ума.

Не мной первым сказано: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Только Дашенька легла спать. В стенах, тесно обложенных книгами, собралось все население квартиры — Дина Лазаревна с цветущим красными пятнами лицом, Клавдия, приткнувшаяся на краешке дивана, и Раиса, плотно опустившаяся на предложенный стул.

Она подрагивает крашеными ресницами, глядит в сторону — губы обиженно поджаты, скулы каменны. Юлий Маркович возвышается над ней. Он старается изо всех сил, чтоб голос звучал спокойно и холодно.

— Раиса Дмитриевна! Прошу ответить!..

Суд при всех, суд на глазах ее матери. Он не продлится долго. Юлий Маркович вынесет приговор и протянет руку к двери: «Убирайтесь вон! Вам здесь не место!»

Подрагивающие угольные ресницы, обиженно поджатые губы, упрямая твердость в широких скулах. Она начнет сейчас оскорбляться:

«Ничего не знаю, напрасно вы...» Не поможет! Рука в сторону двери: «Вон!» Неколебимо.

Но Раиса, метнув пасмурный из-под ресниц взгляд, порозовев скулами, проговорила с вызывающей сипотцой:

— Ну, сделала...

Юлий Маркович растерянно молчал.

— Потому что должна же правду найти.

— Правду?

— Образованные, а недогадливые. Вы вона как широко устроились — втроем в двух комнатах с кухней, а нам у порожка местечко из милости — живите да себя помните. А помнить-то себя вы должны, потому что люди-то вы какие... Не забывайтеся! — Упрямая убежденность и скрытая угроза в сипловатом голосе.

— Какие люди, Раиса Дмитриевна?

— Да уж не такие, как мы. Сами, поди, знаете. Разрослись по нашей земле цветики-василечки, колосу места нету.

Прямой взгляд из-под крашеных ресниц, прямой и неломкий, с тлеющей искрой. И Юлию Марковичу стало не по себе. Эта женщина ничем не может гордиться: ни умом, ни талантом, ни красотой, только одним — на своей земле живу! Единственное, что есть за душой попробуй отнять.

Юлий Маркович обернулся к Клавдии и увидел в ее глазах и в ее печальной вязи морщинок мягкую укоризну: «Ты что, милушко, дивишься? Ты же сам мне все время только то и втолковывал, что вы-де, русские, в Веселом Кавказе рожденные, не чета нам всем, миром кланяться нам должны...»

Светлые, бесхитростные глаза, никак не схожие с глазами дочери, заполненные утрюмой, обжигающей неприязнью, глаза любящие и всепрощающие, ласковые и преданные... Тем страшней приговор, что вынесен с любовью.

Он стоял и тупо смотрел на Клавдию, смотрел и не шевелился. И вдруг вскинула руки Дина Лазаревна, вцепилась в волосы, рухнула на диван. Между стенами, забитыми книгами, заметался ее клокочущий горловой голос:

— Господи! Господи! Куда спрятаться? Ку-уд-да?!

Раньше Юлия Марковича встрепенулась Клавдия:

— Динушка! Да ты что, родная?.. Да успокойсь, успокойсь! Христос с тобой!

Раиса сидела величавым памятником посреди комнаты, только крашеные ресницы подрагивали на розовом лице. Юлий Маркович пришел в себя:

— Уходи-те! Все уходите!.. Раиса Дмитриевна, ради бога!.. И ты, Клавдия, тоже!..

Нет, он не говорил «вон!». Не требовал, а просил: «Ради бога!»

Раиса не шевелилась.

Секретарь парткома произнес свое «не могу» и передал вопрос на обсуждение комитета.

Казалось бы, ну и что?

Один ум хорошо, два лучше. Если уж секретарь парткома, никак не Сократ, своим умом дошел — нечистоплотная ложь, то, наверное, двадцать пять членов парткома это поймут скорей.

Один ум, два ума, три... Простое сложение редко дает верный результат в жизни. Опасность таилась именно в численности комитетского поголовья — двадцать пять членов! Среди них наверняка окажется хотя бы один, который носит испепеляющее желание проявить себя любыми способами, не считаясь ни с кем и ни с чем. Хотя бы один... Но скорей всего таких будет больше.

По всей стране идет облава на космополитов. Тому, кто желает проявить себя любыми путями, как упустить удобную жертву, как не крикнуть: «Ату его!»

Несколько человек — скажем, пятеро — прокричат кровожадно охотничье «ату», а два десятка их не поддержат. Два десятка против пяти — явное большинство, это ли не гарантия, что Юлий Искин вне опасности.

Увы, легион не всегда сильнее кучки.

Идет облава по стране, радио и газеты подогревают охотничий азарт. Легко крикнуть: «Ату!», почти невозможно: «Побойтесь бога!» Безопасно гнать дичь, опасно ее спасать.

Если даже один — только один! — начнет травить Искина, остальные будут молчать. «Ату его!» может раздаться над любым.

Положение еще обострялось и тем, что Юлию Искину не могли вынести **легкого** наказания. Или встреча с Вейсахом и деньги, ему данные,— просто дружеское участие, помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, что в общем-то непредосудительно и уж никак не наказуемо. Или же эта встреча — некий акт групповых действий, а деньги — не что иное, как практическая помощь при тайном заговоре. В этом случае партком обязан прекратить обсуждение и передать Искина вместе с его тяжелой виной уже в руки... госбезопасности. Или — или, середины нет.

Что называется, пахло жареным.

Он никогда ни о чем не просил своего старого друга Фадеева, ни разу не прибегал к его высокой помощи. Но или — или, тут уж не до щепетильности.

Он позвонил Фадееву на дом...

Еще не выслушав всего до конца, Фадеев взорвался на том конце провода:

— Да что они с ума сошли! Идиоты! Перестраховщики! Бдительность подменять мнительностью!..— Тут же с ходу он нашел решение: — Иди прямо в райком! А я туда немедленно позвоню.

Это, право же, был простой и верный ход. Глава советских писателей Александр Фадеев не мог вмешиваться в работу партийного комитета: «Прекратите, мол, дурить!» В райкоме же партии непременно прислушаются к слову известного писателя, члена ЦК. Партком полностью подчинен райкому. «Прекратите дурить!» И прекратят. И забудут.

Юлий Маркович в Краснопресненском райкоме был незамедлительно принят одним из секретарей, женщиной средних лет в темно-синем костюме и белой кофточке, с моложавым миловидным лицом, с чистым голубым взором.

Странно, но под этим голубым взором Юлий Маркович сразу почти физически ощутил, что у него семитский изгиб носа, рыжина неславянского оттенка, врожденная скорбность в складках губ, характерная для разбросанного по планете мессианского племени.

— Вы давно знаете Вейсаха? — участливый вопрос.

— Лет двадцать пять, если не больше.

— И в последнее время тоже были близко знакомы?

— Боле-мене.

— Вы не замечали в его поведении ничего предосудительного?

— Ничего.— Мог ли он ответить иначе.
— Вы были на собрании, когда обсуждали Вейсаха?
— Был.
— Почему же вы тогда не протестовали?

Голубой взор и участливый голос. Юлий Маркович ощущал признаки семитства на своей физиономии. Секретарь райкома глядела на него, он молчал.

— Вашего старого друга осуждали. И вы знали, что он ни в чем не повинен. Так почему же вы не встали и открыто не заявили об этом?

Голубые глаза, прилежно завитые светлые волосы, в миловидном лице терпеливая, почти материнская требовательность: почему?

На собрании тогда кричали: «Позор! Позор!» И он сидел в самом углу, тихо сидел... И после собрания он не осмелился подойти к другу Семену... Оплывшая фигура, свинцовая физиономия, сам собой подмигивающий глаз.

Юлий Маркович ответил сколовшимся голосом:

— Я... Я, наверное, не обладаю достаточным мужеством...

Сокрушенная гримаска в ответ.

И он понял: летит вниз, надо сию же минуту за что-то ухватиться. Он заговорил с раздраженной обидой:

— Послушайте, почему вы не вспоминаете о письме? Без этого письма никто и не подумал бы меня подозревать! Освободите меня сначала от ложных обвинений, а уж потом накажите... за слепоту, за отсутствие бдительности, за трусость, наконец! Со строгостью!..

— Письмо?..— удивилась она.— Ах да, да...— И брезгливо передернула плечиками: — Эта анонимка... Товарищ Искин! Не считаете ли вы, что мы идем на поводу анонимщиков?.. Лично я исхожу сейчас только из фактов, которые вы мне изложили.

Нужно ли вспоминать о прогоревшей спичке, когда уже вспыхнул пожар. Юлий Маркович сидел, уронив голову.

Секретарь райкома встала, ласково протянула ему руку:

— Мы попросим, чтоб товарищи разобрались в вашем деле со всей беспристрастностью.

Он был уже у дверей, когда она его окликнула:

— Товарищ Искин! А между прочим, Александр Александрович Фадеев на том собрании выступал против этого... Вейсаха. Да! И со всей решительностью.

Юлий Маркович в ту минуту был слишком оглушен неудачей, не осознал трагической значительности этой фразы.

Для секретаря райкома с миловидным лицом и голубым взором открылось странное...

Фадеев ходатайствует о защите некоего Искина.

Этот Искин — старый друг осужденного писательской общественностью Вейсаха.

И не только друг... Искин сам признался: не выступил в защиту Вейсаха потому лишь, что не обладал достаточным мужеством. Не только друг, но и единомышленник.

Фадеев вместе со всеми осуждал Вейсаха. Больше того, он возглавлял это осуждение.

И Фадеев защищает единомышленника Вейсаха!

Странно и многозначительно.

Голубоокий секретарь райкома не мог взять на себя ответственность — уличить, осудить, наказать! Слишком гигантская фигура Александр Фадеев, чтоб схватить его белой ручкой за воротник — не дотянешься. И секретарь райкома сделала то, что и следовало в таких случаях делать,— передала на рассмотрение в более высокую инстанцию, в горком партии.

Но и в Московском горкоме не нашлось охотников хватать Фадеева за воротник. Передали дальше, в ЦК.

А в здании на Старой площади, в правом крыле, в отделе культуры — заминочка. Уж кто-кто, а Фадеев-то хорошо известен Самому. Тащить наверх, к Самому?.. Дело-то не очень значительное, никак не срочное, подумаешь, Фадеев защищает какого-то Искина... Спрятать под сукно, забыть — тоже опасно. Литераторы народ скандальный, ревниво следят друг за другом, вдруг кто-нибудь из маститых заявит... Сталин шутить не любит.

И в кулуарах Дома литераторов потянуло сквознячком, зашелестело имя Фадеева. И кой-кто уже мысленно рисовал себе картину — Союз писателей без Фадеева во главе. А кто — вместо? А кто будет вместо того, кто — вместо? Возможна крупная перестроечка... Слухи, слухи, осторожненькая возня.

А в «Литературной газете» — статья о связи с народом, перечислялись еще раз ранее разоблаченные безродные космополиты, среди них Семен Вейсах... И целый абзац посвящен Юлию Искину — тоже оторвавшийся, тоже безродный.

Каждому ясно: Искин — ничтожная фигура. Бьют Искина, а попадают-то по...

Он — безродный.

Если вдуматься, что за странное обвинение. Каждый человек где-то родился, каждый может указать место на карте: «Я появился на свет здесь!» И при этом нелепо испытывать стыд или гордость, считать — удачно родился или неудачно. Можно рассуждать о том, чем и как отличаются Холмогоры от Симбирска: меньше по населению — больше, дальше от коммуникаций — ближе к ним, культурней — некультурней, но никак нельзя оценить эти два географических пункта в плане родины — мол, предпочтительней в Симбирске, чем в Холмогорах, одно лучше, другое хуже. И уж совсем нелепо оценивать человека по месту рождения: мол, имеет достойную родину, а потому и сам достоин уважения, и наоборот.

Он, Юлий Маркович Искин,— безродный!..

Да нет же! Он родился в самом центре России — в Москве! Так уж случилось, тут нет его личной заслуги. Он всю жизнь провел в этом городе, помнит Охотный ряд с бабами-пирожницами, сидящими на морозе на горшках с углями, помнит и Красную площадь без Мавзолея, и Садовое кольцо, когда оно действительно было садовым.

И все-таки безродный!

Но почему бы тогда не называть безродным великого Сталина? Право же, родился в Грузии, с юности живет в России, чаще говорит по-русски, чем по-грузински, а не столь давно на весь мир заявил: русская нация «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», русский народ — «руководящий народ». Выходит, предпочел чужую нацию своей, чужой народ своему кровному — космополитический акт, безродный по духу.

И Сталина славят за эту безродность.

А Юлия Искина клянут: не имеешь права считать своей родиной Москву, всю Россию!

Неудачно родился, не там, где следует.

А где?..

Если можно отнять жизнь, отнять свободу, то почему нельзя отнять у человека родину?..

Быть может, впервые в жизни Юлий Маркович бунтовал про себя, тихо, тайком, закрывшись один в кабинете, боясь поделиться своим бунтарством даже с женой.

В самом начале тридцатых годов мимо него прошла коллективизация — не бунтовал, даже восхищался: «Революция сверху!»

В тридцать седьмом уже не восхищался. «Господи! Киршона арестовали!..» Но смиренно жил, добропорядочно думал, не доходил в мыслях до бунта.

Тихий, тихий бунт в одиночку, когда сам себе становишься страшен.

Раздался телефонный звонок. Юлий Маркович почувствовал, как на ладонях выступил пот, бунтующие мысли легкой стаей, все до единой, выпорхнули вон из головы, осторожно снял трубку.

— Я вас слушаю.

Тишина, слышно только чье-то тяжелое дыхание.

— Я вас слушаю.

И сдавленный кашель, и слежавшийся голос:

— Это я... Выйди на улицу. Сейчас. Очень нужно.

Щелчок, короткие гудки — трубку повесили.

Юлия Марковича вдруг без перехода опалила злоба: это **он!** И он еще смеет звонить! Ему еще нужны тайные свидания под покровом темноты! Ему мало, что из-за него он, Юлий Искин, попал в петлю! Оставь хоть сейчас-то в покое! Нет!.. «Выйди, очень нужно».

И тем не менее Юлий Маркович, кипя внутри, поднялся из-за стола, пошел к вешалке.

В кухне друг против друга сидели Клавдия и Раиса, на столе перед ними стоял чайник, лежал батон белого хлеба. Пьют чай, о чем-то беседуют. Им тепло, им уютно — чай с сахаром, белый хлеб с маслом. Беседуют... О чем?

В зеркале у вешалки отразилось его лицо, зеленое, перекошенное, с беспокойными неискренними глазами. Страдая, что его видят из кухни, натянул пальто, надел шапку...

Большая Бронная, задворки Тверского бульвара, была тускло освещена и пустынна. За смутными нагромождениями домов слышался приглушенный шум моторов, перекличка машин. На празднично освещенной площади Пушкина, на улице Горького все еще бурлила вечерняя жизнь столицы.

Метнувшейся тенью пересекла вымершую мостовую кошка...

Он появился неожиданно, словно родился из каменной стены: облаченный в просторный плащ, с головой, втянутой в широкие плечи, походка ощупью, словно шагает по скользкому льду.

Юлий Маркович запустил поглубже руки в карманы, вскинул повыше голову, расправил грудь, приготовился встретить: «Ты заразен! Не хочу играть с тобой в конспираторы!»

Вейсах приблизился — свистящее астматическое дыхание, навешенный лоб, отвалившаяся лошадиная губа. Юлий Маркович не успел открыть рот.

— Ты!..— свистящий в лицо шепот.— Ты негодяй!.. Знаешь, в каком я положении, и треплешь всюду мое имя! Обо мне снова вспомнили, за меня снова взялись!

И у Юлия Марковича потемнело в глазах:

— Я?! Я — негодяй?!. А ты? Ты — прокаженный! Ты бы должен тихо сидеть!.. Лез за сочувствием!.. По твоей милости..

— Я — никого, ни одного имени, а ты?.. Ты сразу на блюдечке...

— Кто — кого на блюдечке или в завернутом виде!

— Не смей!

— Смею.

— Ты провокатор!

— Ты подсадная утка!

На обочине пустынной улицы, друг против друга, охваченные общим ужасом, бессильной ненавистью.

В стороне послышался торопливый стук каблучков по асфальту. Они сразу замолчали. Прошла женщина, стихли в глубине улицы ее шаги. Они продолжали неловко молчать.

Наконец первым, дрогнув губой, со всхлипом произнес Семен:

— За мной, кажется, скоро придут.

— Теперь неизвестно, за кем раньше.

— Юлик, извини... Я просто не нахожу себе места.

— Нам не надо делать новых глупостей, Семен.

— Да, да, не надо... Я пошел.

— До свидания, Сеня.

Только и всего. Ненависть выгнала их навстречу друг другу, обоюдная жалость вновь их разъединила.

Время от времени Фадеев отказывался нести бремя власти.

Ибо кто, кроме царя, может считать себя несчастным от потери царства? — сказал некогда Блез Паскаль, подразумевая, что, помимо высокого несчастья, царь не избавлен и от обычных человеческих несчастий, может, как все, страдать от несварения желудка и камней в почках, как все, горевать об утрате близких. Так сказать, царь более несчастное существо, чем его подданный. А еще проще — высокопоставленному живется труднее.

И в самые трудные моменты, когда события перепутывались в тугой узел, когда высокие обязанности начинали противоречить совести, когда черное нужно было принимать за белое, а белое за черное, Александр Фадеев делал вдруг — должно быть, неожиданный сам для себя — нырок... на дно. Исчезал из предопределенной ему жизни.

Его ждал загруженный день. С утра он хотел усадить себя за стол. Он все еще жил надсадной надеждой, что наткнется на что-то такое, откроет сокровенное, удивит мир силой своего таланта. Он сыт был славой, нужно самопризнание.

К двенадцати дня он должен быть в Правлении Союза. В час он принимал у себя известного латиноамериканского писателя. В три — совещание секретариата: отчет комиссии по литературам братских республик, обсуждение кандидатур, выдвинутых на Сталинскую премию, вопрос о возобновлении издания очеркового альманаха, основанного еще Горьким, прекратившего с войной свое существование. В шесть часов он должен быть в ЦК в Отделе культуры — звонили вчера вечером, договорились о встрече: «Нужно утрясти один вопросик». В ЦК его вызывали часто, этому звонку он не придавал особого значения.

Как всегда, усевшись за стол, он принялся ворошить газеты. В «Литературке» сразу же наткнулся на статью, где целым абзацем разоблачался Юлий Искин...

Сразу стало ясно, почему в последние дни он часто перехватывал испытующие взгляды, почему при его приближении наступало молчание... И вчерашний звонок из ЦК: «Утрясти вопросик...» — наигранно небрежным голосом...

Не впервой с некоторым опозданием он открывал для себя притаившееся, тесно сплоченное недоброжелательство тех, кто всегда

преданно смотрит ему в рот. И каждый раз это вызывало не возмущение, не гнев, а тягостную безнадежность.

Что, собственно, стоит его шумный успех? Что стоят неумеренные восторги по роману «Молодая гвардия» — скоропалительной библии послевоенных лет! — который он написал по заказу, против своего желания, вначале стыдился, потом уверовал: если принимает народ, то в самом деле, должно быть, хорош. И что стоят его выступления на многочисленных собраниях, когда он говорит не то, что чувствует, а то, что от него ждут. Он поступает не так, как считает нужным,— приспособляется. Не хозяин положения, не хозяин себе, и все, что он делает, завтра будет погребено под новым наслоением столь же незначительных дел. Он временщик и творит временное.

И, как всегда, от мутной безнадежности потянуло куда-то, к кому-то, нет, не к тем, кто способен помочь — этого никто не может,— способен понять.

И он заторопился, заранее страдая от того, что могут окликнуть, задержать, что на лестнице, возможно, встретятся знакомые, придется здороваться, говорить о пустяках и прятать, прятать голодное выражение лица.

Дощатые забегаловки и пивные ларьки, где продавали водку в розлив, открывались поздно, и алчущие сбивались к гастрономическим магазинам. Рыхлые, с темными воспаленными физиономиями, с ухватками службистов — деловитые завсегдатаи-алкаши; не завсегдатаи — просто желающие «поправиться», болезненно зябнущие после вчерашнего перепоя; свихнувшиеся папаши хороших семейств, прячущие в поднятые воротники пальто истомленно-брезгливые лица; рабочие, еще не ставшие подонками; подонки, еще не свалившиеся под свой последний забор,— разнообразен состав тех, кто не может начать день грядущий без ста пятидесяти граммов. Среди них бывали люди, которыми гордится Россия.

Навстречу Фадееву сразу же качнулся мужчина в расхлюстанном без пуговиц полупальто, с физиономией, состоящей из мешочков, складочек и ржавой щетины.

— Башашкиным будешь?

Башашкин — недавно вошедший в известность футболист, третий номер в защите. И член ЦК, глава советских писателей Александр Фадеев согласился стать «Башашкиным». Раньше Фадеева к ржавомордому примкнул парень-рабочий с волевой челюстью и виновато увиливающими от прямого взгляда зрачками, начинающий алкоголик, еще сохранивший пока способность стыдиться самого себя.

Через пять минут они сидели на скамейке в истоптанном скверике, истово делили водку из зеленой поллитровки в граненый стакан, заблаговременно припасенный ржавомордым. Стакан был один, пили по очереди:

— Будьте здоровы!

От всего сердца, почти влюбленно.

Фадеев сразу же послал за второй бутылкой. И, опрокинув по второй, он заговорил, что жизнь становится «сквозно бессовестной». Говорил Фадеев с фадеевской искренней силой, которая пьянила самых трезвых, искушенных делала сентиментальными. Два случайных алкоголика — старый и молодой — слушали его, не понимали, но верили каждому звуку. Молодой не выдержал и воскликнул:

— Мать честна! Живешь среди свиней да вдруг наскочишь — какие люди бывают на свете!

Этого полупьяного признания было достаточно,— Фадеев поднялся и потребовал:

— Пошли!

Они продолжали в грязном, дымном ресторане Павелецкого вокзала. Там свалился старый алкаш и вместо него подхвачен какой-то командировочный. И уже кончились возвышенные речи, были только излияния:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Его любили и уважали здесь не за то, что знаменитый писатель, высокопоставленное лицо, просто так — «за натуру».

А в Правлении Союза легкий переполох: латиноамериканца должен принимать кто-то другой. И обзванивали членов секретариата: «Александр Александрович болен. Александр Александрович сегодня не может присутствовать. И завтра навряд ли...»

У Павелецкого вокзала они взяли такси и поехали за город, в Переделкино.

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Латиноамериканский писатель счел своим долгом вежливо осведомиться: какая болезнь свалила господина Фадеева? Ему любезно и скупо ответили: «Сердечная недостаточность». Совещание секретариата решили не откладывать. Жизнь продолжала течь по своему руслу.

А Фадеев выбросился из этой мутной реки на счастливый остров:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Так могло тянуться несколько дней, недель, целый месяц — в сплошном угаре любви и уважения.

Рано ли поздно угар проходит, надо снова окунаться в мутный поток неоскудевающей жизни, обессиленно отдаваться течению.

И телефонный звонок из Отдела культуры ЦК партии уже сторожил его:

— Александр Александрович, тут нужно бы уяснить нам с вами... Не выберете ли время?..

В высшем органе партии сидят вовсе не враждебные Фадееву люди. Фадеева дискредитирует сейчас малое — странное заступничество за Искина. Всем известно, что Искин друг и единомышленник Вейсаха, Вейсах осужден самим Фадеевым, так в чем же дело?..

— Александр Александрович, вы должны отмежеваться... и решительно!

А если он этого не захочет?!

Снова беги и выбрасывайся на счастливый берег?

Все равно рано или поздно приплывешь к тому же месту, откуда выбрасывался. Ты человек государственный, сам себе не принадлежишь.

Под дубовыми сводами тесного зала вновь собрались литераторы Москвы, прославленные и безвестные, пережившие самих себя и еще совсем незрелая мелкота, вроде нас, студентов литинститута, сумевших просочиться в этот высокий ареопаг.

Фадеев сидел на председательском месте, во главе президиума, расправив широкие плечи, с высоко поднятой головой — величественный без спесивости, суровый без насупленности — вождь, не утративший демократической простоты. Мягкая седина, обрамлявшая красивый лоб, оттенялась строгим мраком парадного костюма, застенчиво искрилась блестка лауреатской медали на лацкане.

А собрание шло, как всегда,— возбужденно до неистовости. Выступающие потрясали кулаками над трибуной, а из зала неслись вопли: «Позор! Позор!!»

И по обычаю требовали — на трибуну! На лобное место! Чтобы лицезреть! Чтоб наслаждаться! Юлий Искин, сутулящийся под тяжестью головы, с несолидным носом ястребенка, еще не созревшего до хищника, мертвенно-бледный, вызвал у зала брезгливую жалость и чувство победности.

— Позор! Позор!!

Со всей благородной неистовостью.

Мой отец неукротимо верил в лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Всех стран, всех наций! И над моей кроватью когда-то висел плакат — негр, китаец и европеец под красным знаменем. И в моей школьной хрестоматии была тогда помещена «Гренада», поэма Михаила Светлова, который сейчас находится где-то здесь рядом, в ресторане, а может, даже и в самом зале.

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

В наших северных лесах как-то не водились евреи, мне чаще приходилось о них слышать, а не видеть, как о неграх, как о китайских кули, как и об испанцах... Я любил далеких евреев наряду с неграми. Позднее я столкнулся с ними и немного разочаровался — слишком уж обычны, не лучше меня, не несчастнее.

Что такое космополитизм?

И что такое интернационализм?

Как бы ответил на эти вопросы мой отец?

Отца нет — погиб на фронте, спросить не могу.

— По-зор! По-зор!!

Я не кричал вместе со всеми. Что-то меня останавливало.

Зал притих, когда Фадеев двинулся к трибуне. Что скажет? Как объяснит свою попытку спасти растленного космополита Искина?

Фадеев разложил на трибуне бумаги, нацепил очки и стал профессорски строг.

— Товарищи!..

Зал притих, зал внимал.

— Идеологическая диверсия... Люди без роду без племени — готовый материал для диверсантов... Учиться бдительности... Никто не гарантирован от благодушествования... Должен открыто сознаться... Искин! Один из первых комсомольцев, рабкор, вспоенный и вскормленный... Где и когда ты, Юлий Искин, продал родину?..

Зал аплодировал, зал воодушевленно вопил:

— Позор! Позор!!

На Тверском бульваре стояли синие сумерки, еще не зажглись фонари. Под ногами шуршал палый лист, и пахло почему-то мякинной пресностью давно сжатых полей. Бабье лето так затянулось, оно так устойчиво прекрасно, что становится даже не по себе — уж не перед страшным ли судом людям отпущена эта благодать в таком излишке?

Все ребята разбрелись кто куда. Те, у кого были хоть какие-то деньги, остались в ярко освещенном, шумном ресторане Дома литераторов. У кого в Москве были знакомые, укатили в гости. В нашем студенческом подвале сейчас пусто, praванивает плесенью и лежалым бельем, как в каптерке ротного старшины.

Парочки по-весеннему целуются на скамейках. Я выбрал скамейку, свободную от парочек, и уселся. Шаркая подошвами по палым листьям, двигались бесконечные прохожие. Вспыхнули фонари — матовые луны по ранжиру среди голых ветвей.

Рядом со мной опустился человек в кепке с длинным твердым козырьком, с узким лицом и ломко хрящеватым носом. И я сразу узнал его — тот самый пророк прохожий, который рассуждал с нами о классовой ненависти. Я обрадовался: худо быть одному в населенном бульваре, где целуются парочки.

— Вы не помните меня?

Он не спеша с достоинством повернул в мою сторону свой угловатый нос под твердым, агрессивно выпирающим козырьком, сказал:

— Так ли уж важно — помню ли я, помните вы. Вам хочется услышать человеческий голос, мне — тоже. Поговорим.

— Хороший вечер, господин непомнящий.

— Вам хочется что-то спросить меня. Не стесняйтесь.

И я спросил:

— Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?

Он ответил почти любезно:

— Должно быть, тем же, чем голова от башки.

— Почему же тогда космополитизм осуждается?

— Действительно — почему? Белинский называл себя космополитом, и Маркс... Люди, пользующиеся у нас уважением.

— Ну, а сионисты, эта организация... Они не выдуманы, они на самом деле есть?

— Если были немецкие националисты, если есть русские, то почему бы не быть еврейским?

— Как-то вы всех в одну кучу.

— Несхожи?

— Нет.

— Комнатная болонка тоже не похожа на дога, но суть-то у них одна — собачья.

— Одна суть у немецких фашистов и у сионистов?

— И у наших русопятов тоже. Не выгораживайте. Все одной собачьей породы, только возможности разные. Если б сионисты были столь же крупны и зубасты, как германские нацисты, наверняка стали бы так же опасны для мира.

— Мы крупны... Мы, наверное, и зубасты...— произнес я, чувствуя, как подымается во мне враждебность к этому бесцеремонному человеку.

— То-то и оно,— не моргнув глазом, согласился незнакомец.— Известный ученый Лоренц как-то сказал: «Я счастлив, что принадлежу к нации, слишком маленькой для того, чтобы совершать большие глупости». Он был голландцем, ну а мы с вами — русские. Нас двести миллионов.

— Вы стыдитесь, что вы русский? — спросил я.

Он сидел, распрямившись, тощий, со взведенными хрупкими плечиками,— узкое лицо, скривленный нос, остро врезающийся в густую тень под козырьком, надежно укрытые глаза.

— Нет,— сказал он наконец. — Но боюсь... Боюсь, как бы не пришлось стыдиться.— Помолчал, ощупывая меня из мрака настороженным под козырьком взглядом, добавил: — Молодой человек, разве вы не видите, что на это есть основания.

Почуяв в доме беду, заплакала в соседней комнате Дашенька. Дина Лазаревна оставила Юлия Марковича одного.

В кухне, как всегда по вечерам, сидели Клавдия с Раисой друг против друга за чайником, за початым батоном.

Тихо...

Стряслось непонятное. Сорок семь лет прожил на свете Юлий Маркович, мимо него прошли тысячи людей, знаменитых и безвестных, талантливых и заурядных. Самым ярким из этих тысяч, самым достойным был Саша Фадеев. Сколько раз глядел на него со стороны и удивлялся: умен, талантлив, открыт душой, даже внешность его какая-то триумфальная, в ней — мужество, в ней — сила, в ней — простота, бывают же такие! Юлий Маркович как одним из самых больших достижений своей жизни гордился, что в числе первых разглядел Фадеева. И этот лучший из людей сегодня на глазах всех, без жалости, не терзаясь совестью... И ложь, ложь, грубая, наглая, бесстыдная! «Вспоенный, вскормленный, продал родину!..» Лучший из людей! Противоестественно! Безобразное чудо! Не хочется жить.

Зазвонил на столе телефон. Опять Вейсах?.. Ах, все равно, все равно! Он не станет ругаться с Семеном. И встречаться с ним тоже не станет. Зачем?..

— Я слушаю.

— Юлий... Выйди, пожалуйста... К памятнику Пушкина.

Щелчок. Трубку положили. Набегающие друг на друга гудки.

Не Вейсах, другой голос. И Юлий Маркович запоздало узнал — перехватило дыхание.

Голос Фадеева звал его.

Шли мимо прохожие. И один из прохожих в потасканном пальтишке, в кепке с длинным козырьком сидел передо мной.

Я переспросил его:

— Как бы не пришлось стыдиться?.. Чего?

— Того же, чего стыдится сейчас любой честный немец: газовых камер, рвов, набитых расстрелянными детьми, мыла, сваренного из человеческих трупов.

— Гитлер же со своей сволочью повинен, не нация. Отделяйте одно от другого,— сердито сказал я.

— Гитлеры-то, молодой человек, появляются не по божьей воле, их творит нация.

— Виновата нация, что Гитлер?..

— Да.

— Вся немецкая нация, весь немецкий народ?

— «Немцы — высшая раса»! И немцев от этого не стошнило, нравилось! Если вырастает вождь-убийца, значит, есть и питательная среда.

— Вы против народа?

— Народ свят и безгрешен? Ой нет, народ — всякое! Выплескивает из себя и светлое и мутное.

Шли мимо нас занятые собой прохожие.

Я глухо потребовал:

— Ну, дальше.

— Разве не все сказано?

—А разве только ради немцев вы вспомнили мертвого Гитлера?

Под твердым козырьком, словно зыбкая луна в омуте, поблескивал глубоко упрятанный глаз. Незнакомец приподнял вверх свою костлявую руку, словно держал в ней хрупкий бокал, заговорил с грузинским акцентом

— «Я подымаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и... терпение». Не правда ли, подкупающая лесть: «И терпение...»

— Передергиваете, господин хороший,— возмутился я.— Разве свою нацию хвалит этот человек?

— Национализм не проявление родословных симпатий, молодой человек, а политика. И не забывайте, что Гитлер совсем не походил на классического арийца — белокурую бестию. Выкресты были наиболее злобными антисемитами. Почему бы грузину не стать великорусским шовинистом, когда это выгодно.

— Чем ему выгодно? Чем?!

— Твоя нация превыше всего, твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая.

— Она выгодна Сталину?

— Она выгодна недоумкам, у которых нет ничего за душой. Она выгодна всем обиженным и обойденным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтоб вырвать себе благополучие. Какой политик отказывался от силы?..— Незнакомец сделал паузу и с улыбочкой добавил: — Тем более, что лозунг времен революции «Бей буржуев! Грабь награбленное!» сейчас стал не безопасен. «Бей жидов, спасай Россию» — надежней.

Я поднялся. Передо мной сидел тощий человек с костлявым лицом и немощными руками.

Шли мимо нас равнодушные прохожие.

Он сидел и бледненько улыбался. С этой невнятной улыбочкой он оплевал сейчас все — мою родину, ее великого руководителя, революционные лозунги, за которые воевал и погиб мой отец. Я прошел сквозь жестокие испытания. Я видел, как во время коллективизации выселяли мужицкие семьи — баб, детишек, стариков. Видел, как в пристанционном березнячке умирали от голода такие высланные, я помню, как по ночам исчезали соседи по дому... Видел и страдал, и недоумевал, но я выдержал, не треснул — верен родине, верен отцовским лозунгам! А этот тип рассчитывает — расколоть меня словом!

Бледненько улыбался пожилой человек на скамейке. Шли мимо прохожие.

— Уходи! — сказал я ему.

Я боялся, что он не послушается, не двинется с места, будет глядеть и улыбаться своей бледной, презрительной улыбочкой. И тогда мне придется его бить. Его, старого, жалкого, с шеей, похожей на петушиную лапу. Я возвышался над ним во всем величии своих двадцати пяти лет, чувствуя тяжесть разведенных плеч, налитость опущенных рук. Эх, если б не так стар и тощ был противник моего отечества!

— Ты слышишь?.. Проваливай!

Он понял и покорно встал, долговязый, в обвисшем пальто, под твердым козырьком зыбкий блеск упрятанных глаз. Он отвернулся, шагнул и остановился, задрал твердый козырек к фонарю.

— С кем?.. Кто?.. Кто живой?.. Пустыня! — сквозь стиснутые зубы скулящим стоном.

Я стоял праведным монументом.

Он толкнул себя с места, сутуля узкую спину, волоча ноги, двинулся прочь.

Шли прохожие.

Жив ли ты? Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец. Время заставило меня поумнеть. Теперь я сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются. Пытаюсь... И часто — ох, как часто! — меня не понимают даже самые близкие. И хочется скулить на фонари: «С кем?.. Кто живой?.. Пустыня вокруг!»

Прости меня.

Шли прохожие. Одни — от меня, в глубь вечернего города. Другие — навстречу, чтобы миновать меня и тоже исчезнуть в городской суетливой пучине. Возникают и исчезают, возникают и исчезают — прохожие, не замечающие моего существования.

Внезапно я вздрогнул: на меня двигалась пара...

Высокий человек в белом пыльнике, натянутом поверх темного костюма, как халат хирурга, в пролетарской кепочке на голове. А рядом с ним, парадно рослым,— невысокий, со скособоченными плечиками, из-под шляпы торчит гнутый, не вызревший до хищности нос.

Я не верил своим глазам: на меня рука об руку шли Фадеев и этот... Искин. Судья и преступник — вместе. Праведность и порок — плечо в плечо, в мирной беседе, среди гуляющей публики.

Они прошли мимо меня, совсем рядом. Мимо меня, увлеченные друг другом. До чего же странен мир!..

Сильная рука бережно держала Юлия Марковича за локоть. Знакомо ощущение этой дружеской руки. Лет двадцать тому назад они вот так же бродили ночами по московским бульварам, говорили о мировой революции, о жертвенности во имя ее. И цокали тогда по булыжнику подковы извозчичьих лошадей, и тенорами кричали лотошники, предлагая нехитрый товар: «Карамель из Парижа — «Норт-Дам» для ваших дам! Леденчики — для младенчиков!»

Иные времена, иные речи, иной голос у Саши Фадеева, только рука на локте прежняя.

— Ты думаешь, Юлька, я шкуру свою хотел спасти, свой петушиный насест! Нет, не испугался бы встать перед всеми и сказать: очнитесь! Какой к черту космополит Юлька Искин! И ты ведь представляешь вопль вселенский, представляешь ярость. Добро бы, против меня, но ведь и против тебя, Юлька. В первую очередь против тебя! Троекратная, десятикратная ярость! Вспыхнул бы ты на ней, как мотылек в пламени. Поэтому и не встал грудью, что бесполезно. Лишнее масло лить в огонь.

— Это же страшно, Саша! Неправда, выходит, непобедима.

— Неправда, Юлька?.. Мы, видно, плохо еще представляем, какой пожар мы запалили. Пожар, уничтожающий дикий лес, чтоб вместо дикорастущих росли полезные злаки. В сжигающем нас огне, Юлька,— глубинная правда!

— Но почему нам гореть вместе с дикорастущими? Мы же этот пожар подпаливали. Он, выходит, уже не наш, неуправляем?

— А ты считаешь, что пожар должен служить нам и только нам? Да какое основание тебе, мне, кому-либо другому считать эту полыхающую революцию своей собственностью? Мол, пусть обжигает другого, а меня минует. Пусть Есенина, Маяковского, пусть Бабеля, гори они ярким пламенем, только не я.

— Революция выжигает своих!

— А вот в этом, Юлька, можно посомневаться.

— Саша, ты считаешь: я враг революции?

— Нет. Но и Есенин, и Бабель врагами революции не были, а были ли они ей своими? Сомнительно.

— Саша! Это бесчеловечно!

— А к нам, Юлька, наверное, человеческие мерки неприменимы.

— Как так?!

— Мы не люди, Юлька, мы солдаты, по трупам которых идут к победе. Люди будут жить после нас.

— После меня, Саша, будет жить моя дочь. Ей сейчас всего десять лет, но по ней уже шагают — дочь безродного космополита, сама безродная.

Фадеев не ответил.

Они дошли до памятника Тимирязеву, безобразного каменного столба, заканчивающего Тверской бульвар. Фадеев остановился, запустил кулаки в карманы пыльника — натянутая на лоб кепчонка, сведенные челюсти.

— Юлька... — произнес он,— ты, наверное, думаешь, что я подлец, коль так легко говорю о жертвах... Сам в благополучии, в славе, в почете. Да, в славе, да, в почете! А все равно — жду, жду... огня под собой. Знаю: придет и мой черед. Даже чувствую — он близок.

— Я б хотел, Саша, чтоб с тобой такого не случилось,— сказал Юлий Маркович.

И снова Фадеев промолчал, сжимал в карманах кулаки и глядел вдаль через узкую площадь в смутные кущи Гоголевского бульвара— сведенные челюсти, натянутая кепчонка.

— Юлька... тебе, может, деньги понадобятся... Юлька, помни, я по-прежнему твой, несмотря ни на что.

— Спасибо,— обронил Юлий Маркович.

У Фадеева был неуверенный голос, и Юлий Маркович понял, что с этого вечера он свой Саше Фадееву только в темноте, только по ночам, при свете дня — они чужие. Понимал это и все-таки был благодарен за сочувствие.

Мы собирались спать. На этот раз спор на сон грядущий что-то не разгорелся в нашем подвале. Затронули Редьярда Киплинга:

Пыль! Пыль! Пыль от шагающих сапог!
И отдыха нет на войне сол-да-ту!

Но большинство знало Киплинга только по детским изданиям «Маугли». Не хватало дров для большого огня.

Посапывал в своем углу Тихий Гришка, горел свет под потолком. Кто-то должен встать, пробежать босиком по цементному полу до двери и щелкнуть выключателем. Кто-то... Каждый из нас подвижнически выжидал, что это сделает его сосед.

Неожиданно раздался громкий, требовательный стук в дверь. Никто не успел подать голоса, дверь резко распахнулась, показалась дремучая борода нашего дворника. Дворник посторонился, и один за другим с бодрой, даже несколько заносчивой решительностью вошли незнакомые люди — трое похожих друг на друга, как братья, в синих плащах и новеньких серых фуражках, четвертый военный с погонами майора.

— Ваши документы! — чеканный голос над моей головой.

Под серой плотно надетой фуражкой настороженные глаза, лицо молодое и по-деревенски обычное, с крутыми салазками, с твердыми обветренными скулами.

— Ваши документы! — столь же чеканно, но уже не мне, а моему соседу.

Испытывая острую беспомощную неловкость — неодетый перед одетым! — я с покорной поспешностью лезу из-под одеяла, тянусь к

висящей на стуле одежде, суетливо в ней роюсь — нужен, наверное, паспорт, куда же я его сунул?

— Ваши документы!.. Ваши!.. — Возле других коек.

Мой скуластенький терпеливо ждет. Но столько, оказывается, карманов в моей одежке! Путаюсь, попадаю трижды в один и тот же карман, не могу разыскать паспорта.

Неожиданно настороженность под козырьком серой фуражки погасла, скуластый заинтересованно повернулся в сторону.

Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги:

— Вы арестованы!

Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подсунутую к его лицу бумагу.

— Оружие есть?

Эмка бормочет каким-то булькающим голосом:

— Что же это?.. За что?.. Товарищи...

— Оружие есть?

— За что?.. Что же это?.. То-ва-рищи!..

— Одевайтесь. Собирайте свои вещи!

Эмка покорно выползает наружу, путается в брюках, еще не успев их как следует надеть, начинает выгребать из-под койки грязное белье, неумело его сворачивает. То самое белье, которое он раз в году возил стирать в Киев к своей маме.

— Да что же это?.. Я, кажется, ничего...

На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем.

Эмка натягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает на голову буденовку. С потным, сведенным в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:

— А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...

Он действительно вот уже целый месяц таскал всюду «Капитал» вместе с томиком стихов Блока, кричал, что глава о стоимости написана гениальным поэтом.

От неуместного признания лица гостей чуточку твердеют, что должно означать: пора! Один из штатских вежливо трогает Эмку за суконное плечо:

— Идемте.

— Можно я прощусь?

— Пожалуйста.

Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям:

— Владик, до свидания... Сашуня... Володя...

Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку.

Фонарь с улицы светил в окно, освещал корешки книг на полке и большой медный барометр. Потайной шелестящий шепот в темноте:

— Дина, в случае чего ты не береги книги, ты продавай их. На книги можно прожить, Дина. Ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

— Дина, ты что?.. Ты плачешь, Дина... Не надо. Ведь ничего еще не случилось, может, ничего и не случится. Я просто на всякий случай. Дина, ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

Свет фонаря падал с улицы, на стене поблескивал большой медный барометр, упрямо показывающий «ясно».

Звонкая пустота заполнила наш подвал, набитый койками. Лампочка под потолком, казалось, стала светить яростнее.

Я все еще ощущал на щеке влажный Эмкин поцелуй. Как два куска в горле, застряли во мне два чувства: щемящая жалость к Эмке и замораживающая настороженность к нему. Нелепый, беспомощный, такого — в тюрьму: пропадет. А что если он лишь с виду прост и неуклюж?.. Что если это гениальный актер?.. Не с Иудой ли Искариотом я только что нежно обнимался? Влажный поцелуй на щеке...

— А я что говорил! — подал голос проснувшийся в своем углу во время ареста Тихий Гришка. — Талант — она штука опасная!

Кто-то равнодушно, без злобы ему бросил:

— Ты дурак.

— Я дурак, дурак, но ду-ра-ак! — напевное торжество в голосе Тихого Гришки.

Кажется, Владик Бахнов первый произнес короткий, как междометие, вопрос:

— Кто?..

Все перестали шевелиться, перестали смотреть друг на друга, молчали. Кто-то донес на Эмку. Кто-то из нас... Кто?

Яростно светила лампочка под потолком.

Юлия Марковича Искина арестовали в ту же ночь, только позже, часа в четыре. Звонок в дверь — трое в штатском, один в военном...

На следующий день нас удивил Вася Малов. Узнав об аресте Эмки Манделя, он побледнел и задышал зрачками:

— Вчера?.. Манделя?.. Эмку Манделя!..

И вдруг впал в неистовое бешенство:

— Кто эт-та сволочь?! Кто настучал?!. Талант продали, гады!!.

Вася Малов, человек с поврежденными немецким осколком мозгами, Вася Малов — гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делясь, страдальчески любил стихи Эмки.

Вася Малов умер сразу же после окончания института. От старой раны в голову. Умер в одиночестве, всеми забытый, окруженный ненавистью соседей по коммунальной квартире, которых он пугал своей дикой вспыльчивостью.

Александр Фадеев застрелился днем 13 мая 1956 года на своей даче в Переделкине. Сынишка вбежал наверх, чтобы позвать отца обедать, и увидел его лежащим на диване. И лужа крови на полу. И пистолет рядом на столике.

Примчался черный «ЗИС», товарищи в штатском, молодые энергичные люди, явились на место происшествия. В качестве понятых приглашены были соседи Фадеева, известные писатели, кажется Федин и Всеволод Иванов. Они-то позднее и рассказали, как один из приезжих товарищей поднял со столика письмо, лежавшее рядом с пистолетом, вслух прочитал на конверте: «В ЦК КПСС»... и опустил в карман. Никто этого письма больше не видел. Что в нем, миру неведомо.

Но какой-то ответ Фадеев на него получил.

Через два дня в газетах было опубликовано: «Центральный Комитет КПСС с прискорбием извещает...» И к этому «прискорбному извещению» было приложено так называемое **«Медицинское заклю-**

чение о болезни и смерти товарища Фадеева Александра Александровича».

Документ этот краток и выразительно откровенен:

А. А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом. За последние три года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени. Он неоднократно лечился в больнице и санатории (в 1954 году — 4 месяца, в 1955 году — 5 1/2 месяцев и в 1956 году — 2 1/2 месяца).

13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством.

Доктор медицинских наук, профессор Стрельчук И. В.
Кандидат медицинских наук Геращенко И. В.
Доктор — Оксентович К. Л.
Начальник Четвертого управления Минздрава СССР Марков А. М.

14 мая 1956 г.

Итак, Фадеев — алкоголик, запойный пьяница, в «очередном приступе недуга», то есть по пьянке, покончил с собой.

Был ли еще такой случай в истории, чтоб официальное сообщение провозглашало: причина смерти достойного человека — пьянство? Наши же официальные сообщения никогда не грешили неосмотрительной откровенностью. Конечно, не некие Стрельчук, Геращенко, Оксентович на свой страх и риск дозволили широковещательно оскорбительный попрек в пьянстве лежащему в гробу Фадееву.

Накануне Фадеев весь вечер просидел у Юрия Либединского, пил чай, был угнетен, говорил лишь на одну тему. Какая трагическая судьба у писателей в России — Пушкин и Лермонтов, Есенин и Маяковский, Бабель и Мандельштам... И многих из тех, кто умер в постели, можно считать тоже убитыми. Фадеев называл Бориса Горбатова — умер от инфаркта, но перед этим у него посадили отца, жену, сам он ждал с минуты на минуту звонка в дверь.

Юрий Либединский написал об этом разговоре статью, разумеется, она так и не увидела свет.

Нет, трезвой рукой направил на себя пистолет Александр Фадеев. И все-таки открытым текстом: «страдал тяжелым... алкоголизмом», перечислено даже, когда именно лечился... Зачем? С какой стати?.. Ответ один — письмо! За пять минут до смерти Фадеев взбунтовался.

Но как-никак бунт-то пятиминутный, нельзя же за эти пять непокорных минут перечеркнуть всю добропорядочную жизнь Александра Фадеева: напротив, следовало показать — верный, преданный, послушный сын, достойный скорби. И гроб с телом Фадеева устанавливается в Колонном зале Дома союзов, к нему открыт доступ трудящимся для прощания. На этом месте трудящиеся прощались с Лениным, прощались со Сталиным. Редчайшие покойники удостаиваются такой чести. Из Колонного зала обычно один путь — на Красную площадь, если не в сам Мавзолей, то уж рядышком — под Кремлевскую стену. Обычай нарушен — обозвав алкоголиком, оказав редкий почет, Фадеева везут хоронить на Новодевичье кладбище, где обычно и хоронят писателей такого ранга. Инцидент исчерпан — квиты.

В тот год началась широкая реабилитация политических заключенных. Без оркестров, без митингов, без цветов, тихо, скромно, потаенно встречала Москва тех, кого в тридцать седьмом и сорок восьмом она отправляла в Анинск, на Колыму, в Воркуту.

А неподалеку от Лубянки в общественной уборной бывшие службисты Берии запирались в кабинках, доставали пистолеты, умирали над унитазами. Они верили — за страшные дела их ждет страшное возмездие. Палачи тоже могут быть сентиментально наивными.

В тот год вернулся в Москву и Эмка Мандель. Через восемь лет после ареста. Он скоро стал поэтом Коржавиным. И Краткая Литературная Энциклопедия приняла его в свои объятия:

КОРЖАВИН Н. (псевд.; наст. имя — Наум Моисеевич Мандель; р. 14.X.1925, Киев) — рус. сов. поэт. Окончил горный техникум в Караганде... Стихам К. свойственны гражданственность и философ. лиризм...*

С Юлием Марковичем Искиным я познакомился в Малеевке — писательском Доме творчества. Вечерами мы предавались там воспоминаниям.

С сивой от седины шевелюрой, рыжими недоуменными бровками, скорбной складочкой в блеклых губах, он тихим голосом повествовал о том, чего я не знал.

Сейчас Юлий Маркович живет в новой квартире на проспекте Вернадского. Старую квартиру на Большой Бронной по-прежнему занимает Раиса. У нее семья — муж и двое детей. Тетя Клаша вынянчила внуков и... недавно вернулась к Искиным. Дашенька вышла замуж, родила сына. Тетя Клаша не может жить, чтоб кого-то не нянчить.

И Юлий Маркович хвалит ее с теплотой в голосе:

— Все-таки редкой души... Самозабвенна...

О Фадееве же он отзывается более горячо, почти со слезами на глазах:

— Нет, нет! Александр Александрович — честнейший человек, трагическая личность. Он — жертва, никак не преступник. Боже упаси вас думать о нем плохо!

Наверное, так оно и есть. Не осмелюсь спорить. Не думаю плохо.

Однако кроткий Юлий Маркович обвиняет других: Раису, секретаря парткома, который слабодушно развел руками: «Не могу» и... того, кого величали гением человечества, отцом и учителем, светочем эпохи.

— Историю, знаете ли, делают личности.

Пакостят историю личности? И только-то? Не слишком ли это просто? Нет ли более глубокой причины?..

Но стоп! Это отдельный большой разговор. Никак не мимоходом.

Документальная реплика.

Документ, вырвавшийся из канцелярии М. В. Келдыша.

Президенту АН СССР академику М. В. Келдышу.

Резолюция академика
Келдыша: *«Ознакомить»*.

За последнее время я неоднократно сталкивался с распространяемыми обо мне среди членов отделения философии и права Академии наук СССР утверждениями, будто я скрываю свою подлинную национальность, поскольку я якобы являюсь в действительности «польским евреем». Я мог бы игнорировать эти слухи, если бы не обстоятельство, что они находятся в прозрачной связи с фактом выдвижения меня в кандидаты на избрание в члены-корреспонденты Академии наук СССР.

Указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер, и они никоим образом не соответствуют фактам. А последние таковы.

Я родился 18 ноября 1920 года в г. Моршанске Тамбовской области. Мой отец Нарский Сергей Васильевич — русский, командир Красной Армии. После демобилизации в 1920 году работал на различных счетных дол-

* Эмигрировал в США в 1972 г.

жностях и умер в Моршанске в январе 1941 года, где он в 1896 г. и родился.

Родители моего отца...

(Из сострадания к читателю опускаю подробнейшие перечисления родителей отца и матери автора сего послания не только по мужской и женской линии, но и по боковым ветвям — упомянуты даже престарелые тетки, проживающие в Моршанске и Москве. Особый упор автор делает на фамилии, со скрупулезной точностью указывая, какие были в девичестве, какие в замужестве, чтоб, не дай бог, не возникло сомнение — не прокрался ли в родню чужекровный выходец из Палестины. Нельзя не признать, что все без исключения фамилии не вызывают никакого сомнения в чистоте породы — Ковритины, Шолоховы, Третьяковы... Что же касается собственной фамилии автора «Нарский», то она «представляет собой изменение исходной фамилии «Нарских», которую носили предки Василия Андреевича [деда автора.— В. Т.], выходцы из Сибири, прежде проживавшие в районе реки Нара».)

Акты гражданского состояния по г. Моршанску и Моршанскому уезду,— пишется далее,— насколько мне известно, в период Отечественной войны не эвакуировались и не уничтожались.

К сказанному могу добавить, что в свойственном мне хорошем знании нескольких иностранных языков (кроме польского, я владею другими славянскими, не говоря уже об основных западноевропейских языках) не вижу для советского ученого ничего предосудительного или «подозрительного». Что касается именно польского языка, то он был изучен мною в 1945—1946 гг., когда по долгу моей службы в советской разведке я находился и работал на польской территории. Эта моя работа отмечена правительственными наградами, в том числе несколькими орденами.

Я прошу ознакомить с настоящим заявлением членов отделения философии и права АН СССР. В случае, если Вы сочтете мое письмо неудовлетворительным, прошу назначить расследование.

Доктор философских наук, профессор МГУ, старший научный сотрудник АН СССР (по совместительству)

И. С. Нарский.

10 октября 1970 г. Москва.

Хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства:

Знаменательно, этот документ появился спустя 20 (!) лет после кампании борьбы с безродными космополитами. «Жив, жив курилка!»

Автор не просто профессор прославленного Московского университета, а явно преуспевающий. Не каждый-то профессор МГУ рассчитывает стать членом-корреспондентом Академии наук.

Напористое требование ознакомить членов отделения философии и права со своей столь непорочной родословной вызвана, думается, не только непроходимой глупостью, характерной для любого националиста. Не случайна тревога, столь откровенно звучащая в письме. Возможно, Нарский знал, каких взглядов «на чистокровность» придерживаются ученые, которые представляют в АН философию и право. Не это ли заставило его бояться обвинений в еврействе?

Впрочем, принятые предосторожности не помогли. Академики не избрали Нарского в членкоры. Ему осталось только сетовать на происки сионистов.

Август — ноябрь 1971 г.

Публикация и подготовка текста Натальи Асмоловой.

Валерий Аграновский

ПРОФЕССИЯ: ИНОСТРАНЕЦ

МОНОЛОГИ

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...»

В. И. Ленин

Автор:

Предыстория. В самом конце шестидесятых годов я, молодой литератор, упражняющийся в сочинении детективов и уже напечатавший к тому времени (правда, под псевдонимом и в соавторстве) несколько приключенческих повествований в центральных молодежных журналах, получил неожиданное предложение от соответствующего ведомства собрать материал для документальной повести о советском разведчике Г.-Т. Лонгсдейле.

Я знал понаслышке, что Лонгсдейл был крупным английским промышленником-миллионером, получившим от королевы Великобритании звание «сэра», что он был арестован в Англии, осужден, сидел какое-то количество лет, а потом обменен на коммерсанта Винна (или Девинна?), изобличенного в шпионской деятельности против СССР и приговоренного у нас к тюремному заключению.

Немного поразмыслив, я дал согласие, движимый более любопытством, нежели желанием писать о Г.-Т. Лонгсдейле. Откровенно признаться, к «шпионским» детективам я и до сих пор отношусь с предубеждением: меня шокирует то обстоятельство, что с их помощью молодому и неопытному читателю в сладостной облатке погонь, перестрелок и переодеваний может преподноситься горькая начинка в виде самых различных методов (надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю), вполне приемлемых для достижения целей не только в разведке, но, между прочим, в жизни вообще.

Однако я не жалею, что встретился с Лонгсдейлом. Замечу попутно, что на самом деле мой будущий герой не был ни «Г.-Т.», ни «Лонгсдейлом», а Константином Трофимовичем Перфильевым, под именем которого официально значился в архивах и делопроизводстве Центра. Впрочем, не был он и Перфильевым, а совсем Кононом Трофимовичем Моло́дым, сыном ученого и врача, родившимся в Москве и жившим в молодости в доме на Русаковской улице, что возле Сокольников, прямо напротив кинотеатра «Шторм», ныне снесенного, но я не уверен, что и Молодый его настоящая фамилия...

Так или иначе, у меня было с Кононом Трофимовичем ровно одиннадцать встреч. Обставлялись они следующим образом. Заранее, примерно за неделю до каждой встречи, я составлял вопросник из пяти — семи пунктов, переправлял его в соответствующее ведомство, откуда мне сообщали, когда и в котором часу я должен подъехать к главному подъезду соответствующего здания на одной из центральных площадей столицы, а проще сказать — в КГБ.

Я подъезжал. Меня встречали и вели в просторную комнату на втором этаже, которую лучше бы назвать маленьким залом. Он был пустым, если не считать длинного полированного стола с пепельницами, стоящего посередине, и более десятка стульев с одной его стороны, предназначенных для моих собеседников, и одного стула по другую сторону — для меня.

Я садился и ждал. Минут через пять входил Лонгсдейл, которого сопровождали разного возраста люди, хорошо одетые и неизменно вежливые. Их возглавлял человек лет примерно сорока пяти с белым платочком, углом торчащим из нагрудного кармана отлично сшитого пиджака; впредь я буду называть его Ве-

дущим. Все они по очереди здоровались со мной за руку и рассаживались на стулья, причем ни разу из одиннадцати встреч не получалось так, чтобы кто-то оставался без стула или какой-то стул без седока, хотя количество мебели и людей всегда было разным. Мой будущий герой располагался ровно напротив меня, и после нескольких ни к чему не обязывающих фраз («Как вам погода, не промокли?» «Благодарю, я в машине, но прекратятся когда-нибудь эти дожди?» «Прямо лондонский климат, не находите?» «Вам лучше знать, сэр!») мы приступали к делу.

Сначала мне было непонятно, зачем столько молчаливых свидетелей отрывают себя от забот и присутствуют часами при наших беседах. Их назначение я понял, когда они начали вдруг говорить. Однажды, отвечая на мой вопрос, Конон Трофимович помянул факт из своей биографии, связанный с пребыванием в американской школе разведки, расположенной на территории ФРГ. Тут человек с платочком, названный мною Ведущим, вежливо прервал его и обратился к одному из присутствующих: «Прошу вас, Владимир Платонович!» Тот начал: «Строго секретная американская школа разведки находится в тридцати семи километрах от Мюнхена, если ехать по автостраде Мюнхен — Берлин. На тридцать седьмом километре надо свернуть направо на бетонку, и буквально через двести метров, в лесу, на берегу небольшого озера (восемьдесят на сто двадцать шагов) будет стоять трехэтажное здание красного кирпича типичной немецкой готики, с закругленными наверху окнами по всему фасаду. Перед входом в здание два дерева: дуб диаметром около метра и ольха, ветви которой достигают окон третьего этажа...» В другой раз Лонгсдейл говорил о том, как и когда он впервые оказался в Канаде, в Торонто, и остановился в отеле недалеко от вокзала. Ведущий попросил: «Будьте любезны теперь вы, Борис Николаевич!», после чего «Борис Николаевич» стал рассказывать мне об отеле, в котором жил в Торонто Лонгсдейл: «Отель называется «Терминаль» и характерен тем, что вся обслуга его, кстати, сплошь состоящая из мужчин, носит особую униформу, специально пошитую для сотрудников «Терминаля». Лучшие номера — на шестнадцатом этаже двадцатиэтажного здания отеля: они совершенно изолированы от окружающего мира звуконепроницаемыми прокладками в стенах...» Почему эти данные, как и прочие, не мог изложить сам Конон Трофимович, я до сих пор не знаю и могу лишь предполагать: либо он никогда в «Терминале» не останавливался и в строго секретной американской разведшколе не был, но нужно было, чтобы он там «был», по крайней мере в повести, которую я намеревался писать, либо Лонгсдейл побывал в действительности и там, и там, но почему-то ему хотелось из чужих уст слышать то, что впервые слушал я. Впрочем, я скоро привык к этим тайнам мадридского двора, больше не удивлялся и воспринимал все так, как оно и звучало.

Состав сопровождающих постоянно менялся. Уж и не помню, сколько прошло через меня Владимиров Платоновичей, Платонов Сергеевичей, Сергеев Владимировичей и т. д. Однажды я заикнулся о том, что было бы неплохо познакомить меня для общего колорита со знаменитым полковником А., примерно годом раньше Лонгсдейла обмененным на крупного американского разведчика П., тоже полковника. Мне сказали туманно: подумаем, но обещать не можем. Но в один прекрасный день вдруг предложили подготовить вопросы для полковника А., а затем дали знать, когда с ним состоится встреча. Я приехал в назначенное время, сел на свой стул, они, как обычно, вошли в обновленном составе, среди них был и Лонгсдейл, однако на сей раз его посадили не напротив меня, а сбоку, зато напротив сел пожилой человек с большой лысиной и седой оборочкой вокруг голого черепа, тот самый, который уже несколько раз был в свите Конона Трофимовича и под именем «Варлама Афанасьевича» рассказывал мне об улицах Нью-Йорка, его магазинах и еще о Колумбийском университете. Это и был, оказывается, легендарный полковник А. собственной персоной! Опять тайны мадридского двора, и вновь я мог только догадываться, зачем. Возможно, А. хотел ко мне приглядеться, прежде чем со мной говорить? Но что я за птица, чтобы готовиться к беседе со мной так тщательно и странно? Или они репетировали сцену, играть которую им надлежало в другом и более ответственном месте? Между прочим, когда полковник А. добрался в своем рассказе до лондонского пригорода, куда он приехал по заданию Центра из Нью-Йорка, чтобы тайно проникнуть на какой-то строго охраняемый военный объект, Ведущий, мягко прервав его, обратился к Лонгсдейлу: «Прошу вас, Конон Трофимович!», и Лонгсдейл дал исчерпывающую справку относительно военного объекта, а также способов, с помощью которых можно было на него проникать.

Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?

Портрет. Ведущий попросил меня записей по ходу бесед с Лонгсдейлом не вести, а просто запоминать, что я и делал. Эти «монологи», таким образом, воспроизводятся мною по памяти и потому могут содержать неточности, особенно в названиях маленьких городов, улиц, имен и дат, возможно, как раз нуждающихся в том, чтобы я не ошибался. С другой стороны, в такой непривычной для литератора методике сбора материала было и свое преимущество, а именно: в моей памяти оседало самое важное, яркое и существенное, в то время как мелкая рыбешка уходила из сетей, но и жалеть о ней не следует, она действительно мелкая.

Добавлю к сказанному, что на исходе последней встречи Конон Трофимович обратился ко мне с просьбой, как он выразился, личного характера: если я в самом деле буду о нем писать, нельзя ли попробовать выжать из повествования воду, так называемую «беллетристику», и оставить одну суть?

Я обещал.

Даже внешний облик Лонгсдейла, не зарисованный мною с натуры в блокнот, нынче воспроизводится памятью, как если бы художнику-портретисту предложили воспользоваться строго ограниченным количеством мазков. Лонгсдейл был ниже среднего роста. Широкоплеч, крепко сбит. Черный. Скуластый, глаза немного раскосые: по предкам Конона Молодыя, несомненно, пронеслась лет шестьсот назад татаро-монгольская орда. Взгляд острый, ироничный, живой. Впрочем, в случае нужды Лонгсдейл умел надевать на лицо по классическому восточному образцу маску непроницаемости, и тогда к нему вполне подходило расхожее выражение, часто применяемое авторами детективов: «Ни один мускул не дрогнул на его лице». Сказать, что в толпе Лонгсдейл незаметен, что мы привыкли полагать чуть ли не главным качеством настоящего разведчика, я не могу: смотря в какой толпе! Среди казанских татар, возможно, он и растворился бы, но в обществе респектабельных английских бизнесменов — как говорят в таких случаях: извините! — я бы выделил именно его.

Конон Трофимович:

Быт. Лично я в первые часы после прибытия за границу предпочитаю спать. Помню, в Торонто я автобусом доехал до аэровокзала, который расположен в центре города, и при нем — гостиница «Терминаль». Иду с небольшим чемоданчиком типа «дипломат», навстречу конный полицейский: синие лампасы, краги, каска с полями, и вдруг останавливается, слезает на землю (два метра ростом, не меньше!), у меня сразу копчик заболел: знал бы он, кто я! А он в мою сторону даже не посмотрел. Я заказал в гостинице номер, зная, что ни документов у меня не попросят, ни вообще никаких вопросов не зададут. Номер взял с ванной, чтобы и туалет был: если потребуется что-то уничтожить, сжечь, например, можно спустить с водой, это вам не вечно забитый мусоропровод в коридоре, для прошиба которого следует запасаться специальной «гармошкой». Вошел в номер, повернул на дверях табличку: «Прошу не беспокоить!» и уверен: трое суток никто не войдет, даже если меня пришибут в этом номерочке. И сразу, не мешкая, ложусь спать. Сон, как у космонавта. А просыпаюсь — и тут же встаю, это у меня еще с армии, с фронта. Подниматься,

когда бы ни лег, я умею по «биологическому будильнику» и еще по тому, который у меня в ручных часах: поет, словно сверчок, сразу Подмосковьем начинает пахнуть. Я, представьте, всегда высыпаюсь, замечательное свойство. Но если не удается поспать в сутки хотя бы час-полтора, чувствую себя отвратительно, вид ужасен. К слову, в Англии, если приходишь на работу с опозданием, не выспавшись и в ужасном виде, начальством и сотрудниками принимается только одно уважительное объяснение: девочки! Любое другое, например, забастовка водителей автобусов, ночной преферанс, сломавшийся будильник или приступ аппендицита — неминуем скандал.

Взгляд. В гинее 21 шиллинг, в фунте 20 шиллингов, но гинея — купюра неофициальная, хотя все, от врача до проститутки, считают на гинеи. Меблированная квартира стоит пять с половиной гиней в день, но всего этого, будучи по легенде «канадцем», я не знал и, что очень удобно, мог не знать, поэтому первое время всюду совался со своими пенсами, шиллингами и фунтами стерлингов.

Психология. Кто я в чужой стране, как вы думаете? Враг? Ни в коем случае! Тот смысл, который вкладывается в обычное понятие «шпион», ко мне не относится. Я разведчик! Я не выискиваю в чужой стране слабые места с точки зрения экономики, военного дела или политики, чтобы направить против них удары. Я собираю информацию, исходя из совершенно иных замыслов, поскольку вся моя деятельность направлена на то, чтобы предотвратить возможность конфронтации между моей родиной и страной, в которой я действую. Именно в этом смысле инструктирует нас Центр, и мы придерживаемся этого принципиального указания.

Кстати, вам не приходилось где-нибудь читать, что написано на могиле Рихарда Зорге? В Токио на кладбище Тама лежит гранитная плита с такими высеченными на ней словами: «Здесь покоится тот, кто всю свою жизнь отдал борьбе за мир». Теперь вам понятно, что я хочу сказать?

Качества. Разведчик должен быть «растворимым» в толпе, незаметным. Одеваться надо прилично, но не броско. Моя родная жена, глядя на меня, когда я бывал дома в Москве, удивлялась: на тебе вроде бы все заграничное, но не похоже, что «иномарка». Я же знал: если в пивной тридцать человек, из которых можно запомнить пятерых, я должен быть не среди этой пятерки, а среди тех двадцати пяти, которые «незаметны» для посторонней памяти. В Англии некий бизнесмен покупал костюмы, и к локтям ему сразу пришивали кожу. Другой, называемый «джентльменом-фермером», был чрезвычайно богатым человеком, но одевался так скромно, что я мог бы сказать: броская скромность. Для разведчика и это плохо: ему следует одеваться так, чтобы в глаза «не бросалось».

Работа. Резидент, которого еще называют «шефом», если вербует агента, по-нашему «помощника», делает вид, что вовсе его не вербует, а просто покупает нужную информацию: мне нужна информация, вам — деньги, адью! А коготок у агента увяз, он из этого дела уже не вылезет. Агент тот хорош, кто обладает следующими данными: служит, например, в военном ведомстве на невысокой, но ключевой должности, дающей доступ к информации, не выслуживается в старшие офицеры, носит амплуа неудачника (не сумел, положим, окончить академию генштаба, так как болезнь отняла «лучшие годы»), любит выпить (а это дорого стоит!), имеет слабость к женскому полу (что тоже не дешево!), критически относится к своему правительству и лояльно к правительству резидента.

Впрочем, не только слабостей ищут в своих помощниках шефы, а предпочитают для вербовки четкую идейную основу, которая намного прочнее меркантильной, гарантирует от провала и украшает достижение цели не низменными, а вполне достойными методами. Такой вариант, конечно, не частый, но тем он и заманчивей для каждого разведчика, претендующего на звание порядочного человека. Я знаю случай, когда идейно убежденный агент давал информацию, которую долгое время в Центре принимали за дезинформацию, организованную противником: уж больно она была дорогой и слишком дешево нам доставалась, а признать убежденность агента искренней тоже было непросто. Рискованно! Впрочем, если бы обиженные богом и судьбой поголовно стремились в агенты иностранных разведок, резидентам пришлось бы отбиваться от волонтеров ногами.

Взгляд. Средний англичанин аполитичен и равнодушен: ему совершенно наплевать, кто им правит и куда ведет страну, чем хорош или плох «Общий рынок», его интересует собственный заработок, работа и чтобы жена была довольна. А вот связать свою судьбу с гонкой вооружений и борьбой против нее, причем в интересах самой же Англии, он, как правило, не умеет. Искать в таком единомышленника трудно, если вообще возможно. Знаменитый Блейк, работавший на нас долгие годы без копейки денег, чрезвычайная редкость. Он просто умный человек: проанализировал ситуацию в мире, определил ее истоки и перспективу, а затем, посчитав нашу политику более справедливой, принял обдуманное решение помогать нам.

Работа. Контроль за агентами резидент осуществляет, во-первых, постоянно, во-вторых, неукоснительно. Методы контроля: личное общение шефа с помощником и изучение информации, которую он дает. (Помощник должен быть не единственным, кто поставляет определенного рода сведения, его надо проверять с помощью «дублера», но суммировать и сопоставлять две-три информации по одному и тому же поводу лучше не резиденту, а сотрудникам Центра.)

Ведущий:

Сюжет. Считаю целесообразным предложить вам следующую сюжетную схему будущей книги о Лонгсдейле; если что-то не будет понятно, задавайте вопросы прямо «по ходу». Итак, с началом Великой Отечественной войны ваш герой (пусть он пока носит условное имя Л.), только что окончивший десятилетку, попадает добровольцем на фронт. В составе диверсионной группы он выполняет в тылу врага оперативные задания. Потом, возвратившись через линию фронта в родную часть, служит в разведывательном батальоне, показывает себя смелым и волевым солдатом, неоднократно берет «языков», участвует в их допросах (в качестве переводчика), выполняет отдельные поручения начальника особого отдела дивизии.

— Виноват, какие поручения?
— Отдельные.
— А почему Л., а не Лонгсдейл?
— Л. не совсем Конон Трофимович.

Начальник особого отдела, убедившись в том, что имеет дело со стоящим человеком, рекомендует его на работу в органы КГБ. Так ваш герой еще во время войны попадает к нам. После короткой спецподготовки его забрасывают в глубокий немецкий тыл, в самое логово. Там, в Берлине, Л. устанавливает связь с резидентом нашей разведки Д., который снабжает его надежными документами, отрабатывает легенду-биографию, помогает легализоваться и включает в активную разведывательную деятельность. После победоносного окончания войны Л. возвращается на родину и, уво-

лившись из разведки, поступает в высшее учебное заведение. Обзаводится семьей. В 1949 году, в период работы над дипломом, его вызывают в Комитет государственной безопасности.

— Не понял: откуда Л. знает немецкий язык? Обычная школа?
— Нет. До войны он четыре года прожил с родителями в Германии, учился в немецкой «шулле».
— Что я могу писать о резиденте Д.?
— Ничего, кроме того, что он Д.
— Но минуло более тридцати лет... Хотя бы он жив?
— Да. В том-то и дело.

В КГБ вашему герою предлагают выполнить ответственное задание, связанное с разоблачением подрывных акций ЦРУ против нас в Западной Германии и, возможно, в Японии. После некоторых раздумий Л. дает согласие и вскоре оказывается на территории ФРГ в роли «немца», используя свои прежние документы и (частично) старую легенду.

— Раздумывая, он советуется с женой и родственниками?
— Нет, его решение самостоятельное.
— А как объясняют жене скоропалительный отъезд супруга?
— Не проблема: срочной командировкой Внешторга в Китай.
— ?
— Л. владеет китайским языком.
— Оканчивает соответствующее отделение МГИМО?
— Можно и так. Института внешней торговли.

С помощью резидента Д. он успешно легализуется, заводит полезные связи и ищет подходы к лицам, работающим в Бундеснахрихтендинст (БНД) — геленовской разведке, полностью находящейся под контролем американцев; БНД, кроме прочего, готовит для заброски в Советский Союз агентуру, вербуя ее среди русских людей, по разным причинам оказавшихся на Западе. Наконец Л. выходит на человека, с которым был знаком еще во время войны, в свою первую «командировку» в Германию. Назову этого человека Герхардом. Для восстановления с ним «дружбы» Л. не жалеет ни времени, ни денег, но вдруг понимает, что и Герхард, работающий в БНД, тоже осторожно обнюхивает его, пытаясь, вероятно, привлечь к сотрудничеству с геленовцами.

— На ловца и зверь бежит?
— Примерно так. Но сложнее.
— Нельзя ли военный период жизни Л. осветить подробней?
— Можно. Внесите этот пункт в ваш вопросник, адресованный Конону Трофимовичу. А пока мне придется сделать «приложение» к рекомендованной вам сюжетной схеме.

Приложение № 1. В начале пятидесятых годов в системе БНД под маркой «Амт фюр Зее унд Шаффартсвезен» было создано управление с кодовым наименованием «Архив», а при нем «служба 79», которая должна была вести стратегическую разведку против США, Англии, Франции, Италии и других государств западного блока. Не следует удивляться: во имя того, чтобы играть не подручную, а самостоятельную роль в «тайной войне» против СССР, а также для восстановления утраченного национального престижа, послевоенное руководство БНД уже откровенно добивалось хотя бы формального выхода геленовской разведки из-под унизительного для немцев влияния ЦРУ. Центральное разведывательное управление США, в свою очередь, стремясь сохранить геленовцев «под собой», стало усиленно вербовать из их числа агентуру. Гелен это знал, но пресечь не мог. Он был человеком сильным и неглупым. В конечном итоге, кстати, он перебрался в США, захватив с собой всего один портфель, но в нем была агентура практически всех европейских стран, и с таким «подарком» Гелен рассчитывал занять в ЦРУ ответственный пост и не ошибся в своих расчетах.

Тем не менее не следует заблуждаться: главной задачей БНД была и оставалась разведывательная деятельность не против стран Запада, а против Советского Союза. В директивном указании геленовского Центра всем службам разведки — оно попало в наши руки — указывалось: «СССР является важнейшей, но и самой трудной целью нашей работы...» В центральном аппарате БНД имелись: разведывательное Управление (отделы СССР, ГДР и других социалистических стран, а также упомянутый «Архив» со своей «службой 79»); контрразведывательное Управление; отдел психологической войны с целью вести разложенческую деятельность в соцстранах, а также подготовку диверсионных акций на случай обострения международной обстановки. Все эти службы и подразделения БНД на территории Западной Германии были замаскированы под различные фирмы и учреждения, цум байшпиль (например): «Шпециальконтор фюр Индустрибетайлигунген», «Беауфрагтер фюр Зондермёген», унд зо вайтер (и так далее).

— Вы тоже знаете немецкий? И тоже учились в «шулле»?
— Да.
— Верно ли я понимаю, что сведения о БНД и ее отношениях с ЦРУ были кстати и благоприятствовали моему герою?
— Не совсем. Они были первым и довольно важным результатом его работы. А проникал он в БНД, а затем и в ЦРУ, можно сказать, вслепую и трудно.

Сюжет (продолжение). Итак, мы остановились на том, что Герхард, осторожно обхаживая «старого друга», старается привлечь его к сотрудничеству с БНД. Наше руководство, однако, тщательно взвесив все обстоятельства, рекомендует Л. предложение Герхарда на данный момент отклонить.

— Отклонить достижение главной цели?!
— По трем причинам.

Во-первых, рано: устройство на работу в любую разведку обычно связано с весьма серьезной проверкой прошлого кандидата, к чему Л., обладая еще сыроватой легендой и только вживаясь в образ, был недостаточно готов, а рисковать им, учитывая его потенциальные возможности и перспективу, не имело смысла. Во-вторых, отказ от сотрудничества, да еще под соусом истинно немецкого патриотического «нежелания» работать на американцев (несамостоятельность геленовцев была общеизвестна), лишь поднимает акции кандидата в глазах руководства БНД. Наконец, в третьих, именно в тот период Центр задумывает довольно «простенькую» акцию, касающуюся некоего Альфонса Вагнера, и ищет для нее исполнителя; ваш герой, казалось, больше других подходит на эту роль, тем более ему нужно чем-то заполнить паузу, что, как потом выяснилось, было ошибкой Центра: лучше бы ему сидеть тихо.

Конон Трофимович:

Психология. Авантюрная жилка, говорите? Она, возможно, и нужна разведчику, но главное в другом. Каждый из нас играет самого себя, я бы сказал, с поправками. Что это значит? Разведчику, как и актеру, подбирают «роль», которая соответствовала бы его характеру, темпераменту, вкусу, конкретному состоянию и его человеческому амплуа: этот художник, этот изобретатель, бармен, журналист, врач, консьерж, я, например, бизнесмен. Не так важна сама профессия, сколько то, чтобы к ее носителю меньше придирались. Поясню. Если я бизнесмен, мой характер не должен мешать мне исправно платить налоги; при этом я должен учитывать, что тот, кто доносит на неплательщика налогов, получает десять процентов от суммы, с него взысканной по суду,— представляете, сколько лишних глаз будут смотреть на меня! Знаменитый Аль-Капоне, всю жизнь блистательно не дававшийся в руки правосудия, хотя и совершал чудовищные преступления, однажды все-таки сел — за что? Вы не поверите: за неуплату налогов!

Взгляд. Врач-англичанин халата не надевает, только во время операции, причем фисташкового цвета. А так, на приеме, врач, представьте, в полосатых брюках, черном пиджаке, с цветком в петлице. И рук не моет! (Моя мать потомственный врач, вот мне и кажется это странным.) Врачи живут превосходно, но зарабатывают такую жизнь не сразу: тремя годами изнурительной бесплат-

ной работы с шестью ночными дежурствами в неделю; в клиниках только кормят. Зато потом ставка врача — две с половиной тысячи фунтов: жить можно! Пациенты, в свою очередь, платят государству налог, независимый от количества «бесплатных» посещений врача, эту сумму просто вычитают из их заработка; я посылал раз в год прямо в министерство здравоохранения карточку с наклеенными на всю сумму марками, которые покупал на почте или в банке.

Психология. Желающий прославиться, непомерно честолюбивый человек, не может быть разведчиком: жизнь в подполье сковывает, смазывает таланты, не дает развернуться, выделиться, лишает широкого круга знакомств, оставляет только те, которые необходимы для дела, препятствует общественному признанию. Мы все помним слова Дзержинского, и не только общеизвестные, которые и вы, к примеру, можете повторить, но знаем всю цитату до конца: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Тот, кто стал черствым, не годится больше для работы в ЧК. Чекист должен быть чище и честнее любого — он должен быть, как кристалл, прозрачным». Вот уж воистину: разведка — это работа для невидимок в широком смысле слова. Невидим для славы, широкой известности, для всеобщего почитания — за исключением, пожалуй, таких героев нации, как Зорге и Абель или Мата Хари.

О нас узнают, к сожалению, когда нас разоблачают и судят,— так уж лучше бы не узнавали совсем. Понимаете ли, профессионализм и любительство, как день и ночь: я, например, был шахматистом-любителем, им и остался и даже не догадывался когда-то, что профессия разведчика — мое истинное призвание. Впрочем, как говорят англичане, качество пудинга определяется после того, как его съешь...

Однажды. Еду на машине, взятой в аренду, из Норвегии в Швецию через Тронгейм. Границы нет, что хорошо, потому что мне нужно было избежать таможенного контроля. В ту пору многие страны уже перешли на правостороннее движение. И вот я еду и, естественно, не замечаю маленького пограничного столба. Вокруг тундра. Комары. Полярный день: висят над головой сразу два солнца. Вдруг мне навстречу да по моей стороне (?!) летит машина. В Швеции и в Норвегии, как потом оказалось, «разные движения». Конечно, «поцеловались»: я ему — ничего, а он мне сбил крыло и пропорол баллон. Полиция, повторяю, мне была ни к чему, и я отпустил его с богом. Сунулся: запасной баллон спущен, а насоса в этой наспех арендованной машине почему-то нет. Сижу. Жду. Курю. Как на грех, ни одного авто. А я в рубашке — но не родился (в смысле счастливый), а действительно в одной рубашке (в смысле несчастный: мошка лезет!). Посмотрел по карте: до ближайшего населенного пункта километров двадцать. Пошел пешком, а что делать? Завернулся от мошки в какую-то тряпку и в таком импозантном виде топаю в надежде, что повезет. И точно: через пять километров — палатка на обочине, при ней машина. Датчане. Путешественники. Дали мне, добрые люди, насос, чтобы накачать запаску, но подвезти пять километров назад отказались: пожалели бензин. А насос, между прочим, доверили. Другой бы на моем месте дунул с их насосом обратно в Норвегию, хотя, конечно, он не из золота. Поплелся я своим ходом, сменил колесо, вернулся (они дождались!), отдал насос и поблагодарил за бескорыстную помощь.

Судьба. Жил-был молодой человек, назову его Федором. Меня друзья в детстве иногда Костей звали, его вполне могли называть Федей. И вдруг — война. Прибавив себе год, Федя идет добровольцем. Воюет. И так как у него на немецкий язык талант, его слегка учат «кое-чему» и зимой 1943 года забрасывают в лагерь немецких военнопленных под Тулу. Как немца. С легендой: родители, мол, погибли в Кёльне во время налета «союзников» (этих родителей наша разведка действительно «имела», их единственный сын Франц пропал на Восточном фронте. Федя этим Францем и стал — со всеми его документами, биографией и даже невестой, оставшейся в Кёльне). Потом лагерь из-под Тулы нарочно переводят поближе к переднему краю, в Белоруссию, мы наступаем, уже 1944 год. Тут Феде-Францу с двумя пленными, один из которых офицер-абверовец, делают побег. С трудом опережая наши наступающие части, троица успевает добежать до Германии раньше нас. Там Федя связывается с верными людьми из антифашистского подполья, с помощью которых получает новые и совсем уже настоящие документы на имя Франца, выправленные не в штабе армии «старшиной — золотые руки» по имени Гавриил Фомич, умеющим классно переклеивать фотографии, а в «родной» канцелярии города Кёльна. И вот он — чистый немец! К тому же «заслуженный», бежавший из русского плена вместе с офицером-абверовцем (третий беглец случайно гибнет в Восточной Пруссии, прямо на пороге собственного дома), но в Кёльн Феде никак нельзя: невеста! А времени, чтобы Францу измениться до неузнаваемости, проходит еще маловато, хотя и ростом, и мастью, и возрастом Федя был почти Францем. Но почти это еще не все. Подумать только, случись рокировка в другую сторону, кто знает, немец Франц мог стать нашим Федором, и тогда он бы боялся ехать в Москву, где были у него «родственники» и, положим, «невеста». Ну, ладно. Потом Феде приходится немного повоевать против нас, «защищая» Берлин, получить за заслуги штурмбанфюрера (звание, равное нашему майору) и Железный крест. Впрочем, за те же, по сути, заслуги Федя и у нашего руководства получает награду и повышение в должности: молодец! В последний день войны, выполняя важное задание нашей армейской разведки, он едва не погиб. «Домой» в Кёльн ему по-прежнему нельзя, а домой в Москву тоже рановато. А как родные его мама и папа? — спросите меня, пожалуйста. Страшно вымолвить, но им невозможно было пока сказать, что их сын жив, а уж чем и где занимается, и подавно: такова наша жизнь. Вам не кажется странным, что я в таких подробностях знаю чужую судьбу? Не удивляйтесь, это, как и разная манера речи («под интеллигента», «под простака», «под характерного героя»), тоже элемент нашей профессии: чужие диалекты и биографии мы порой знаем лучше собственных.

Взгляд. В Англии много способов стимулировать оптового покупателя. Например, я люблю оливковое масло. Бутылка стоит шиллинг, две бутылки — уже полтора! У нас бы в Союзе так с ценами на водку, пили бы не «на троих», а «всем классом»!

Качества. Разведчик должен быть элементарно сообразительным. В 1919 году была выработана памятка сотрудникам ЧК, я кое-что из нее процитирую: «Быть всегда корректным, скромным, находчивым», «Прежде чем говорить, нужно подумать», «Быть выдержанным, уметь быстро ориентироваться, принимать мудрые решения и меры». Так вот, помню, в детстве меня хотели отдать в школу для особо одаренных детей. Привели к директору, он стал проверять, тестируя: что лежит на столе? Я, как и было предложено, поглядел ровно три секунды, потом отвернулся и добросовестно перечислил: журнал, чернильница, очки, лейкопластырь, настольная лампа, еще что-то. Директор меня спрашивает: а шапка лежит? Мне нужно было время для соображения, и я уточнил: вы спрашиваете про головной убор или что? Он, наверное, улыбнулся: да, именно так, шапка или кепка? Я уверенно отвечаю: кепка! И меня приняли, как вундеркинда. Я же был просто сообразителен: если директор спрашивает про головной убор, которого я за три секунды на столе не заметил, то, значит, он там лежит, а если лежит, то, разумеется, кепка, потому что на дворе осень, дело к сентябрю, кто же осенью носит зимние шапки?

Провал. В принципе мысль о возможном провале была у меня (без преувеличения) всегда. Но так же всегда я думал, что пуля пролетит мимо и убьет другого. Когда же она все же попала в меня, я пережил очень странное ощущение: прежде всего обрадовался тому, что буквально несколькими часами раньше, интуитивно почувствовав опасность, успел предупредить помощников, и все они, законсервировавшись, завинтили за собой крышки.

Взгляд. Поразительная особенность Англии: когда очень хочется выпить, пивные — закрыты. Начинают они в десять утра (но вы уже на работе), заканчивают в три дня (вы еще на работе), и — все. Это в будни, уикэнд — дело другое. Короче говоря, если уж пить, то в клубах, которые всегда открыты. Вступить в клуб, значит, внести вступительный взнос, и через сутки вы — член. Расписавшись в клубной книге, можете привести с собой гостя. Для «своих» в клубе есть все, от стриптиза до... Кружка пива (банка) вообще-то стоит одиннадцать пенсов (шиллинг), а в клубе в три раза дороже, потому что, хоть поздно вечером, хоть рано утром, всегда есть девицы, подаваемые с пивом и исполняющие стриптиз «с лепестком», который считается чопорными и нравственными англичанами «законным», то есть допустимым. При этом в клубном зале половина — женщины: они-то что находят в стриптизах?! Впрочем, англичане так воспитаны, что душй нараспашку, как у русских, нет ни у кого: застегнуты на все пуговицы и необычайно выдержанны. Я не исключаю, что в клубе они ищут выход своим эмоциям. Во Франции, например, это дело, мне кажется, не любят. Зато там есть «Лидо», фешенебельный ресторан, где места у бара стоят дешевле, чем в первом ряду, откуда можно рукой дотянуться до танцующей полуголой красотки. Представление идет часа полтора. В конце, под занавес,— Рита Кадиляк, которая и не танцует, и не поет, а просто показывает свою фигуру; ее называют еще «красной мельницей», потому что коронный номер Кадиляк — выступление между столиками; на сосках грудей висят и вращаются в разные стороны огромные алюминиевые кольца. Французов, между прочим, в зале не увидишь, а с француженками туда вообще не пойдешь; немцы, американцы, англичане — кто угодно!

Ведущий:

Приложение № 2. Альфонс Вагнер во время войны был младшим офицером. После капитуляции Германии работал начальником баварской пограничной полиции в городе Нойштадт, близ демаркационной линии, откуда и был известен нашей разведке, с тех пор за ним присматривающей. Будучи сотрудником полиции, Вагнер поддерживал официальный контакт с органами Си-Ай-Си в Коттбурге, а потом стал вербовать в американской зоне оккупации агентов из числа жителей ФРГ для засылки в советскую зону. Одновременно работал и на геленовцев, то есть на БНД.

— Многостаночник?
— Вот именно. Задачей вашего героя и должна была явиться попытка перевербовки Вагнера, человека способного и обладающего завидной информацией.

Надо сказать, что еще раньше, стремясь найти дополнительные источники дохода, Вагнер сам предложил нашей разведке (в лице специально подставленного ему для этой цели представителя) купить у него данные на агентуру американской разведки. При этом Вагнер поставил условие: за «голову» каждого жителя ФРГ, который будет установлен нами как агент на основании полученных от Вагнера данных, ему выплачиваются две тысячи западных марок. Предложение было принято. За относительно непродолжительный срок он сообщил данные на 15 человек, из которых 11 были арестованы на территории ГДР и осуждены за шпионскую деятельность. «Заодно» Вагнер передал нам сведения о ряде офицеров американской разведки, работающих в спецслужбах городов Хоф-Заал и Коттбург. Но потом Вагнер вдруг вышел из игры, заявив нашему представителю, что прекращает связь с Си-Ай-Си и больше не будет иметь для нас материалов.

Весь период сотрудничества с Вагнером, повторяю, мы знали, что он агент БНД, но от нас этот факт скрывает.
На какое-то время Вагнер исчез из нашего поля зрения.

Сюжет (продолжение). Когда Вагнер вновь появляется на горизонте, Л. поручают договориться с ним о новом контакте на чисто коммерческой основе, то есть о продаже за наличный расчет нескольких агентов, на сей раз из БНД. Дело на первый взгляд кажется простым и беспроигрышным, если не учитывать того, что Вагнер «орешек», который еще надо разгрызать. Короче говоря, Л. приходится пережить из-за него несколько неприятных мгновений. Когда они впервые встречаются (дело происходит в Нюрнберге, где в это время живет Вагнер), тот ведет себя, как «настоящий» немецкий патриот: заявляет, что одно дело продавать Советам людей, работающих на американскую разведку, а другое — тех, кто честно трудится на благо любимой фатерланд. И категорически отказывается от сотрудничества, пригрозив, что, если Л. не оставит его в покое, он сообщит о визите своему геленовскому руководству. На это Л. замечает, что Вагнеру придется заодно сообщать и о своей недавней связи с советской разведкой и о продаже ей американских агентов.

— Шантаж?
— С грязными людьми в белых перчатках не работают.

На это Вагнер с апломбом отвечает, что ничего не боится, поскольку его руководство поймет «настоящий патриотизм»: продавая американскую агентуру, Вагнер тем самым отвлекал внимание Советов от сотрудников БНД, которые решали важные оперативные задачи в советской зоне оккупации именно в это самое время. Затем Вагнер, окончательно осмелев, предлагает Л. убраться пока цел, и они расстаются. Л. тут же запрашивает Центр, что ему делать, и Центр оставляет решение вопроса на усмотрение исполнителя. Тогда Л., не веря, что Вагнер способен открыться своему руководству, а просто набивает себе цену, принимает решение встретиться с ним еще раз.

— Но это же связано со смертельным риском! Как мог Центр...
— Мог, так как не в силах на расстоянии оценивать достоверность и мотивы отказа Вагнера и реальность его угроз.

Л. звонит Вагнеру. Тот сам берет трубку и вновь отвечает вашему герою категорическим отказом. Тогда, перебравшись в телефонную будку, расположенную недалеко от дома Вагнера и так, чтобы за входом в дом можно было наблюдать, Л. еще раз звонит, и снова Вагнер подходит к аппарату. Л. говорит ему, что решительно настаивает на немедленной встрече. После паузы Вагнер приглашает его к себе, но не сразу, а часа через два. Л. делает вид, будто размышляет, а затем соглашается. И смотрит за домом. Убедившись, что в течение ближайших трех часов никто к Вагнеру не входит и не выходит от него, Л. меняет телефонную будку и вновь звонит Вагнеру.
На этот раз визуального обзора дома нет. Ваш герой открытым текстом говорит Вагнеру, что, явившись на место встречи, он непременно прихватит с собой копии расписок, которые тот давал представителю советской разведки в обмен на валюту, полученную за «головы» агентов. Кажется, Вагнер действительно задумывается. Тогда Л. предлагает ему встретиться ровно через четыре часа, то есть в полдень, на остановке трамвая на Цельтисплатце, где находится гостиница «Капитоль», в которой Л. остановился. Вагнер, внимательно выслушав Л., говорит, что подобные действия могут доставить и Л., и его «хозяину» большие неприятности, после чего вешает трубку. Не колеблясь, Л., звонит опять, и вновь к телефону подходит Вагнер. На сей раз ему приходится выслушать следующее: Л. вместе с «хозяином» идет на неприятности, но предупреждает, что не меньшие неприятности ждут и Вагнера, если он откажется возобновить сотрудничество или

устроит Л. ловушку. Жителям ФРГ, родственники которых «благодаря» Вагнеру были осуждены в ГДР за шпионаж, будут представлены доказательства того, что Вагнер виновен в их несчастье, а если этого будет мало, тогда с ним придется навсегда расставаться, что Вагнер оценивает в меру своего собственного понимания и методов работы, и терминологии.

И Вагнер сдается.

Конон Трофимович:

Провал. Один англичанин, бизнесмен, с которым я имел дела, как-то заходит ко мне в офис с девицей. Представляет ее: Наташа. Странное, говорю я, имя: Наташа́ — вроде русское? Она мне по-русски и говорит: да, я москвичка! — и весь дальнейший разговор был как на иголках: вдруг, думаю, вырвется у меня ненароком русское слово или родной оборот, хоть и сказанный мною по-английски... Как я ретировался!

Психология. К каждой операции я готовился более чем тщательно, так как понимал: если среди пятидесяти миллионов англичан и двухсот миллионов американцев находится один разведчик, положим, Лонгсдейл, и он не кричит благим матом, что он русский, его ни за что не поймают. Поймать его могут в деле, в работе, когда он передает или получает информацию, вербует или осуществляет операцию. Значит, работать надо чисто. Я так и работал долгих двенадцать лет: сосредоточенно, не думая о постороннем, в том числе об опасности... О березке перед крыльцом родного дома, как пишут в современных героических повестях, тоже не думал. У Дзержинского есть письмо жене, датированное восемнадцатым годом: я нахожусь в самом огне борьбы, живу жизнью солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом, некогда думать о своих и о себе. Это точно подмечено: я тоже крепко подумал о Родине, о семье и о себе только раз, когда давал согласие работать в разведке, и мне этого «раза» хватило на все испытания и на всю жизнь, до этой самой минуты.

Портрет. Англичане делят всю литературу на фикцию и нефикцию, вымысел и невымысел. И я так стал делить, оказавшись за решеткой: совершенно «не шла» художественная литература, даже любимые Чехов и Бальзак. Только конкретная; по-вашему, документалистика? Да? Впрочем, я всегда был грубым реалистом: стихов никогда не писал и не понимал людей, которые пишут. Как можно рифмовать нечто сокровенное, которое в моем понимании потому и сокровенное, что никакой искусственной обработке не поддается, а если поддается, тотчас перестает быть сокровенным? Эта моя мысль скорее всего свидетельствует о дремучести моих чувств и о вздорности моего характера, верно? Зато диссертацию по физике я в тюрьме начал: выписал два десятка специальных книг из тюремной библиотеки. Вы уже поняли, очевидно, что я не «лирик»...

Качества. Применимо ли к нам, разведчикам, понятие «один в поле воин»? Нет и нет! Во-первых, мы не обладаем ни сверхчутьем, ни сверхсилой, мы не сверхчеловеки; агент 007 сугубо литературен, а потому нежизнеспособен. Таких разведчиков в реальной жизни не встретишь, они нашей профессии, если угодно, противопоказаны: торчат посередине пресловутого «поля» не воинами, а очень заметными часовыми-дураками, неумело поставленными нерадивыми командирами — с какой стороны ни зайдешь, отовсюду это их «сверх» видно! Разве можно разведчику эдак торчать? Он должен быть мышью за веником, потому что вся его сила в незаметности и в его помощниках, которые таскают ему в норку информацию. Это, как я уже сказал, «во-первых», а во-вторых, участок деятельности каждого разведчика столь узок и мал, и так негромок, что сам по себе вроде мозаики: почти ничего не решает, а только вкупе с такими же многими, собранными «в картину», что-то и значит. И получается, что более справедливо сказать: один в поле как раз не воин!

Автор:

Эпизод (из беседы). Однажды во время очередной встречи с Лонгсдейлом я уточнил вопрос, ранее заданный ему письменно, но сам себя загнал этим в угол. Речь шла о способах переправки разведчика за кордон. Я спросил Конона Трофимовича, каким образом его впервые забросили — ну, сказал я, предположим, в Канаду: легально или нелегально? Сразу с документами или с легендой, дающей возможность со временем получить паспорт? А главное, как? С помощью подводной лодки или романтическим образом поместили в контейнер с отверстиями для дыхания и сухогрузом доставили в Монреаль? Или «элементарно» кинули ночью с парашютом сразу в пригород какого-нибудь Ванкувера? Пока я фантазировал, мой герой и его коллеги весело переглядывались. Потом Ведущий мягко сказал: «Видите ли, это секрет». «Но мне что-то надо писать,— возразил я,— не родился же Конон Трофимович в Канаде, а как-то туда попал!» «Вот вы и придумайте, как»,— неожиданно предложил Лонгсдейл, а Ведущий, поправив платок, уголком торчащий из нагрудного кармана пиджака, так же мягко добавил: «Но имейте в виду, если у вас получится глупость вроде контейнера и сухогруза, вы сами не захотите пользоваться таким нереальным способом. Но если будете близки к истине, то есть угадаете, мы вежливо попросим вас придумать что-то другое. Ну, а если у вас родится нечто совсем оригинальное и способное к реализации, мы вас, конечно, поблагодарим и... тем более «попросим»!» Я был в недоумении: что же мне делать? Они улыбались: мол, не взыщите, мы живем по странным законам! Затем Лонгсдейл взял со стола спичечный коробок и великодушно произнес: «Принцип я вам объясню, он не сложен. Смотрите на спички». Я смотрел, а он говорил, манипулируя при этом коробком со спичками, ставя его то на «попа», то на «живот», то «ребром»: «Вот я (на «живот», этикеткой вниз) сажусь в Москве в поезд и еду, предположим, в Финляндию, но приезжаю туда (на «попа»!) уже другим человеком, потому что на вокзале в Хельсинки после таможенного досмотра мне передают новые документы, с которыми я плыву в Стокгольм, где снова («ребром»!) получаю документы, сажусь с ними в самолет и лечу — куда вы сказали? В Канаду? Хорошо, в Канаду, и на подлете к Монреалю в самолете мне передают (снова на «живот», но этикеткой вверх!) документы, и через пару часов я (на «попа»!) — в Торонто или Ванкувере. Вопросы есть?» Вопросов не было, и все они удовлетворенно заулыбались, а Ведущий, не меняя своего амплуа, мягко произнес: «Но дословно так, как только что объяснил вам Конон Трофимович, мы тоже попросили бы вас не писать...»

Ведущий:

Сюжет (продолжение). Когда Л. покидает телефонную будку, до встречи с Вагнером остается два с половиной часа. Решив вести дальнейшее наблюдение, Л. направляется вновь к дому Вагнера. Это один из самых рискованных моментов операции. Наконец, он видит, что Вагнер выходит из дома и садится в «фольксваген». Ждет. Потом вдруг выходит его жена, и они вместе отъезжают в машине. Теперь Л. приходит к ясному предположению о том,что Вагнер все же готовит ему ловушку.

— Извините, но я это понял уже давно!
— Да? Интересно.

Решив принять меры предосторожности, Л. едет в «Капитоль», сдает номер, но предупреждает обслугу, что за вещами он придет позже (на слу-

чай, если его «установят» и организуют преследование, Л. хотел оставить у противника надежду на то, что он вернется за вещами), а затем отправляется на вокзал. Там он покупает билет на поезд до Франкфурта-на-Майне, а также билет на экскурсионный автобус до Китцингена. Поезд на Франкфурт отходит в 13 часов ровно, а автобус на Китцинген пятнадцатью минутами раньше. После этих приготовлений Л. идет в ресторан «Капитоля» завтракать. Из окна ресторана хорошо просматривается трамвайная остановка, куда должен явиться на встречу Вагнер. На часах 11.45.

Вагнер подъезжает через десять минут (Л. только лишь успел заказать пиццу), выходит из «фольксвагена», но оставляет за рулем жену. Он терпеливо ждет пятнадцать минут, изредка поглядывая по сторонам. Потом подходит к табачному киоску возле остановки. Вероятно, это был условный сигнал, так как со стороны туннеля на Цельтисплатце появляются четверо мужчин и подходят к Вагнеру. Некоторое время они что-то обсуждают, поглядывая на часы. Затем один из мужчин поправляет шляпу, и к ним сразу подкатывают две машины, в одной из которых за рулем жена Вагнера. Трое мужчин садятся в «мерседес», один вместе с Вагнером в «фольксваген», и все они едут в направлении к вокзалу. Л., съев пиццу, покидает ресторан и, не заходя в номер, тоже отправляется на такси к вокзалу.

— Зачем?! И так все ясно!
— Вам. Но вашему герою предстояло выносить приговор.

Он видит: обе машины уже на стоянке возле вокзальной площади. Хотя опасаться Л. следует только Вагнера, который знает его в лицо по единственной встрече, это тоже очень рискованный момент. Желая окончательно убедиться в коварстве Вагнера, Л. входит в здание вокзала и останавливается на некотором расстоянии от выхода на перрон, где проверяют билеты. Там Вагнер и двое мужчин, они стоят подле контролера, держа руки в карманах плащей. Вагнер при этом бесцеремонно вглядывается в лица идущих к поездам пассажиров. Тогда Л. быстро покидает вокзал.

— Надвинув на глаза шляпу?
— Если угодно.

Экскурсионным автобусом он отправляется в Китцинген, там ночует и на следующий день оказывается уже в Берлине. Перевербовка Альфонса Вагнера, к сожалению, срывается. Провал. Позже становится известно, что Вагнер действительно сообщил геленовскому руководству и о своей прежней связи с советской разведкой, и о передаче ей за деньги материалов на американскую агентуру, и об «искреннем» раскаянии, и о визите Л. Его не наказали, потому что он «честно» намерен был расплатиться советским разведчиком, однако не виноват, что это не получилось, хотя он делал все, что ему велели. Правда, Вагнеру предложили хранить все происшедшее в глубокой тайне. В 1961 роковом для него году Альфонс Вагнер все еще работает в БНД, занимая небольшой руководящий пост в Нюрнберге, носит подпольную кличку «Вебер» и имеет цифровой псевдоним «2757».

— Вы сказали: «роковом» году. Что с ним случилось?
— Погиб в автомобильной катастрофе. Сгорел.
— Неужели?!.
— Нет, конечно. По-видимому, приговор ему вынесли они сами, и они же привели его в исполнение. Он явно переигрывал...
— Вагнер знал, откуда возмездие? Не мог подумать на вас?
— Надеюсь, ему успели объяснить: кто и за что.
— Л. к тому времени уже выполнил свою основную задачу?
— Более того.

Дальнейшие события развиваются так. После неудачи с Вагнером Л. полностью переключается на «старого друга» Герхарда и в конце концов, после трудных «переживаний» морально-этического характера, принимает его предложение о сотрудничестве с БНД. Они вместе перебираются в центр геленовской разведки, находящийся в Цуллахе, недалеко от Мюнхена. Там Л. близко сходится с хорошим знакомым Герхарда, которого я назову Гансом. Ганс ответственный сотрудник БНД, матерый разведчик, когда-то работавший под началом адмирала Канариса — шефа гитлеровской разведки. Л. устанавливает, что американцы из ЦРУ усиленно обхаживают Ганса, надеясь заполучить его, и вербует крупного разведчика прямо под носом у американцев. Вербовка Ганса доставляет Л. истинное и довольно редкое в нашей профессии удовлетворение, так как Ганс сам идет навстречу вербовке, имея на то свои причины...

Конон Трофимович:

Быт. Лондон. Меблированная квартира в 800-квартирном доме (по сто на этаже, кроме первого, где бассейн, клуб, салон красоты, бар, магазинчик самообслуживания, парикмахерская — и все это по ценам в два раза выше обычных, но торопишься — увы, заплатишь!). Кухонька маленькая, с цементным полом (что плохо: в деревянном можно что-то спрятать!); на полу ковер. Белье меняют два раза в неделю, кроме полотенец, которые надо ежевечерне отдавать в прачечную на первом этаже. Дом — с семью пожарными выходами (прекрасно на случай «ухода»!), десять минут пешком от университета, на улице много молодежи. Контракт на три года с обоюдной гарантией; в договоре еще предусмотрен ковер, чтобы жильцы снизу не жаловались на шум наверху. Мелкий ремонт за съемщиком. Месячная оплата — два шикарных мужских костюма (в привычном для нас переводе на рубли).

Психология. Главное для разведчика, извините, голова, назначение которой, как говорится, не только шляпу носить, но и думать. О чем? Чтобы вырабатывать прежде всего внимательность к мелочам и в связи с ними правила поведения. Каждый поступок надо совершать без паники и на основе здравого смысла. Нельзя все «выходящее из» принимать на свой счет или как провокацию. Например: разведчик покупает в магазине сорочку, и продавец вдруг спрашивает его адрес и фамилию. Для новичка — паника: на кой черт?! А это всего лишь в действии лозунг: «Реклама — двигатель торговли!» В магазине составляют список уважаемых в обществе «солидных» покупателей и печатают в местной газете. Или: только поставил себе телефон, и «вдруг» звонок с предложением какой-то услуги, хотя в справочнике этого номера еще нет. «Откуда вы узнали?!» — в совершеннейшей панике, а абонент отвечает: у меня, хе-хе, на телефонном узле свой человек, сэр! Для нервного и недалекого разведчика такие мелочи в тягость, для спокойного и умного — норма. Логика вместе со способностью думать дают верный вывод и верное поведение.

Работа. Центр — это солидный аппарат с множеством различных служб, его структура архисекретна, даже я ее не знаю, как не знаю и того, кто мой непосредственный начальник, кто над ним и кто над тем, кто «над ним», и т. д. Обычно: «Второй», передайте «Четвертому», чтобы «Третий»... или наоборот: «Третий», доложите «Первому»! Только так. Если мой непосредственный начальник, который для меня, положим, «Пятый», женился, умер или понизился в должности, я всего этого знать не обязан и не буду: просто у меня или останется прежний «Пятый», или появится новый начальник, который тоже будет «Пятым». Реально за этой цифрой я могу представить себе кого угодно, и мне, собственно, даже неинтересно это делать. Центр для меня есть Центр, хотя, конечно, почерк одного «Пятого» от другого я отличить все же мог: у разных людей разный стиль работы, есть и другие тонкости и различия. Мы, бывало, даже шифровальщиков по их манере угадывали: это — работа Михаила Всеволодовича, это — Виля (Вильгельма), а это — Сонечки. Думаете, я когда-нибудь видел их в глаза? Видел: после обмена и возвращения на Родину. Председатель устроил специальную встречу с технической службой: знакомьтесь, когда вам передавали

закодированный текст и в конце его звучал сигнал «я куккаррача» (точка, три тире), это был Вильгельм, прошу любить и жаловать. А если перед пожеланием вам доброго здоровья шло «я на горку шла» (две точки, три тире), это Сонечка... Шифровальщикам я жал руки, а Сонечку расцеловал, они были для меня Голосом Моей Земли, самыми близкими, почти родственниками. Впрочем, я не сентиментален, как вы успели заметить.

Однажды. Получаю задание Центра отправиться в турне по Европе: за двенадцать дней — десять стран. К концу путешествия я буквально валился с ног, причем больше от разговоров, чем от километров, а мои случайные попутчики-собеседники, в том числе даже старые люди, почему-то держались бодро. В чем секрет? Искусство беседы! Я с ними — по наитию, а они со мной — «по Карнеги», которым тогда увлекался весь мир: сидишь с человеком, беседуешь, он всю дорогу говорит, не умолкая, ты только слушаешь, а потом он тебя считает интересным собеседником, при этом он — без сил, а ты — как огурчик! Во время упомянутого путешествия в одном купе со мной оказалась на пути из Парижа в Мадрид пара новозеландцев, муж и жена, миллионеры. А я в ту пору ни сэром, ни Лонгсдейлом еще не был, «прошлое» мое было хлипким, не отработанным, поскольку не существовало ни одного человека в мире, который знал бы меня год назад, хотя все документы и всевозможные соображения для легенды были, кажется, в полном порядке. Трудно «родиться» сразу тридцатилетним! Совершенно интуитивно я стал в этом купе не говорить, а слушать. Много говорил старик и все больше о велосипедных соревнованиях, о том, как он в молодости гонял по утрам на вело по двадцать миль, а в итоге на каких-то любительских гонках по Новой Зеландии выиграл первый приз в пять тысяч долларов, и с этого началось его нынешнее богатство. Я молчу. Слушаю. Вдруг он поднимается, отводит меня в коридор из купе и говорит: что тебя держит в Канаде? (Я уже был «канадцем».) — Ничего, говорю, я холост.— Найдешь пять тысяч долларов? — Найду, а зачем? — Плюнь на все, поедем в Уэллингтон, я тебе помогу! И гарантирует мне через три месяца полтора миллиона, так как знает, на каких землях, когда и что будут строить в Новой Зеландии. Выходит дело, мне удалось очаровать старика, хотя, клянусь, я не проронил ни одного лишнего слова, мне просто нечего ему было рассказывать. От заманчивого во всех отношениях предложения, которое, кстати, вполне серьезно обсуждалось в Центре, пришлось отказаться: Центр не устраивали какие-то детали.

Взгляд. Если владелец оставляет машину в центре Лондона, полицейский, обладая универсальным набором ключей, проникает в машину и отгоняет ее куда-нибудь на стоянку, разумеется, за штраф. На зажигании каждой машины есть номер, по которому, разглядев его в бинокль через заднее стекло, можно изготовить по шаблону ключ и увести машину. Впрочем, владельцам это не страшно: авто застрахованы. Что касается ремонта, тут есть нюанс: страховка в два раза меньше, чем выплачивается за то, что машина определенный срок проходит без аварии. По этой причине владельцам выгодно мелкий ремонт делать самим, чтобы получить приличную страховую премию. Бизнес! Если автомобилист сбивает пешехода не на переходе — отвечает пешеход. Но как только он наступает ногой на «зебру», лучше пропусти, всю жизнь потом будешь расплачиваться! Пешеход в Англии, надо сказать, редкой дисциплинированности: бережет не только здоровье, но и карман. Между прочим, по-английски слова «пешеход» и «скучный человек» звучат почти одинаково.

Работа. Я, например, ни разу не приклеивал усы или бороду, не надевал парик, не наряжался в военную форму или женщиной, или в одежду чистильщика сапог. Все это совершеннейшая глупость, потому что резиденту и его помощникам нет нужды куда-то тайно проникать (за очень редким исключением!), стоять сутками за занавеской, выдавать себя за слесаря-сантехника и коммивояжера или карабкаться в окна по веревочным лестницам. Я полностью согласен с моим коллегой полковником А., который сказал, что разведка — это не приключения, не какое-то трюкачество, не увеселительные поездки за границу, а прежде всего кропотливый и тяжелый труд, требующий больших усилий, напряжения, упорства, воли и выдержки, серьезных знаний и большого мастерства. Наша работа, если хотите, даже скучна, а наш метод иногда весьма прост: анализ данных, взятых из газет и других официальных источников информации. Ну, а если мы и достаем сверхсекретные документы прямо «из сейфов», то лишь с непременным условием, чтобы это приобретение не ставило под угрозу сеть нашей агентуры и каждого агента в отдельности. Следовательно, такие документы наши помощники «элементарно» кладут в свои карманы, а мы их так же «элементарно» покупаем. Спрашивается, зачем для этого резиденту с помощником наклеивать бороды и наряжаться женщинами? Я намеренно снимаю лишний налет «героического романтизма» с нашей работы, она и без этого флера достаточно опасна: двадцать пять лет тюрьмы, мною полученные, убедительное и трагическое тому доказательство — не так ли?

Ведущий:

Приложение № 3. Как я уже говорил, Ганс прежде работал у Канариса в русском отделе: превосходно знал многие славянские языки. До и во время войны он был националистом, однако идеалом его был не Гитлер, а Бисмарк. Это маленькое, казалось бы, расхождение с торжествующей в тогдашней фашистской стране доктриной рано или поздно должно было привести (и привело!) Ганса к тем, кто мечтал о восстановлении единой послевоенной Германии, действительно независимой и мирной, живущей в согласии со всеми странами мира. В том числе с СССР. Родная сестра Ганса оказалась после капитуляции рейха с семьей в Восточной Германии, и ей, женщине разумной и трезво мыслящей, не без помощи резидента Д., дважды была устроена встреча с братом, что тоже повлияло на постепенное перерождение, а лучше сказать — выздоровление Ганса.

Но он был идеалистом и по натуре романтиком, наивно полагающим, что в «тайной войне» разведок, неизбежной и жестокой, могут быть тем не менее джентльменские правила игры и даже соглашения во имя того, чтобы едиными усилиями предотвратить войну настоящую, кровопролитную, в которой Ганс уже потерял двух братьев и шурина, а потому был сыт ею по горло. Не сразу убедившись в том, что деятельность геленовского руководства и правительства Западной Германии противоречит его идеалам и стремлениям, он постепенно разочаровывается в БНД, не говоря уже о ЦРУ, идейно отходит от них и, наконец, принимает нелегкое для себя решение «действовать», но как, — не знает.

Вашему герою не понадобились ни деньги, ни обман, чтобы склонить Ганса на свою сторону: Ганс уже был единомышленником. Впрочем, процесс «перековки» Ганса не был простым и безболезненным, поэтому Л. далеко не всегда чувствовал себя рядом с ним в безопасности: Ганса частенько швыряло из стороны в сторону, как Григория Мелехова из «Тихого Дона».

— История знает немало случаев болезненных «перековок», причем как в ту, как и в другую сторону: благородные Брусилов и С. С. Каменев, низменные Власов, Азеф, Дюмулье...

— Зачем «история»? Это и сейчас происходит, пока мы с вами разговариваем. А наша задача сводится к тому, чтобы одним перековкам способствовать, другие — пресекать.

Сюжет (продолжение). Через некоторое время Центр рекомендует Гансу принять предложение американцев с тем, чтобы внедриться в ЦРУ и, кроме того, составить протекцию Л. Так ваш герой становится «цереушником». Однако не сразу: сначала его отправляют в Баварию, где он неделю живет на конспиративной квартире, а затем проводит месяц в школе разведки недалеко от Бадвергсгофена. Там его учат, в том числе топографии и самбо, а заодно «проверяют». После этого Л. попадает наконец в США, и начинается «американский период» его жизни. Тем временем Ганса направляют в Японию, где налаживается разветвленная американская резидентура с базой в Иокогаме; оттуда Ганс регулярно сообщает нашему

Центру о своих делах. Но вернемся к Л. Его поселяют в тридцати километрах от Вашингтона, в лесу, на берегу реки, где он становится уже не «курсантом», а, скорее, «инструктором» секретной школы разведки: учит будущих диверсантов, как «ходят русские» (американцы почему-то были уверены, что вразвалочку, по-матросски), как «пьют на троих», «разливают по булькам», «матерятся»,— все это Л., считалось, знал замечательно, побывав в русском плену. Правда, кроме Л., там был еще один «специалист по России», некий Аркадий Голуб: тогда их дороги впервые пересекаются, а могли бы и раньше, поскольку Голуб тоже был в Баварии на конспиративной квартире, а потом учился и преподавал в школе разведки возле Бадвергсгофена, но чуть-чуть в другое время, так что встретиться в ФРГ им не было суждено.

— Простите, вы сказали: впервые пересеклись дороги. Они потом еще пересекались?

— Как вам ответить? Реально еще нет. Косвенно.

— Не понимаю ваше «еще». Могут пересечься?

— Хоть на ваших глазах.

— ?

— Но практического смысла в этом нет никакого.

— ?!

— Не торопитесь. Терпение в нашем деле, как тормоз в автомашине: не притормозите вовремя, и приходится потом ехать задом...

Конон Трофимович:

Взгляд. Два раза в сутки англичане «гоняют чаи», мода на чай началась, если не ошибаюсь, во время войны. Причем, пьют «без ничего». В Скотланд-Ярде, правда, мне, как иностранцу, давали печенье. Если американец, как бы он ни любил черный кофе, может жить без него, англичанин без утреннего чая с молоком — не англичанин (даже в пустыне Сахара, в армии, в тюрьме!).

Качества. В США одному предприимчивому взрослому человеку понадобились три тысячи долларов, чтобы поехать на слет бойскаутов в другую страну. Он стал искать мецената. Нашел! Но прежде, чем пойти к нему, тщательно изучил его жизнь и узнал, что меценат когда-то подписал чек на миллион долларов, взял его в рамку и повесил у себя в кабинете, чтобы всегда видеть... Я уж и не помню, когда и где мне попалась на глаза эта история, но я держу ее при себе, почему-то уверенный в том, что зачем-нибудь она мне пригодится. Говорю это к тому, что умение откладывать в памяти, словно сухари на черный день, разные истории, факты, цифры и сведения — очень важное качество разведчика — нет, не любителя — профессионала.

Однажды. Лечу уже здесь, в Союзе, рейсом Москва — Сочи и слышу за спиной тихий разговор: вы что-нибудь знаете о Лонгсдейле, который был помощником полковника А.? — Извините, а кто это «полковник А.»? Я, естественно, не оглядываюсь и вспоминаю анекдот вот с такой бородой: учитель в школе спрашивает ученика, в каком году умер Наполеон, а тот отвечает: извините, господин учитель, но я даже не знал, что он болел!

Качества. Исполнительность в смысле дисциплинированность, может быть,— тот главный материал, из которого делается настоящий разведчик: умение ни на миллиметр не отходить от инструкций, правил и предписаний. Кстати, это и фундамент, на котором он может и должен устоять в случае беды и нравственных колебаний, и это же — броня, которая предохраняет его от «прямых попаданий». Нет у нас рядом ни начальников, ни коллектива с месткомом и парт-

организацией, все зависит от нас самих, от нашей самодисциплины, самовнушений и самобичеваний, то есть от категорий внутренних. В армии, например, куда важнее учить подчиняться и, как говорят, «отдавать честь».

Психология. Перед операцией состояние следующее: ни о какой «березке за окном», ни о «колодце возле дома», ни о жене и детях разведчик не думает, не вспоминает. Я лично думал только о деле, был полностью поглощен только им, его деталями. Для посторонних (даже возвышенных) мыслей места в голове не оставалось. Обычно знаешь об операции загодя и продумываешь все мелочи с тщательностью микрохирурга, оперирующего, положим, человеческий глаз. На место едешь заранее, чтобы убедиться, что слежки нет. Волнуешься не ты один, все участники операции нервничают, даже в Центре, в далекой Москве. Как парашютист, который, пятьсот раз прыгая с парашютом, то есть пятьсот раз боясь волков, в пятьсот первый тоже боится, но все же прыгает, так и разведчик. Дурак тот, кто не трепещет и «глаз на деву не косит»,— знаете эту песенку? Мне неведом разведчик, который думал бы перед встречей с агентом: «Ерунда! Встречусь — возьму — передам...» Внешне все очень просто: садишься в обыкновенную электричку и едешь, газету по дороге читаешь. После операции: невероятное облегчение! Но так как работа продолжается, уже думаешь о следующем деле. Этим и живешь. И еще заботами по прикрытию, то есть, проще сказать, о «крыше». Для разрядки я мог иногда пойти в театр, и то не без «задней мысли»...

Качества. Повторю: трезвость ума, выдержанность, самоконтроль — три наших кита. Острое «удовольствие» от нашей работы испытывают только мазохисты и прочие извратители. Может ли врач-онколог быть «доволен» увидев опухоль? Удовлетворение от операции, и то, если она удачно прошла,— это еще куда ни шло! Настоящий разведчик носит в себе постоянное, нормальное, все поглощающее и воистину острое желание: домой! На родину! К семье! Если это и есть патриотизм, пусть будет так. Я знаю определенно, что без этого желания мы рискуем впасть в хандру и меланхолию, попасть под чужое влияние. У англичан есть пословица: моя страна, права она или не права. Универсальная мысль, я ею тоже вооружен. Из двенадцати мальчишек моего класса в живых после войны остался я один. Могу я это забыть? Не хочу больше войн! Эта идея давала мне силы. Если угодно, она же несла и романтический заряд, без которого, будучи по натуре сухим рационалистом, я бы «послал» в свое время предложение работать в разведке куда подальше, и все дела.

Качества. Ну, лингвистические способности. Без них разведчик так же чувствует себя, как солист оперного театра без голоса, с той лишь разницей, что солиста в крайнем случае выгонят, а разведчика — накроют. Как сказано у поэта, не помню, какого (Уткина, что ли? У меня до войны была книжечка его стихов в синей обложке): «Жить, говорит, будете, петь — никогда!»

Очень жалею, что не пошел по стопам родителей: отец — физик, мать — врач, и все родственники-мужчины — физики, женщины — врачи. Но в сорок первом ушел в армию, потом вернулся, и мне отсоветовали заниматься физикой: вроде бы утрачен темп, как у шахматистов. Поздно! Вот и стал гуманитарием, если полагать мою нынешнюю профессию и не точной, и не естественной, да и вообще — наукой ли? В тюрьме, получив несметное количество лет, которых пятерым бы хватило по горло (вот где по-настоящему потерян «темп»!), я решил зря время не тратить и написать теоретический труд по физике: хватился! Если бы обмен не через четыре года, а позже, вернулся бы, чем черт не шутит, доктором физических наук,— а? Впрочем, я так устроен, что никогда не жалею об уже свершенном и не мечтаю попусту. Мои коллеги относят меня тем не менее не к грубым реалистам, а к реалистам с «романтической прожилкой». Ошибаются? Нет?

Взгляд. Зная, что мне предстоит быть «там» бизнесменом, я еще в Москве начал с «Капитала», весь его законспектировал и лишь «под пером» понял то, чего прежде, будучи студентом, совершенно не понимал. Другой прицел! Впрочем, с годик поработав в должности капиталиста-эксплуататора, я пришел к выводу (не уверен, что полностью совпадающему с официальным), что «Капитал» Маркса в практической деятельности бизнесмена помогает вряд ли больше книжечки Карнеги «Как завоевывать друзей...» (я, кажется, ее уже поминал). Не читали? Зря. Она, хоть и примитивненькая и по духу нам, как говорится, чужая, а все же, черт, весьма полезная для некоторых сфер человеческой деятельности, например для бизнесменов (в первую очередь), литераторов, а также (не побоюсь этого слова) разведчиков! Я эту книжечку тоже законспектировал, основные ее положения...

Дейл Карнеги:

Приложение № 4. («Как завоевывать друзей и оказывать на людей влияние»)

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОБРАЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ:

1. Вместо того, чтобы обвинять, постарайтесь понять человека, что значительно полезней критики для вас же, так как воспитывает в человеке способность относиться к вам терпимо, с сочувствием и добротой («Если любишь мед, не разоряй соты!»). 2. Прежде всего необходимо возбудить в человеке заинтересованность, чтобы заставить его самого захотеть сделать что-либо. 3. Когда мы заняты решением своих проблем, мы тратим 95% нашего времени на мысли о себе, что неправильно. Надо перестать думать о собственных желаниях и достоинствах, а попытаться лучше узнать хорошие качества других людей и выразить им одобрение, признательность, которые должны идти от всей нашей души, искренне; надо быть расточительными на похвалу. 4. Лучший способ повлиять на человека,— это говорить с ним о том, чего он хочет, и постараться помочь ему добиться желаемого. 5. Необходимо всегда учитывать точку зрения других людей, их стремления и планы.

ШЕСТЬ СПОСОБОВ ПОНРАВИТЬСЯ ЛЮДЯМ:

1. Проявляйте к ним искренний интерес. 2. Улыбайтесь! 3. Помните, что имя человека является для него лучшим словом из всего лексического запаса. 4. Умейте хорошо слушать и воодушевлять собеседника на разговор. 5. Заводите беседу о том, что интересует вашего собеседника, а не вас. 6. Старайтесь дать человеку почувствовать его превосходство над вами и делайте это искренне и естественно.

ДВЕНАДЦАТЬ СПОСОБОВ ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА СТАТЬ НА ВАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ:

1. Нельзя одерживать верх в споре; единственный способ одержать в споре победу, это избежать его. 2. Уважайте мнение другого человека, вашего собеседника. Никогда не говорите ему прямо, что он неправ. 3. Если вы знаете, что кто-то думает или хочет сказать о вас нечто отрицательное, обезоружьте его, сказав об этом раньше. Если вы неправы, признавайтесь в этом быстро и в категорической форме. 4. Начинайте всегда беседу в дружеском тоне, ибо капля меда привлекает мух больше, чем целый галлон желчи. 5. Разговаривая с кем-то, не начинайте с тех вопросов, по которым ваши мнения расходятся, а начинайте и продолжайте говорить о тех проблемах, мнения по которым совпадают. Заставляйте человека говорить «да» сразу, то есть постарайтесь получить у него утвердительный ответ в начале беседы. 6. Дайте возможность собеседнику больше говорить, а сами старайтесь говорить меньше, чем слушать. Если вы не согласны, не прерывайте собеседника, это опасно; дайте ему высказаться, подбрасывая вопросы. Постарайтесь его понять. 7. Дайте человеку почувствовать, что идея, которую вы подали, принадлежит ему, а не вам. 8. У всякого человека имеется причина поступать именно так, а не иначе. Найдите причину, и вы получите ключ, с помощью которого разгадаете действия человека и даже его личные качества. Старайтесь смотреть на вещи глазами вашего собеседника. 9. Относитесь с сочувствием к желаниям другого человека. 10. Прибегайте к благородным, а не истинным мотивам. 11. Используйте принцип наглядности для доказательства своей правоты. 12. Если вы хотите заставить волевого, с сильным характером человека принять вашу точку зрения, бросьте ему вызов в том смысле, что возьмите под сомнение его возможности и способности что-то сделать или, наоборот, публично провозгласите уверенность в том, что он это сделать может.

ДЕВЯТЬ СПОСОБОВ ИЗМЕНИТЬ МНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, НЕ ВЫЗЫВАЯ ПРИ ЭТОМ ЕГО НЕГОДОВАНИЯ ИЛИ ОБИДЫ:

1. Начинайте беседу с похвалы собеседника и восхищения им. 2. Не говорите человеку прямо в глаза о его ошибках. 3. Прежде чем критиковать других, укажите на собственные недостатки. 4. Задавайте вопросы, вместо того чтобы отдавать приказания. 5. Дайте возможность человеку сохранить свою репутацию. 6. Хвалите собеседника за малейшие его достижения; будьте искренни в одобрении и щедры на похвалу. 7. Создавайте человеку хорошую репутацию, которую он мог бы оправдать; приписывайте ему хорошие качества, доказывая наличие которых, он будет совершать достойные поступки. 8. Прибегайте к поощрениям; старайтесь показать человеку, что то, что вы хотите от него получить или добиться, легко осуществимо именно и только им. 9. Поступайте так, чтобы человек был счастлив сделать то, что вы ему предлагаете.

Конон Трофимович:

Работа. Смысл добытых разведчиком сведений состоит в том, чтобы они попали в Центр. Тогда эти сведения становятся «разведывательными», в противном случае — пустыми. Наиболее важные данные можно передавать Центру по рации, причем иногда даже так: «Достал, ждите!» (Помните знаменитую телеграмму из анекдота: «Волнуйтесь, подробности письмом»?), а потом все же переправить по назначению. Особенно долго рацию не эксплуатируют, минуты две-три, иначе могут засечь, тем более что Центр работает по старинке, обычным ламповым передатчиком; впрочем, ну, так запеленгуют Москву — ну и что? Важно, чтобы я остался «чистым». Когда для нас должна быть передача, Центр предварительно дает позывные на волне, согласованной заранее, а то ведь весь мир передает по пять знаков — ищи ветра в поле, если не условиться о волне! Прием мы осуществляем на слух, это нетрудно, поскольку передача ведется «тихоходным» ключом. А современные разведчики уже давно перешли на быстродействующие транзисторные радиостанции: один импульс — и вся передача! Попробуй запеленгуй. Я не знаю ни одного провала по этой причине. Пользуемся кодом и шифром. Шифр — это цифры и буквы, а код — «новый язык»: например, «болит голова» — значит, неприятность, «идет скорый поезд» — чрезвычайная готовность, «хорошая погода» — будет курьер; короче, как уговоримся заранее. Если противнику каким-то образом попадает в руки кодовая книжка, это — конец. Сегодня чистым кодом пользуются редко, заменяют его шифром с элементами кода (смесью), иначе с помощью ЭВМ можно быстро все расшифровать; письменность «майя», и ту расшифровали. Кстати, если читать — дело секунд, то зашифровывать — адская работа, спасибо, уже облегчили жизнь разведчикам: придумали специальные шифровальные машины. Когда мы передаем в Центр телеграмму с пометкой «Цито!», мы уверены, что ее содержание будет доложено руководству немедленно.

Качества. Идеальный разведчик — тот, кто умеет уходить от соблазнов. Вот мне, считайте, повезло с «крышей»: миллионер! А мой коллега, который ничуть не хуже меня, десять лет прожил за границей, работая консьержем: каждый сочельник обходил жильцов, «проздравлял с праздничком» и получал свои чаевые. Чтобы хорошо и красиво поесть, он раз в год, испросив разрешение Центра, уезжал в другой город другой страны, надевал вместо рабочей блузы смокинг, шел в ресторан и обедал со стерлядкой «по-русски» и с креветками, чего не мог себе позволить, не вызвав подозрений, будучи консьержем. Господи, не в креветках дело! Я о том говорю, что мне, миллионеру, роскошные обеды, в отличие от моего коллеги, есть приходилось каждый день и тоже, чтобы не вызвать подозрений: как говорится, судьба — индейка!

Но жил я на самом деле «по системе Станиславского». Что это значит в моем понимании? У меня было восемь автомашин разных марок, я ездил на бензине с октановым числом «100» (пять шиллингов за галлон), имел в пригороде Лондона виллу и несколько номеров в лучших отелях города, снятых «на постоянно»; впрочем, все это и было «по системе Станиславского», потому что на самом деле ничего этого у меня не было: ни виллы, ни восьми автомашин, ни капитала в несколько миллионов фунтов стерлингов, ни полуторы дюжины вечерних костюмов, а был я рядовым и счастливым обладателем «Волги М-21» с оленем на капоте, двухкомнатной квартиры в Москве, правда, в высотном доме на площади Восстания, а также четырех сотен рублей, которые выдавали ежемесячно моей жене Гале.

Миллионерские соблазны (не скажу, чтобы у меня их не было, да и как могло не быть при владении такими немыслимыми богатствами?) следовало, конечно, преодолевать. Не скрою: делать это было трудно, в условиях жестокого подполья вообще нелегко сохранять нравственное здоровье и духовную высоту. Я старался держать себя в руках, не поддаваться страстям и понимал, что умение носить маску, оставаясь при этом самим собой, и делает в конечном итоге разведчика профессионалом — в отличие от любителя, который сорвется на первом же повороте. Маска миллионера давала мне, казалось бы, право на роскошную жизнь, но я правом этим пользовался сдержанно и ровно настолько, чтобы не быть среди миллионеров белой вороной. И все же маска так прилипала ко мне, что грозила стать второй кожей, хотя вся моя человеческая и партийная суть восставала. Я и сейчас, вернувшись на Родину, не всегда могу ее снять, из-за чего у меня уже были и еще будут неприятности, но да бог с ними — не тема! А вас я серьезно прошу иметь в виду и предупреждаю: поскольку, даже разговаривая с вами, я иногда продолжаю играть миллионера сэра Лонгсдейла, делайте, когда почувствуете в этом необходимость, «поправку на маску».

Работа. Живая связь Центра с разведчиком осуществляется с помощью курьеров. Это посторонние люди, имеющие возможность регулярно бывать за границей: стюардессы, моряки торгового флота, музыканты, спортсмены. Впрочем, они постоянны для Центра, а для нас — разные, никого из них в лицо или по именам мы, как правило, не знаем. И вообще, в целях безопасности разведчик каждый раз встречается с курьером, во-первых, по специальному указанию Центра и, во-вторых, по новому (лучше сказать, свежему) паролю. Разумеется, курьер приходит на встречу не в форме стюардессы или боксера, а в обыкновенной гражданской одежде.

Главный принцип: важная информация должна быть передана из рук в руки. Ловкости фокусника для этого не требуется, литераторы и кинематографисты тут явно перебарщивают, заставляя и курьера, и разведчика многократно озираться по сторонам, а в момент передачи свертков и пакетов смотреть один влево, другой вправо и делать вид, что они вообще друг друга не знают и встретились случайно, как споткнулись. Но именно такая, извините, «методика» как раз и способна привлечь постороннее внимание. Все делается много проще. Ведь люди, встречаясь на улицах, в парках, кафе или в метро, обыкновенно не оглядываются пугливо, если, конечно, у них не любовное свидание и если они не опасаются ревнивых супругов: они спокойно здороваются, хлопают друг друга по плечам, иногда целуются, не воротят физиономий, а дарят цветы, обмениваются книгами, рассматривают фотографии, хвастают покупками, шушукаются, смеются и печалятся, и никому до них нет дела, особенно за границей. Ну, а если за ними кто-то специально следит, им уже поздно маскировать свои отношения, маскироваться должен как раз следящий: поднимать воротник плаща, надвигать на лоб шляпу, поминутно оглядываться, «читать» газету — вот тут кинематографисты могут «гулять», как им хочется. (Работникам кино и пера, наверное, от меня достается, но, во-первых, они, надеюсь, это обстоятельство переживут, а, во-вторых, достается отнюдь не по злобе, я этот хороший народ уважаю, а по праву, узурпированному мною, как узким специалистом, считающим для себя не только возможным, но и законным такое вмешательство в чужие дела во имя якобы охраны «чистоты» своего жанра.) Так вот, встречаясь с курьерами, мы ведем себя просто и естественно, а если оглядываемся, то после встречи, чтобы уйти от слежки, когда она нами зафиксирована.

Впрочем, если разведчик попадает «под колпак» (мы еще говорим: «садится на мушку»), ему уже мало что способно помочь, так как против него, кроме Скотланд-Ярда, начинают работать даже невинные дети. Играя, они запоминают, к примеру, номера автомашин: кто больше? Потом их спрашивают: вы не видели в Бирмингеме машину с лондонским номером? Видели! И диктуют ваш номер, как бы вы ни осторожничали, проезжая мимо. К слову сказать, дети по природе своей лучшие контрразведчики!

Психология. Я примерно знаю, что вы о нас думаете: боже, как они одиноки! Из чего вы исходите? Одиночество — удел преследуемых людей, и нас вы относите к их числу. Вы даже убеждены, что в случае провала иные страны списывают разведчиков со своих счетов, не всегда имея возможность признать их «своими», чтобы затем обменять. Это я ваши мысли цитировал, теперь свои: обменивают нас, обменивают и «своими» признают! И я тому классический пример...

Автор:

Эпизод (из беседы). У меня было несколько, как я понимаю теперь, наивных просьб, в ответ на которые Ведущий недоуменно пожимал плечами, а Лонгсдейл и его коллеги отшучивались. Так, однажды я попросил, чтобы «для полноты ощущений» меня познакомили с «любым» — оценили? — арестованным у нас американским или английским шпионом, которому я мог бы задавать вопросы, связанные с психологией провалившегося разведчика. Ведущий, как я сказал, был в некотором недоумении, а Конон Трофимович под дружный смех присутствующих произнес: «Во-первых, ими занимается другой отдел, не наш, а во-вторых, откуда мы возьмем для вас шпионов, если сегодня, слава богу, не тридцать седьмой год!»

Провал. Сцену ареста Лонгсдейла я видел в английском художественном фильме, ему посвященном. В роли советского разведчика был актер, внешне похожий на Конона Трофимовича: скуластое лицо, восточные глаза, небольшая по габаритам фигура, аккуратно сидящий костюм, стрижка бобриком. По фильму: Лонгсдейл сидит в парке на скамейке, вокруг тихо и пусто, к нему подсаживается агент, и в то мгновение, когда они обмениваются свертками, из всех кустов появляются полицейские и люди в штатском, одновременно человек пятьдесят, и кидаются к Лонгсдейлу. Немедленно встав со скамейки и протянув вперед руки, Лонгсдейл спокойно говорит офицеру, надевающему ему наручники: «Прошу вас отметить в протоколе, что я не оказал сопротивления при аресте». Голос за кадром: «Благодаря этому обстоятельству он получил потом на десять лет меньше того, что мог бы получить...»

Фильм мы смотрели вдвоем. Конон Трофимович комментировал. Про сцену ареста сказал, что снято довольно близко к истине. Потом добавил: когда на него надели наручники и обыскали, нет ли оружия, он заметил, что один полицейский зорко следит за тем, чтобы арестованный не проглотил ампулу с цианистым калием (вероятно, по нашумевшей ленте «Пять секунд, и я умираю!»). «Мне казалось,— продолжал Конон Трофимович,— что все это не со мной происходит, какой-то кошмар! Я бы сказал: как в кино! Хотя и понимаю, что степень реальности происходящего зависит от когда-то избранного амплуа. Поясню. Ни страха, ни волнения я не испытывал. Кто-то из полицейских, держа мои руки в своих, явно считал мой пульс и до того был поражен спокойным ритмом, что

вытаращил на меня глаза. Тогда я спросил его: «Вы врач?» Он ответил: «Мы везем вас в Скотланд-Ярд, вы это понимаете?» Куда меня повезут, я знал еще двенадцать лет назад!..

Аркадий Голуб (он же А. Алексеевский, он же А. Голубев):

Судьба. Я находился в районе города Джабраил. Сидел как-то в ресторане, рядом рос огромный клен, из-под которого вытекал ручей; ресторан как бы сросся с кленом, его второй деревянный этаж словно жил на разросшихся ветвях. Огрызком чернильного карандаша написал на столе строки, вдруг пришедшие в голову:

С пути-дороги совсем я сбился,
А потому попал сюда.
Воды холодной и я напился
Под этим кленом из родника...

Короче, решил бежать. По мелководью перешел реку Аракс, сел на том берегу, долго мучился, думал идти обратно, но вошел в воду только по щиколотки. Она охладила. Зачем-то помыл ноги. Мне фантастически повезло: граница была позади, я — в Иране. Первыми меня заметили жители деревни, позвали полицейского.

И началась моя одиссея.

Полицейский переправил меня в Тебриз, в тюрьму, которая называлась «шахрабани» — полицейская, через несколько недель я уже очутился в Хурамабаде, в армейской тюрьме — «дэжбани», а потом в лагере «Кэмп», где почти не кормили и не поили, держали на солнцепеке. Чуть не сдох. Просидел в общей сложности восемь месяцев, пока меня не отправили на поселение в Исфаган. Там я познакомился со старым эмигрантом Александром Благообразовым, который бежал вместе с женой из России еще двадцать лет назад, в 1933-м. У него была в Исфагане механическая мастерская. Отнесся он ко мне с пониманием и сочувствием, дал взаймы немного денег и свел с брюхатым Селгани, владельцем дохленького электрорадиомагазина. Я стал работать, руки у меня золотые плюс четыре курса технического вуза. Но платил он мне всего три тумана в сутки: хватало, чтоб не помереть с голоду. «А я еду, а я еду за туманом...» Увидев, что я действительно хорошо разбираюсь в радиоаппаратуре, Селгани открыл при магазине мастерскую по ремонту. Через год мы с ним стали компаньонами. Между прочим, брюхатый эксплуататор был членом какой-то левой партии Ирана, подозреваемой в связях с коммунистами. Не без моей помощи Селгани вскоре последовал туда, откуда я уже вырвался. Магазин и мастерская перешли ко мне, от семьи толстяка я откупился небольшой суммой и даже отдал долг Благообразову. Тут-то он и свел меня с Волошановским и Кошелевым, после чего начался мой «американский» период жизни. Эти два типа были сотрудниками ЦРУ и находились под началом Стива (Стифенсона).

У меня тогда уже была мысль вернуться в Союз, я даже несколько раз подходил к советскому консульству в Исфагане, но войти не решался: грехи не пускали. Стив завербовал меня у себя на квартире, предварительно выяснив, что я могу. Что я мог? Кроме прочего, я имел профессию радиста-оператора: закончил в Кемерове полугодичные курсы с любительским статусом. Стив проверил мои способности: слух, память, умение различать цвета (кстати, я дальтоник), знание «морзянки», скорость работы на ключе, даже попросил напечатать текст на пишущей машинке. Потом мы втроем (я, Стив и Кошелев) самолетом перелетели в ФРГ, причем совершенно официально: документы мне дали «натуральные». Где-то под Мюнхеном, километрах в тридцати — сорока от города, в каком-то старом особняке меня проверили на «детекторе лжи» и, несмотря на то, что я, будучи в действительности Аркадием Голубом, назвался детектору Антоном Алексеевским, он подтвердил, что мои сведения правдивые. Смех!

Потом меня отправили в Баварию, и я шесть месяцев прожил на конспиративной квартире со Стивом и Кошелевым. Кошелев обучал меня парашютному делу, топографии, фальсификации документов, а Стив — самбо и «свежей советской действительности»: какие в СССР за последние три года появились марки телевизоров, типы самолетов и грузовиков, какие вышли новые законы, чтобы я в случае заброски не был «оторван от жизни». Но до заброски дело пока не доходило, да я и не рвался. Откуда-то они все же узнали потом, что я не Алексеевский (фамилия жены), а Голуб, что был судим за вооруженный разбой, осужден и бежал из лагеря, находящегося в Средней Азии. Досталось мне на орехи! Нет, не за разбой и побег, а за сокрытие настоящего имени, прошлое же мое их как раз устроило, потому что даже с повинной мне теперь назад хода не было. А я сказал, что наврал им нечаянно, просто хотел проверить детектор и был уверен, что он меня все равно раскроет, я же не виноват, что ваш детектор липа! Они посмеялись над моей «наивностью» и передали американскому майору Майклу Огдену. Он увез меня из Германии в США.

Больше трех месяцев я прожил где-то под Вашингтоном, в лесу, там еще речка рядом глубокая и богатая рыбой; название этого места я так и не узнал, хотя и пытался, мне интересно было, я по природе любознательный, но эта школа считалась у них сверхсекретной. Меня опять учили разведделу, особенно старался один немец по имени Франц (кличка «Феодóр»), он здорово знал русский: полвойны просидел в лагере для военнопленных где-то в Сибири и стал большим «специалистом по России». Франц замечательно матерился, ни в каких учебниках не прочитаешь, там акцент очень важен и ударение, такое искусство можно перенять только «из рук в руки».

После Вашингтона я был в сопровождении Тони (фамилию не говорили, но внешность, как и наличность «Феодóра», описать могу) переведен в город Бойс, штат Калифорния. На две недели. На чистый отдых, поскольку перед заброской. Мы ходили с Тони на лыжах (дом стоял высоко в горах), охотились, у меня мелькнула было мысль убрать Тони,— но куда бы я и как подался из Калифорнии со своим одна четверть немецкого языка в объеме советской средней школы? Выходит дело, хорошо, что так плохо нас языку учили: вот крылья у меня и подрезаны! Извините, отвлекся. Последние четверо суток мы прожили с Тони в Чикаго, где отрабатывали радиосвязь в условиях большого современного города и его естественных помех. А потом еще два дня купались на мысе Конкорд. Я терялся в догадках: куда меня забросят, в смысле — в какое место России? Судя по столь тщательной подготовке, с иронией думал я, не иначе, как прямо в Кремль! Со мной уговорились, что если меня берут и заставляют работать под контролем, на вопрос базы: «Какой длины антенна вашего приемника?», я должен давать ответ «в метрах», а если я на свободе и работаю без контроля, то «в футах». Но мыс Конкорд еще не был концом моего долгого путешествия: целую неделю меня продержали с неразлучным Тони в Сан-Франциско, оттуда на пять суток перебросили в Токио и, наконец, последние перед заброской три дня я прожил на базе в Иокогаме, с которой должен был поддерживать связь, оказавшись на территории Союза. Тони со мной уже не было, а были четыре человека: двоих я знал только по именам и видел впервые — Билл и Том, одного, по фамилии Волошановский, запомнил еще по Ирану (очень образованный человек, владел несколькими языками), а четвертым был все тот же Кошелев. Руководил ими Стив, которого, правда, я видел в Иокогаме только раз: он говорил мне напутственные слова перед заброской. Между прочим, меня уже звали не Алексеевским и даже не Голубом, а Джони Муоллером, а по кличке — «Лириком». За час до посадки в морской катер я написал в блокнот стихи, которые сочинил еще в Исфаганской тюрьме (хотя и понимаю, что это не поэзия, а только душа):

Я приехал теперь в Исфаган,
Всюду слышу здесь речь неродную
И во всех незнакомых местах
Я по Родине русской тоскую.

Там пройдут проливные дожди,
Когда поздняя осень настанет.

Дорогая Светлана, дождись,
Я вернусь, что со мною ни станет!

Одинокий, забитый, чужой,
Просидел я полгода а нутузке.
На свиданье никто не пришел,
Чтоб узнать о судьбе души русской!

Светлана, моя жена, сейчас в Кемерове. Наверное. Извините, гражданин следователь... Вы не следователь? Все равно, позвольте спросить: как вы думаете, я могу рассчитывать на снисхождение? У меня... я ведь и сделать-то ничего не успел: утром высадили в районе Петропавловска-на-Камчатке, у меня даже предчувствие было, а днем уже взяли, и я сразу сказал, еще при задержании, что согласен работать под контролем. Мне сохранят жизнь?

Конон Трофимович:

Провал. В тюрьме мне казалось, что тюрьма ненастоящая, просто кошмарный сон, и мне нужно как можно быстрее проснуться. У каждого разведчика, живущего за границей долго, позвольте заметить, должна быть отдушина, какое-то увлечение: теннис, рисование, шахматы, коммерция,— чтобы не думать постоянно о том, что ждет впереди. Как солдат, сидя в окопе, привыкает к мысли о возможной гибели, так и разведчик всегда сознает опасность, но если солдат и разведчик — разумные люди, они не позволят этому сознанию овладеть ими, в противном случае нервы, не выдерживая напряжения, начинают преувеличивать опасность. Страх? Нет, я не о нем, поскольку существует, мне кажется, такой парадокс: настоящая опасность парализует страх! Страшно «до» и «после», но в самый момент — никогда. Я эту мысль не буду расшифровывать, в нее надо просто вдуматься. И еще: хладнокровных людей, наверное, вообще не бывает, а если они и есть, то — роботы, ремесленники. А разведчик — личность творческая, ему все интересно: и поиск, и даже провал. Азарт! — как у физика, работающего над открытием, как у шахматиста, который рассчитывает комбинацию, как у охотника, идущего по следу зверя, и даже как у жертвы, уходящей от охотника... Великие Мата Хари и Блейк были больше игроками, исследователями, чем шпионами, уныло и механически исполняющими свои обязанности.

Работа. Как проникнуть на военный объект, где двенадцать тысяч работающих и где режим повышенной секретности? А как, подумал я, «проникают» туда они сами, причем трудясь в одну смену? Как успевают за десять минут пройти через проходную? Неужели документы проверяют у каждого, и фото каждого сверяют с оригиналом? Стал изучать вопрос (сколько же вахтеров нужно на эти тысячи людей!) и понял, что все элементарно просто: форма и цвет кокарды на берете рабочего! Мне тут же изготовили подобие, и я дважды в течение дня не только сам прошел беспрепятственно на секретнейший объект (в 8 утра и в ленч), но и провел коллегу, приехавшего из Вашингтона в Лондон с «интересом» к данному объекту. Прошли в общем потоке, через проходную.

Качества. По отношению к нейтральным знакомствам и связям разведчик должен быть нормальным человеком. Я им был: бизнесмен, который почти не интересуется политикой и делает деньги,— ни коммунизм, ни фашизм мне «ни к чему». В итоге: говорить «против» у меня никогда нужды не было, и тостов с бокалом в руке, как Кадочников в «Подвиге разведчика», за нашу победу я тоже публично не произносил. Потому, повторяю, что у меня было амплуа нормального человека.

Однажды. По делам фирмы мне выпала поездка на трое суток в Ленинград. Получив санкцию «Первого», мои коллеги преподнесли мне царский подарок: привезли из Москвы жену. Кстати, ни мать, ни отец, ни Галя не знали, где я работаю и кем. По легенде, которая была «для дома, для семьи», я в качестве научного сотрудника находился на Востоке, мои письма домой шли через Китай, а если соседи или дальние родственники спрашивали Галю «с подозрением», почему это я так долго в командировке без жены и детей, Галя, умница, отвечала, что из-за аллергии: климат для нее в Китае неподходящий. Представьте, верили! И вот мы с Галей в Ленинграде. Встречу нам устроили «как в кино» — в кафе на Невском, в котором танцуют. Стало быть, с музыкой. Я пришел. Они уже сидят. Подхожу к моему коллеге, который сопровождает Галину в качестве ее «партнера», пожираю жену глазами и с трепещущим сердцем прошу, как и положено, у него разрешения потанцевать с «вашей дамой». И он, бандит, мне отказал! Как я удержался и не врезал ему бутылкой по башке, не знаю (хороши «шуточки»). Потом мы сделали с Галей два полных круга, она спросила про погоду в Китае, я, как идиот, почему-то поблагодарил: спасибо, хорошая,— и только потом, через много лет, когда я, обмененный, вернулся домой, мы с ней сообразили, что играли в том кафе не вальс, а танго «Брызги шампанского». Она впервые серьезно заподозрила тогда, что я вовсе не на Востоке и не научный сотрудник, но промолчала, как умеют молчать жены разведчиков, я бы сказал, подправляя мысль: настоящие жены разведчиков.

Взгляд. В Англии готовят невкусно. Главная еда англичан—завтрак: «Снимайте номер в отеле с завтраком!», не с ужином, который они и вправду «отдают врагу». В каждом отеле есть специальная комната для завтраков (не ресторан, не кафе, а типа наших гостиничных буфетов со столиками), куда приходишь, подсаживаешься к кому-нибудь, чего не можешь себе позволить в ресторане, кладешь на столик ключи от номера с большим набалдашником и просишь на выбор: чай, молоко или кофе. В Англии, к слову сказать, три школы: одна приучена начинать день с чая, вторая с молока, и недавно появилась третья — «кофепийцы». Между прочим, кельнеры называют чай «русским», а растворимый кофе «мгновенным», он дешев и плох. После заказа ждешь минуту-две, и тебе приносят с чаем, уже «без выбора», тосты — жареный хлеб, но жаренный не на сковородке, а на огне, причем нарезан он квадратиками или треугольниками; кусочек масла на блюдечке; джем, который называют мармеладом, но он совершенно не похож на мармелад, к которому мы привыкли в России, поскольку представляет собой бесформенную массу, прозрачную на вид и с прожилками; наконец, овсяную кашу и приготовленный на пару чернослив (две штучки со сливками — для пищеварения, у всех англичан, извините, запоры, так как они с малолетства не едят грубой пищи, зато слабительное поглощают в огромных количествах, из-за чего и атрофируются стенки желудка, что еще более усугубляет положение: получается как бы перпетуум мобиле, но не в смысле действия, а наоборот, бездействия). После каши и чернослива берешь крохотную таблетку, бросаешь в стакан с водой, начинается «шип», и ты пьешь. Завтрак окончен. Правда, вместо каши иногда предлагают корифлекс с бананом, нарезанным колбаской. И чуть не забыл: одно яйцо! — в виде омлета, глазуньи или просто вареное всмятку, и есть его надо, не расколупывая пальцами, а ножичком срезая верхушку с тупого конца, где полая часть с воздухом, чтобы не пропадала хотя бы ничтожная доля продукта.

Портрет. Теперь, когда я стал более или менее доступен штатским людям, меня, словно кинозвезду, просят «чего-нибудь» рассказать: вызываю, понимаете ли, интерес! Обычно и говорю: такой кнопки, чтобы нажать, и поехало, у меня, извините, нету, а мне, уважаемые товарищи, необходимо вдохновение, автоматом не получается. Но скажу вам откровенно: разведчик не может работать, если не владеет искусством рассказа, я бы даже сказал,— искусством ру-

ководить беседой. Я по натуре человек общительный, потому что из простой, хоть и интеллигентной семьи. Без комплексов. Ни врагов, ни неприятелей мне, как разведчику, иметь не положено, и я их не имею! По крайней мере откровенных. Уживчивость — главная черта моего характера. Там. Иначе какой получился бы из меня работник? Хочу не хочу, а «дружу» со многими. Но здесь — другое дело, и здесь я другой.

Взгляд. Еще про еду, если не надоело. С 12 до 14 часов, хоть война, хоть землетрясение,— ленч: обед! Томатный суп, в который натирается картошка, или мясной суп из воловьего хвоста, меня всегда интересовало, куда у них деваются волы от этих хвостов, но на мой невинный «детский» вопрос я ни от кого так и не получил вразумительного ответа. Суп жидкий, «но наш!» — говорят англичане. Они вообще-то экономят на еде, не делают из нее культа и шутят: «Должно быть видно, что на мне, а не что во мне!» На второе — отличная отбивная (больше фунта!), гарнир отдельно. На масле нигде не готовят, ни дома, ни в ресторанах нашего русского масла вообще не держат. Готовят на жирах, которые исчезают, как только испаряется вода, и даже мясо не жарят, а делают, как у нас шашлыки. Наиболее употребим в Англии маргарин, его мажут на хлеб: бутерброд с маргарином не отличишь от бутерброда с маслом, зато нет холестерина! В ходу и постное масло, растительное или овощное. Белый хлеб только со вторым.

Англичанин не встанет из-за стола, пока не съест на десерт пудинг, который делают из старого хлеба с подливой. Пирожных в Англии нет. (Есть во Франции!) Конфеты, шоколад с мятной (ужасной!) начинкой, по форме — вам и не снилось, причем шоколад дешевый, не роскошь. И колбас не видел. Зато есть сыры — сто пятьдесят сортов в любом магазине: королевская пища!

В обед служащие идут в кафе или в рестораны — можно национальные: китайская кухня, индийская, русская с неизменным борщом и блинами «а ля рюсс», мексиканская, где устраивают соревнования по еде зеленого перца (я видел победителя, который без передышки смолотил двадцать штук в то время, как нормальный англичанин сходил с ума только при мысли об одной штуке), с супом «по-мексикански», который на глазах посетителей вынимают из «мартена». В кафетериях — самообслуживание, в ресторанах — подают мгновенно, особенно в часы пик, зато в прочее время — тянут, чтобы залы, которые, кстати, крохотные (не то что у нас, как вокзалы), не казались пустыми, иначе публика туда совсем не пойдет. В городе на каждом шагу магазинчики, в которых продают, кажется, все, что душе угодно, даже «засоленные» в сахаре огурцы! А вот спиртное — дороговато: тридцать граммов виски стоят три с половиной шиллинга, это стоимость поллитровой банки пива.

Портрет. Был я восемнадцатилетним, казался сам себе очень взрослым, теперь моей дочери восемнадцать, и она для меня совершеннейший ребенок,— я в этом смысле от других отцов мало чем отличаюсь.

Провал. Такая вот «мелочь»: англичане пьют пиво, как у нас пьют квас. Я лично пиво не терплю, но отказаться от него никак невозможно; если у нас в Союзе кто-то упорно отказывается от кваса, можете не сомневаться: шпион! В компании, во время ленча, выпить пива, поиграть в кегли или в «перышки» не считается грехом; я тоже играл, и тоже пил,— а что делать? Причем пил по классическому «английскому» образцу, мешая сорта пива, чаще всего черное со светлым. И, представьте, привык. У меня теперь довольно много чужих привычек. Например, здороваясь, я, как и все англичане, слова приветствия произношу, но руки не протягиваю и не жму протянутую мне: кто в Англии протянул, тот

чужой! А если приходится считать на пальцах, то не загибаю их, как дома, а, наоборот, разгибаю, как делают во всей Европе.

Быт. Правление моей фирмы было в центре города. Я ездил на работу не на машине, которую там негде приткнуть, а «как все», на метро, иногда на автобусе. А мои шикарные лимузины стояли либо в гараже, либо просто на улице возле дома: по четным дням на одной стороне, по нечетным на другой, чтобы улицы можно было беспрепятственно чистить.

Провал. Подходит, представьте, человек к бару, заказывает двойной виски и вдруг «ахает» одним глотком,— что дальше? Может «гасить свечи», потому что все, в том числе, конечно, бармен, молча на него уставятся: он же русский! Казалось бы, мелочь...

Автор:

Эпизод (из беседы с полковником А.). На мое восклицание: «Вы совершенно не похожи на разведчика!» А. удовлетворенно сказал: «И слава богу. Был бы похож, меня на эту работу не пригласили бы, потому что там прихлопнули бы на вторые сутки. И что интересно: все мы не только на шпионов непохожие, но при этом еще очень разные, в противном случае нас, как селедку, ловили бы сетями». Я знал, что полковника А. провалил его первый помощник Х.— прочитал об этом в книге Д. Донована, крупного американского юриста и общественного деятеля, который был адвокатом А. на суде.

Качества. Когда резиденту присылают помощника, который оказывается слабым работником, или пьяницей, или просто дураком, резидент не может какое-то время возразить против него, так как перечисленные качества столь маловероятны для разведчика, что резидент скорее подумает, будто они часть легенды и помощник так ведет себя, чтобы сбить с толку противника.

Помощник у А. (кстати, его воинское звание — подполковник) был именно таким человеком. В книге «Люди на мосту», опубликованной в США уже после процесса над А. и его обмена, Д. Донован написал о подполковнике Х.: «Если Х. был шпионом, то он, безусловно, войдет в историю как самый ленивый, неудачливый и неэффективный шпион, когда-либо направлявшийся для выполнения задания». Я, конечно, спросил у Ведущего, почему вдруг Центр, известный своей «привередливостью», прислал А. такой подарок. Ведущий в ответ пожал плечами: мол, и на старушку бывает прорушка, не ошибаются только полные бездельники...

Провал. Когда Х. влюбился в американку (Центр употребляет в таких случаях иную терминологию: «спутался»), стал тратить на нее большие деньги, предназначенные на совершенно другие цели, а в довершение к этому несколько раз пропадал из поля зрения резидента на два-три дня, что категорически Центром запрещено. А. наконец сделал запрос: почему его не предупредили заранее, что помощник будет с такой странной легендой? Надо сказать, А. был человеком терпеливым и глубоко порядочным: он плохо думал о людях только тогда, когда думать иначе уже было невозможно. Центр, всполошившись, немедленно отозвал Х., но в спешке сделал это грубо, не прикрыв вызов каким-нибудь «совещанием». Заподозрив неладное, Х. все же вылетел в Москву. Перед отлетом он занес резиденту коротковолновый приемник, причем А. сам разрешил ему принести чемоданчик в номер гостиницы «Латам», 4-я Ист, 28-я улица Манхэттена, Нью-Йорк, где жил в ту пору. Вообще-то адрес резидента никому из помощников

неизвестен, не знал его и X., но А., к сожалению, закон нарушил. Почему? «Вероятно, по тому подлому правилу,— ответил А.,— по которому одна ошибка влечет за собой другую...» В Берлине, пересаживаясь с самолета «Люфтганзы» на машину Аэрофлота, X. принял решение: он уехал с аэродрома прямо в американское посольство, сдался и заплатил за свою жизнь резидентом А., которого через два часа арестовали в злополучном номере «Латама».

Качества. Полковник А. был человеком многогранного таланта: в совершенстве владел шестью языками и специальностью инженера-электронщика, был хорошо знаком с ядерной физикой, химией, математикой; много лет прожив в США, имел в качестве «крыши» фирму, весьма процветающую на приеме заказов на изобретения, причем был и техническим, и научным «мозгом» фирмы. Кроме того, А. замечательно рисовал, что позволило ему открыть в Нью-Йорке художественный салон, был музыкантом и отменным шифровальщиком. «Я хотел бы,— сказал после процесса над А. руководитель ЦРУ Аллен Даллес,— чтобы мы имели в Москве сегодня хотя бы трех-четырех таких агентов, как полковник А., тогда мы взяли бы Россию за сутки и без единого выстрела». В книге «Как работает американская секретная служба...» И. Енсеи писал, что процесс против А. интересен и с той точки зрения, что общественное мнение было почти единодушно на стороне А., хотя вина его установлена вне всякого сомнения, а психоз шпионажа был на грани истерии. Вся жизнь А. и все его существование зиждились на твердом фундаменте самодисциплины и самоотречения. Про А. говорили: он работает так, что первая его ошибка, как у минера, могла стать единственной и последней, что, собственно, и случилось.

Портрет. Человек с внешностью А. мог быть по профессии бухгалтером, стоматологом, литератором (причем не поэтом, а именно прозаиком), дамским портным, смотрителем в музее, но никогда — разведчиком! Представьте: венчик седых волос вокруг большой и умной лысины, густые черные (крашеные?) брови, на плечах много перхоти, уныло зависший над губами нос, кожаные налокотники, подчеркивающие «мирный» характер его профессии, глаза как бы задернуты старческой мутной пленочкой-занавеской. И ничего «выдающегося», никаких особых примет. Классический вариант шпиона, незаметного в толпе, если, конечно, подобное тотальное отсутствие примет уже не есть «особая примета»! Но иногда, что-то рассказывая, полковник легким движением руки отодвигал в сторону занавеску, и в его глазах мгновенно появлялась жизнь, а с нею и мысль — яркая, острая, озорная. Глядя на А., я терялся в предположениях: кто он по национальности? Ломать голову не имело смысла, потому что А. мог быть кем угодно, от датчанина до испанца. Не удержавшись, я задал ему вопрос о его национальности. Он улыбнулся одними уголками рта: «Мой адвокат считал меня немцем». И поставил очень большую точку, тут же задернув на глазах занавесочку и тем самым лишив меня возможности переспрашивать и уточнять: мол, Донован считал немцем, а вы можете думать, как вам угодно, мне это не интересно. Я прикинул, и у меня получилось, что полковника следует относить к числу иудеев: чернота бровей — раз (если они, конечно, не подкрашены), загнутый книзу нос — два, а главное — манера упоминать евреев, если по ходу рассказа появляется надобность перечислить несколько национальностей, что характерно, мне кажется, как раз для комплексующих иудеев (или истинных интернационалистов?). Например: «В ресторане «Ланди» на Шипсхед-бейе в Нью-Йорке, где можно получить ведерко моллюсков, приготовленных на пару, и вареного омара, кого только не увидишь в уик-энд: и армян, и французов, и русских, англичан, итальянцев, евреев!» Или: «На «Куин Мэри» был у меня в попутчиках целый «интернационал»: испанцы, турки, шведы, англичане, евреи, один белорус, нигериец, японец и представители еще десятка каких-то национальностей!»

Джеймс Донован:

Приложение № 5 (из книги «Люди на мосту»). Полковник А. так верил в разведывательную службу своей страны, что не допускал даже мысли о возможной присылке ему столь ненадежного и некомпетентного помощника, как X. Вот факторы, приведшие X. к измене: пьянство, блондинка, беззаботное отношение к деньгам, склонность влезать в долги. Известно, что агент, перешедший на сторону противника, может представлять для него гораздо большую ценность, чем агент собственный.

Наблюдение за номером отеля, в котором жил А., велось из окна дома напротив (№ 252 по Фултон-стрит), с пятого этажа, при помощи бинокля (10/50, — дает десятикратное увеличение и имеет линзы диаметром пятьдесят миллиметров).

Номер 839 отеля «Латам», в котором арестовали полковника, был грязным и почему-то имел странную форму: стены его сходились не под прямым углом. Номер имел следующую обстановку: двуспальная кровать, низкий комод, небольшой письменный стол, складная подставка для чемоданов, стенной шкаф для платья, дверца которого выдавалась в комнату. Размер номера примерно десять футов в ширину и тридцать в длину. Тут же маленькая ванная комната. Это восьмой этаж, цена 29 долларов в неделю.

Как-то полковник сказал: «Меня нельзя считать картежником, ибо все мои познания в этой области начинаются и заканчиваются несколькими вариантами пасьянса». Я представил себе последние перед арестом часы полковника А.: сидя в дешевом номере отеля «Латам», одинокий, несмотря на то, что его окружают в том же отеле две тысячи шестьсот человек, шпион раскладывает пасьянс...

При аресте А. в номере были обнаружены следующие вещи, позволяющие оценить «двойную жизнь» шпиона: электрический генератор мощностью в треть лошадиной силы, коротковолновый радиоприемник «Холликрафтер» с наушниками (в чемодане), фотокамера «Спидграфик» с набором фотооборудования, многочисленными кассетами и оберткой от фотопленки, полые болты, запонки и зажимы для галстуков с высверленными в них отверстиями, служившие «контейнерами», блокнот с кодами, зашифрованные тексты, оборудование для изготовления микрофотографий, напечатанные на машинке заметки на тему: «Нельзя смешивать искусство и политику», географическая карта США с отмеченными на ней кружочками основных районов обороны страны, карта парка Бэр-Маунтин-Гарриман, планы расположения улиц Куинса, Бруклина, Патанама, планы улиц городов Чикаго, Балтимора и т. д., расписание прибытия и отправления международной почты, блокнот с записями математических формул, ноты, магнитофон с пленками, альбом с эскизами рисунков, научные журналы и брошюры, банковская книжка, гитара, картины, написанные маслом, 20 тысяч долларов, находящиеся по частям в разных местах, в том числе четыре тысячи в папке с застежкой «молния» и т. д.

Весьма остроумно были высверлены внутри винты. Снаружи они выглядели старыми и ржавыми. Поворачивая их, вы лицезрели настоящее чудо: новенькая модная нарезка находилась полностью в рабочем состоянии, и простой и невинный на вид шуруп являл собой водонепроницаемый «контейнер» для микропленки. У полковника было много инструментов, которыми он пользовался при изготовлении «контейнеров». Была целая фотографическая лаборатория с химикалиями и дорогостоящей аппаратурой. Сам А. был настолько искусным фотомастером, что мог уменьшить формат письма до размеров булавочной головки. Такие «микроточки» фактически не поддаются визуальному обнаружению (они были изобретены немецкой разведкой в период первой мировой войны).

На выставке доказательств по делу полковника А., организованной ФБР, в длинной хорошо освещенной комнате на двадцати пяти столах были разложены различные предметы, словно гигантский набор закусок, причем некоторые были завернуты в целлофан.

Как профессиональный боец, А. ожидал, что с ним после ареста будут обращаться по-настоящему грубо. Но сотрудники ФБР сразу предложили ему свободу и работу в контрразведке США «с окладом в десять тысяч долларов, с хорошей едой, напитками, с отдельным кабинетом, оборудованным кондиционером» и были уверены, что устоять против такого соблазна трудно. Мне тоже казалось, что полковник А. мог быть ФБР «получен». «Они считают всех нас

продажными тварями, которых можно купить»,— сказал мне А. Позже он заявил, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на сотрудничество с правительством США и не сделает для спасения своей жизни ничего такого, что может нанести ущерб его стране.

А.— культурный человек, великолепно подготовленный как для той работы, которой он занимался, так и для любой другой. Он был на редкость своеобразной личностью. Его снедала постоянная потребность в духовной пище, естественная каждому образованному человеку. Он жаждал общения с людьми и обмена мыслями. Находясь в федеральной тюрьме Нью-Йорка, он даже стал учить французскому языку своего соседа по камере, полуграмотного бандита... Как человека, полковника А. просто нельзя не любить.

При расшифровке текста, обнаруженного в блокноте арестованного, получилось следующее: «Поздравляем прибытием. Подтверждаем получение вашего письма по адресу «У», повторяем «У» и прочтение вашего письма Первым. Слишком рано посылать вам гаммы. По вашей просьбе передадим способ приготовления мягкой пленки и отдельно новости вместе с письмом вашей жены». И еще: «Короткие послания зашифровывайте, а длинные делайте со вставками. Вставки передавайте отдельно. Посылка вручена вашей жене. У вас дома все в порядке. Желаем успеха. Поздравления от товарищей. Третий».

Отрывки из писем жены полковника А.. «Мы получили посылку в мае и очень благодарны тебе за нее. Твои подарки нам очень понравились. Мы высадили уцелевшие гиацинты, и три цветка уже дали ростки». Из другого письма: «Я смотрю на цветы и все жду, жду, жду и верю, что мы будем скоро вместе, и что ты больше никогда не захочешь покинуть нас. Мы с дочерью имеем все, кроме тебя. Попытайся сделать так, чтобы не отсрочить нашей встречи. Годы и возраст не ждут». И еще отрывок: «Наша жизнь — постоянное ожидание. Мы отметили день твоего рождения, я испекла пирог с черной смородиной и кремом, который ты любишь...». Еще: «В отношении квартиры еще не ясно. Хотелось бы трехкомнатную, но, говорят, больше чем на две рассчитывать нельзя». Последнее письмо жены: «Если бы сказали, кому-нибудь постороннему, что муж и жена могут жить не вместе так долго, так много лет и все же любить друг друга и ждать встречи, он не поверил бы, такое можно встретить только в романах». Письма жены шли длинным путем. Их пересимали на микропленку и прежде чем они попадали в тайник на Проспект-парке, проходили недели и даже месяцы. Последнее письмо жены нашло адресата уже в тюрьме.

Знаменитый Натан Хейль был казнен в Англии за шпионаж в пользу США, но и англичане уважали его, и американцы до сих пор чтут его память, поставив Хейлю по всей стране множество памятников.

Ведущий:

Сюжет (продолжение). В начале пятидесятых США усиливают против нас научно-технический шпионаж с привлечением ученых, туристов и даже спортсменов. Понятное дело, мы не можем закрывать на это глаза. И вот Центр ставит перед вашим героем задачу: установить, откуда «плетутся нити», как написали бы наши журналисты-международники, и собрать затем информацию об основной методике противника. Впрочем, откуда что «плетется», мы и так знаем: из-под Вашингтона, где обосновалось ЦРУ. Проникнуть туда, естественно, трудно: режим строжайшей конспирации, круглосуточная охрана здания, слежка за собственными сотрудниками. Да у Л., собственно, немного другая задача: найти конкретных исполнителей крупномасштабного заговора против СССР. Он настойчиво прокладывает к ним пути,— сначала вслепую, пытаясь наладить контакты с учеными, которые могут быть использованы против нас с целью шпионажа; это, разумеется, «невод на авось», который далек от конечной цели.

И вдруг происходит событие, дающее нам в руки «хвостик»: в Дубне под Москвой задерживают с поличным молодого американца-физика и в ходе следствия выясняют, кто его вербовал, инструктировал, какие ставил задачи, какой снабжал разведывательной техникой и, кроме того, где все это делалось. Так Л. «выходит» на двух сотрудников Центрального разведывательного управления, для которых было создано специальное «бюро» при Колумбийском университете, к слову сказать, превращавшемся в основного поставщика научных «кадров» для ЦРУ. География, таким образом, определилась. Л. надлежало теперь подобрать ключи к этому таинственному «бюро» (сначала в переносном смысле, то есть глаза и уши), а затем и в прямом: с настоящими ключами проникнуть в сейфы цереушников.

Прошу вас, Варлам Афанасьевич, дать справочку относительно Колумбийского университета.

Приложение № 6 (из справки Варлама Афанасьевича). Нью-Йорк был когда-то куплен голландцами у индейских племен, назывался Амстердамом, а уж потом англичане переименовали его в Нью-Йорк. В городе пять районов. На юге — остров Ричмонд. На востоке через проток Атлантического океана — Лонг-Айленд с двумя районами: Бруклин и Квинс (там много научно-исследовательских и военных учреждений). Остров Манхэттен, на котором находится Колумбийский университет, слегка как бы подрезан с южной стороны.

Улицы Манхэттена узкие, тесные, многолюдные. Огромное количество маленьких ресторанчиков, специализирующихся на какой-то национальной кухне: испанской, китайской еврейской, греческой, русской с неизменным борщом и бефстрогановом (название, кстати, исконно русское, но об этом мало кто знает), готовят который, к сожалению, не на сметане, как в России, а в томатном соусе,— увы! Есть даже одна настоящая русская «забегаловка» на десять столов в полуподвальном помещении на 1-й улице, где старуха повариха подает пожарские котлеты, блины с икрой и селедочкой и тот же бефстроганов — и опять в томате! Много украинцев, их можно увидеть уже в пять утра в первых поездах метро: торопятся на работу, а работают они уборщиками в конторах и учреждениях, которые оккупированы ими примерно так же, как айсорами во всем мире чистка обуви. Много в Манхэттене магазинов и магазинчиков — торговый центр Нью-Йорка. На «виселицах» на колесиках, сделанных из трубчатого железа, болтаются платья, их толкают перед собой негры, перевозя товар по улицам; между прочим, и среди негров тоже существует кастовость: есть негры светлые, есть черные.

Итак, Колумбийский университет: общественные, естественные и точные науки. Целый комплекс зданий, занимающих площадь от Бродвея на север. Протяженность всех улиц университета тринадцать миль (двадцать километров). К университету примыкает Центральный парк Манхэттена (с 58-й улицы до 110-й): озера, пруды, игровые и спортивные площадки. Неподалеку строится католический собор, но очень уж долго; на строительство Нотр-Дам в Париже ушло, как известно, около четырехсот лет, в Нью-Йорке шутят, что рекорд может быть побит. В ученых кругах Колумбийский университет считается весьма ценным своими кадрами и научными достижениями. Чрезвычайно богат, чего не скажешь про другие университеты, по крайней мере Нью-Йорка, например, Католический. Колумбийский— учреждение частное, государству не подчиненное; когда-то был лицей, вырос благодаря пожертвованиям разбогатевших выпускников; имеет Совет. В распоряжении «колумбийцев» и в их собственности есть земли, акции в различных компаниях, а основной доход университет получает от студентов, поскольку обучение платное, и от правительственных и военных ведомств, заказы которых выполняет по финансовым договорам.

Сюжет (продолжение). Ваш герой, получив задание Центра, перебирается из Канады в Нью-Йорк. Визу на въезд дает американское консульство в Торонто, а каким образом дает — вопрос из «другой оперы». Факт тот, что виза есть. Л. проходит таможенный контроль, причем таможенники, не стесняясь, проверяют в открытую: кроме досмотра вещей, в которых они роются в надежде найти наркотики (впрочем, теперь они имеют на этот случай специально натасканных собак), еще делают телефонный запрос его родным и знакомым, живущим в Торонто (которых, у него, как вы понимаете, именно в Торонто предостаточно!), потом запрашивают об Л. иммиграционные власти, но так как все это предусматривалось нашим Центром, через несколько часов Л. свободен. Однако понятие «свобода» для разведчика понятие относительное. Так, Центром заранее определено, что Л. останавливается в отеле «Нью-Йоркер», а затем, через двое суток, едет в Вашингтон на встречу с резидентом, чтобы обсудить детали предстоящей опе-

рации и, как говорят архитекторы, «привязать» ее к месту. Кроме того, просто познакомиться. Причем Л. волнуется, поскольку резидент человек легендарный, ваш герой достаточно наслышан о нем. Пока он «волнуется», попросим вас, Варлам Афанасьевич...

Приложение № 7 (из справки Варлама Афанасьевича). Отель «Нью-Йоркер». Сорок этажей, расположен недалеко от Центральной пристани на углу 8-й авеню и 33-й улицы Манхэттена. Здесь обычно останавливаются торговые люди: продавцы и покупатели. Номер стоит от 6 до 50 долларов в сутки. Жить в отеле можно постоянно, только плати, он так и называется: «резиденшел» (для резидентов! Шутка.) Семидолларовый номер: девять квадратных метров, ванная — уголочек, туалет и того меньше, но: телевизор, тумбочка у кровати, стенной шкаф. Если номер девятидолларовый, разница одна: вместо кровати — диван. С незнакомым человеком поселить не могут категорически, «двойные» номера только для супругов. Когда вы подъезжаете к отелю, парень лет восемнадцати («бой») тащит ваш чемодан из автобуса или такси. В вестибюле на ваш вопрос, есть ли номера, администратор вежливо отвечает: вам в какую цену и на какой срок? В карточку заносятся ваша фамилия и постоянный адрес (разумеется, со слов). Документов не просят. Паспортной системы в смысле пользования паспортом в США нет, нет и «прописки».

О паспортной системе. Если юноша работает, у него есть страховая карточка и собственноручно написанный отчет в налоговое управление, и это его единственные «официальные» данные, по которым осуществляется учет населения. Есть еще телефонные книжки, избирательные списки. Человек может состоять на учете, если покупает что-то в кредит; удрал, не заплатил, попадает еще в один список — «черный». Смерть и рождение регистрируются в специальном отделе муниципалитета, типа нашего загса, где выдают соответствующее свидетельство, которое необходимо для получения паспорта. Формально паспорт действителен два года, потом его продлевают или обменивают на новый. Молодые люди в определенном возрасте сами приходят на призывные пункты (по-нашему, «военкоматы»). На улице полицейский может спросить у вас документ при каком-либо нарушении, но вполне удовлетворится водительскими правами.

Скоростным лифтом можно доехать в отеле до нужного вам этажа без промежуточных остановок. Лифтами управляют девушки в униформе. Никаких дежурных на этажах в «Нью-Йоркере» нет, уходя, вы можете ключ никому не оставлять, но все оставляют (либо у «боев», либо внизу у администратора), потому что владелец отеля остроумно соединил ключи с огромными набалдашниками, которые, если и положишь в карман, то не иначе, как средство для самозащиты. При отеле есть врач. Кроме того, «Нью-Йоркер» располагает собственными детективами «от краж», но если детектив связан с мафией, что вполне вероятно, он становится наводчиком на богатых гостей, и тогда правильнее говорить: не «от», а «для» краж.

Сюжет (продолжение). Ваш герой выезжает в Вашингтон, где встречается с резидентом, а затем приступает к осуществлению операции. Сначала он знакомится с молодым физиком — испанцем, занимающимся в одной из лабораторий Колумбийского университета, назову его Мигелем. Без особых сложностей Л. удается завербовать Мигеля, который, приехав в Штаты, прошел унизительную проверку на благонадежность по линии ФБР: родители Мигеля сражались против Франко в Испании в 1935 году, после поражения революции были интернированы во Францию, а уже оттуда попали с сыном в США. С помощью Мигеля, человека общительного, Л. собирает кое-какие сведения о сотрудниках ЦРУ, обосновавшихся в таинственном «бюро» при университете: каковы их привычки, сильные и слабые стороны характера, заработок и т. д. Мигель становится активным помощником Л., но его рвения все же мало для задуманной операции. Нужен человек не только с желаниями, но и с возможностями.

Тогда Л., как и было обусловлено, подключает к делу Ганса, находящегося, как вы знаете, тоже в Америке. Ганс вербует еще одного человека: это крупный биолог, обладающий в США «именем», преподаватель университета, по убеждениям космополит. Назову его Симоном Крафтом (кстати, он соотечественник Ганса). В ненавязчивой форме доктор Крафт предлагает свои услуги цереушникам из «бюро», они клюют на его удочку, тем более Крафту в скором времени предстоит поездка в Тбилиси на международный форум по молекулярной биологии. Крафт становится частым гостем «бюро», где проходит инструктаж и получает шпионскую экипировку. При этом ему удается незаметно снять слепок с ключей от сейфа, в котором, по-видимому, хранятся важные документы, содержащие сведения о лицах, подготовленных или проходящих подготовку для шпионажа против СССР и стран Варшавского Договора.

В решающий момент у Крафта сдают нервы, но положение спасает страхующий его Ганс, человек, не теряющий самообладания. Операция завершается передачей Центру фотокопий документов, дающих возможность скомпрометировать всю программу американского ЦРУ по использованию ученых в научно-техническом шпионаже. После этого Л. возвращается в Канаду с прицелом на последующий переезд в Англию, а Ганс вскоре командируется «своим» ведомством, то есть ЦРУ, в Японию. Резидент по заданию Центра сохраняет «остатки» группы для выполнения в будущем других операций. Все участники не остаются без поощрений, а Л. получает личную благодарность Председателя.

Конон Трофимович:

Легенда. В 1927 году в Канаде во время наводнения погибла семья: муж, жена и грудной ребенок. В местной газете по этому печальному поводу было дано объявление, которое и нашли мои коллеги. Факт, кроме того, был проверен в регистрационных документах мэрии, а затем стал основанием для разработки вполне достоверной легенды: родители действительно погибли, а ребенок остался жив! Если учесть, что в Канаде дети официально регистрируются и получают имена лишь по достижении одного года, чем я не тот ребенок? Меня, грудного, подобрали посторонние люди, увезли в Австралию, откуда были родом, там и воспитывали вдали от недобрых глаз до восемнадцати лет, а потом рассказали, что я им чужой, и благородно отпустили на все четыре стороны, дав прилично денег, которые, кстати, и легли в фундамент моей коммерческой деятельности. Назвать имена моих замечательных спасителей нельзя, иначе кто-то разбередит их незаживающие раны. Я же, как истинный уроженец Канады, хочу получить официальное признание моего гражданства, жаль только, что мои канадские родственники (дядя по матери и две тети по отцу) не «помнят» меня грудным, а потому не могут официально засвидетельствовать перед лицом закона, что я — это я. Ну, плохо? Всего одно слабое местечко: мои спасители — австралийцы! Но какой разведчик имел когда-нибудь железобетонную легенду? Все мы ходили и ходим по острию ножа...

Работа. Агенту обычно не говорят, кто его резидент и даже на какую страну он работает: всячески ограждают от «ненужных» сведений. Отношения строятся по принципу обыкновенной купли-продажи, провозглашенному еще в «Двенадцати таблицах Хаммурапи» и в Римском праве. Помощник, встречаясь с шефом и передавая ему информацию, должен думать, что имеет дело с таким же рядовым агентом, как и он сам. Но если помощник по каким-то причинам вдруг прекращает работу, такого рода отходы тоже предусматриваются резидентом: требуется «последняя встреча», во время которой бывшему агенту, во избежание худшего, рельефно обрисовывается его перспектива на тот случай, если он выдаст или ненароком проговорится об имевшей место связи. И как бы душа резидента ни восставала против угроз и тем более их реализации, что поделаешь? Не проваливать же сеть, с таким трудом созданную и так дорого стоящую!

«Крыша». Мы очень близки по специфике к журналистам. Например, может ли журналист без согласования с руководством продлить командировку, изменить ее маршрут или цель? Мы — тоже: разрешения нам, возможно, и не обязательно испрашивать, но информировать Центр мы должны непременно. О задержке с отъездом, о прибытии раньше времени, о передаче и получении информации, о любых изменениях в нашей жизни — о каждом, по сути, шаге! Впрочем, если кто-то приглашает вас на пикник или в театр на премьеру, молнировать об этом в Центр не обязательно. Я к чему? На основании собственного опыта и опыта моих коллег я давно пришел к выводу, что наилучшим прикрытием для разведчика может быть профессия журналиста. Во-первых, журналист — странствующий рыцарь, «свободное копье»: его передвижения в пространстве не поддаются контролю и не вызывают подозрений, так как органичны профессии. Во-вторых, трудно, если вообще возможно, учитывать его доходы и их источники. В-третьих, журналист раскован: может обращаться к кому угодно и когда угодно, он «и с угольщиками, и с королями», бывает в трущобах и в высшем обществе, при этом способен принимать любую окраску — надевать, как говорится, «мундир» солдата, бизнесмена, шофера такси, чтобы иметь дело с военными, бизнесменами, дипломатами и рабочим классом. Наконец, журналисту ничего не стоит заказать визитные карточки, которые служат ему и удостоверением личности, и пропуском по принципу «Сезам, откройся!». Даже почтовый конверт на имя «корреспондента такой-то газеты» — уже достаточное основание, чтобы получить заказную почту, когда нет при себе других документов. И уходить в случае неприятностей тоже легко: журналист просто растворяется в воздухе, не оставляя после себя следов (уехал в Абиссинию, в действующую армию во Вьетнам, на велосипедные соревнования «Тур де Франс», на корриду в Испанию, в путешествие по Средиземному морю в обществе знакомого миллионера на его же яхте), ищи ветра в поле!

Первой древнейшей профессией была, как известно, проституция. А второй? Вы, конечно, будете утверждать, что журналистика? Допустим. Спорить не стану. Пусть будет так, но если вы сошлетесь в качестве доказательства на Ветхий Завет, в котором все это будто бы описано, я задам вам только один вопрос: а кто написал Ветхий Завет? Отвечаю: разведчик! Да-с. Это было первое донесение разведчика Божественному Центру!

Провал. Помню весьма неприятную историю, происшедшую на моих глазах. Когда я был в американской школе разведки в Швейцарии, недалеко от Базеля, мы, небольшая группа курсантов в количестве десяти человек, отправились на пикник. На озеро. Среди нас были три англичанина, два американца, один немец, датчанин, два ирландца и я, «канадец». Постелили на травку покрывало, сделали «стол», выпили и решили искупаться. И вдруг «датчанин», первым раздевшись, с берега кинулся в воду, нырнул, довольно далеко вынырнул и поплыл, представьте себе, размашистыми саженками, хлопая ладонями по воде. Так только в России плавают. И больше нигде в мире, где разные кроли, брассы, баттерфляи и т. д. Мы все стояли на берегу, смотрели, не произносили ни слова, ведь не только я один понял. Больше «датчанина» я никогда в своей жизни не видел и даже здесь, в Центре, спрашивать о его судьбе не хочу, мы у Центра мало о чем спрашиваем.

«Крыша». Моей «крышей» в прямом и переносном смысле слова были четыре фирмы «по продаже автоматов по продаже» — такое у них длинное название. Понятно? Мои автоматы торговали тетрадями, водой, вином, фломастерами, бутербродами, аспирином — что только не помещалось в их прожорливом чреве! Могу объяснить устройство и назначение автоматов подробнее и яснее — только зачем вам засорять свои мозги? Важно другое: мои фирмы были рентабельны и давали прибыль, между прочим, задолго до нашего знаменитого правительственного постановления, которым акцентировалось внимание хозяйственников на необходимости добиваться рентабельности. Скажу вам прямо: «акцентировать» мое внимание нужды не было, я бы просто вылетел в трубу, не будь мои фирмы рентабельны. Разумеется, мне в них не принадлежала ни одна гинея: капитал был ровно настолько моим, насколько и вашим, советским. Я трудился в поте лица, потому что знал: доходы идут не гнусному капиталишке (мне, например), а моему народу. Сказал я эти слова с патетикой, но вы уж простите: когда речь идет о миллионах фунтов стерлингов, можно и подбавить восклицательных знаков: хуже, когда их ставят, а вся, извините, задница голая.

Сначала я в одной из фирм был директором по сбыту готовой продукции, то есть бизнесменом «средней руки»: как и все, получал зарплату раз в неделю, по пятницам. Стенографистки у меня не было: невыгодно. Пользовался телефонами-магнитофонами красного и зеленого цветов: диктовал, они писали на пленку, на следующий день все было расшифровано и отпечатано на машинке. Письма писал размером не больше страницы, в Англии длиннее не пишут; если кто-то и пишет, он либо бездарь, либо ему делать нечего. Уже здесь, в Союзе, на одной из встреч с общественностью меня спросили: почему я был директором по сбыту, а не генеральным или, на худой конец, по производству? Я ответил: сделать каждый дурак сумеет, а чтобы продать, нужна голова!

А дальше? Дальше я стал совладельцем фирмы, потом двух, а потом и полным хозяином, да сразу всех четырех фирм, они делились, исходя из четырех типов товаров. Тем не менее я придерживался общей и очень строгой дисциплины: приходил вместе со всеми, уходил в пять часов. Если нужно было уйти днем, как-то объяснялся с секретаршей: «У меня встреча с клиентом!» — она должна была знать, где хозяин и когда будет. Обедал я с клиентом, можно сказать, всегда: либо он меня приглашал, либо я его, в зависимости от заинтерессованности — он во мне или я в нем. Разумеется, кормил клиента за счет «золотого обеспечения», то есть представительских, при этом в кредит, показывая официанту карточку, в которую он писал, что и на сколько нами съедено и выпито, плюс сколько получал «на чай» — и все это впоследствии погашалось фирмами.

Работа. В «Иностранной литературе» за 1958 год были опубликованы «Японские заметки» К. М. Симонова — читали? Там говорилось о главном принципе токийского театра: объективный взгляд на себя самого как бы со стороны. Актер танцует и видит себя глазами зрителей. Симонов вспоминает Миямото (философа, а может, спортсмена?), который в своей книге «Принципы фехтования» написал, что человеку необходим «взгляд на себя», чтобы умело защищаться от неожиданных выпадов противника. Смею добавить, что если у разведчика есть этот «взгляд», то и он может чувствовать себя в относительной безопасности.

Портрет. Отношу себя к людям везучим, хотя бы потому, что оказался в числе ничтожных процентов, которые уцелели в войну «от моего года». Может, по причине этой везучести и в тюрьме я провел не слишком долго, всего пять лет: обменяли. А когда выносили приговор, я почувствовал только, что меня обманули: дали двадцать пять, хотя обвинитель «просил» семнадцать!

Работа. Вербовать агента дело чрезвычайно сложное: надо тщательно обезопаситься. Часто человек, имеющий доступ к закрытой информации, может работать одновременно на несколько разведок, и именно такой «кадр» — лакомый кусочек для разведчика. Но надо перевербовывать, а это лезвие бритвы: в любой момент может «заложить». Я лично предпочитал вербовать на идеологической основе, и таких людей предостаточно, но надо их искать, найдя — изучать (мы говорим: разрабатывать), а уж потом и вербовать. К сожалению,

основа может быть и другая: меркантильная, любовная (если речь о женщине), националистическая, а от основы, кроме качества работы агента, зависит и его устойчивость, надежность. Бывает, что с болью в сердце приходится отказываться от очень хороших агентов, имеющих допуск к очень важной информации,— почему? Если, например, агент оказывается или становится алкоголиком, или если он по природе болтлив, тогда надо делать немедленно «золотое рукопожатие», то есть прощаться. Вообще-то таких агентов другие разведки «убирают»: они либо откровенно продают, либо, бывает, идут на шантаж в надежде заработать еще больше.

Полковник А.:

Взгляд. У моего адвоката Донована шестнадцатикомнатный «домик» с собственным лифтом и садом на крыше. Там же и офис, где я впервые в жизни увидел телевизор и телепередачу: великий Дюран смешил публику бруклинским жаргоном, считающимся истинно народным и веселым. Там же, у Донована, с которым я имел деловое знакомство как владелец «Бюро по изобретениям» еще задолго до того, когда ему пришлось стать моим адвокатом на процессе, я познакомился с одним из его клиентов — элитарным членом синдиката мафиози, на чем-то погоревшим, а потому и обратившимся к Доновану за советом. В отличие от рядового члена мафии у этого в петлице была пуговка (думаю, с бриллиантом), и он назывался «баттменом», то есть «человеком с пуговкой»; не знаю, случайно ли совпадение с «бедменом» — плохим человеком? Кстати, чистокровный белый звучит в США, как если бы сказать «чистый кавказец»: «кокэйжн». «Трактир» и «публичный дом» по-английски тоже однозвучны — боже, какими только знаниями не напичкана голова разведчика!

Судьба. Я знал одного русского, который в силу сложившихся жизненных обстоятельств стал курсантом, а потом и преподавателем американской разведшколы в Швейцарии, в Альпах. Он был из тех, которые мечутся, не могут твердо определиться, то есть лишены убеждений; как правило, это хороший народ, совестливый, но слабый и путаный, точнее сказать, запутавшийся. Нам удалось его перевербовать, предложив ему самое опасное: «двойную игру». Он согласился и вскоре выдал нам группу, которую довольно тщательно готовили для заброски в СССР (из «бывших» русских); он сам с этой группой готовился два долгих года, но уж больно тяготился тем, что предал Родину. Потом он тяготился уже тем, что предал товарищей, с которыми делил тяготы и радости учебы. Такие, как он, я это прекрасно знал, долго не живут. Совесть в нашей работе, конечно, нужна, но какая-нибудь «односторонняя»: либо в ту сторону казнись, либо в эту.

Повесился. Хорошо, записки не оставил. Ни нам, ни им.

Взгляд. Интересно наблюдать, как паркуются и разъезжаются автомобилисты где-нибудь на Бродвее, бамперами слегка подпихивая другие машины, иначе ни въехать, ни выехать. Я лично так не могу из-за плебейской жалости к «дорогим» вещам. Мальчишки, валяя дурака, могут на спор пройти по длинной авеню, ни разу не коснувшись ногами земли: по крышам припаркованных автомашин. Машина без вмятины, что солдат без шрама, боксер без сломанного носа и парикмахер без пробора. (Кстати, американцы, обожающие благозвучия и вообще кр-р-расивости, называют парикмахера «танцором по волосам!»)

Однажды. В начале 20-х годов я оказался в числе тех, из кого состоял первый (мы всегда добавляли: славный и легендарный!) выпуск нашей развед-

школы. Не исключаю, что я вообще был первым советским разведчиком, заброшенным за границу. А учили нас, между прочим, четыре года — по полной программе, без торопливости. Что касается заброса, то он осуществлялся в ту пору проще простого: мне сделали документы, посадили в поезд, который шел из Москвы в Польшу, а в Варшаве я, не выходя из здания вокзала, пересел на поезд Варшава — Гамбург, который и был местом моего назначения. Цель: найти в Германии старую русскую агентуру, работавшую еще на царя-батюшку и затаившуюся после революции в ожидании «дальнейших инструкций». Вот я и вез эти «инструкции» в надежде склонить их работать на молодую Советскую республику. Идея была неплохая, но и не легкая, как может показаться кому-нибудь с первого взгляда. У меня было с десяток явок, а остальные пятьсот с лишним адресов мне должны были подослать из Москвы, если я смогу закрепиться на «плацдарме»; пусть вас не удивляют такие могучие цифры агентуры, русская разведка всегда брала количеством, это общеизвестно. На «качество» мы перешли только после революции и то вынужденно: нужны годы, чтобы готовить разведчиков, поскольку эта работа все-таки «штучная» — стало быть, лучше меньше да лучше!

Итак, Гамбург. Замечу, что я прекрасно владел немецким языком, даже несколькими его диалектами, отлично знал город с его достопримечательностями и расположением улиц, имел довольно приличную легенду,— что еще надо? Был 1924 год. С вокзальной площади, добравшись до нее без приключений, я сразу направился по первому адресу, выбирая кратчайший путь: одной «знакомой» улицей вышел к порту, другой свернул к ратуше, и вот я в тихом и чистеньком переулке, где должен жить мой первый «клиент». Тут-то и произошло то, из-за чего я, собственно, открыл рот.

Представьте: раннее утро. Ни души. Иду по сонному переулку, высматриваю нужный мне номер дома. Навстречу движется издали какой-то человек в кожаной кепке с большим козырьком, эта кепка — единственное, что я запомнил. Вдруг, поравнявшись со мной, он меня спрашивает. «Слушай,— говорит,— ты не знаешь, где тут можно поссать?» — «Чего?!» Он повторяет вопрос. «Да зайди,— говорю,— хоть в ту или эту подворотню». Он исчезает в подворотне, и только тогда я понимаю, что он спросил меня по-русски, и я по-русски же ему ответил! Ну, думаю, все: провал. И это называется первый советский шпион! Окончил с похвальной грамотой! И — всего полчаса в Гамбурге! Возвращаюсь на вокзальную площадь, сажусь на скамеечку, ставлю у ног чемодан и жду, как вы понимаете, ареста. Пять часов ждал. Не дождался... До сих пор не знаю, кто был этот, в кожаной кепке, и вообще, что случилось: вариантов так много, что ломать голову нет никакого смысла. У меня был знакомый еврей-закройщик, уроженец Западной Белоруссии, я шил у него костюм. Так он, говорит, хотел писать «бумагу в правительство» по поводу ширины брюк (тогда была мода на матросские клеши), а то, говорит, учат у нас где-нибудь «людей на шпионов», потом отправляют куда-нибудь «у в Лондон с парашютом», и через десять минут после приземления их «берут»! Почему? — спрашивал и сам отвечал: «Бруки»! Вот и я мучаюсь: вдруг это не случайность, а он по «брукам» узнал во мне русского?

Взгляд. Во всем мире сейчас распространено стремление к загородному жительству. Помните четыре условия истинного счастья, которые приводит Моруа, цитируя Камю, который, в свою очередь, процитировал Эдгара По? Возможно, ошибусь в порядке перечисления, но не это важно. Первое: жить на природе! Второе: чтобы тебя любили (не ты, а именно тебя, вот ведь как интересно повернуто)! Третье: заниматься каким-либо творчеством! И четвертое, которое, по-моему, совершенно недостижимо при наличии «третьего»: отказ от честолюбивых помыслов (а зачем тогда заниматься творчеством, позвольте спросить?)! В этом смысле мне больше импонирует интервью князя Голицына (того самого, который безвыездно жил в Крыму). Он наладил, как вы, наверное, знаете или слышали, производство шампанского «Новый свет», регулярно по-

лучавшего в Париже на конкурсе вин «гран-при», а сам ходил в простом армяке, подпоясанном веревкой, в сапогах и татарской папахе и поселился в обыкновенном глинобитном домике. Так вот, к нему в Судак однажды явились журналисты брать интервью после очередного «гран-при», и некий иностранец спросил: «Скажите, князь, в каких отношениях вы находитесь с царем?» — на что Голицын будто бы ответил: «Слава богу, царю покуда не удалось унизить меня почестями и наградами!» Каково сказано: унизить, понимаете ли, почестями и наградами!

Джеймс Донован:

Приложение № 8 (из книги «Люди на мосту», окончание). Полковник А. отверг услуги одного адвоката, потому что ему, с точки зрения полковника, «не хватало профессионального достоинства, он выглядел неряшливо, у него была грязь под ногтями». Вероятно, такой человек больше подходил А. как помощник по работе, но не как защитник в суде.

Легенда полковника была такая: он по профессии учитель, его отец умер, мать родом из Саратова, сам он жил в Москве у Никитских ворот, окончил институт, потом нашел крупную сумму денег в царской валюте — в разрушенном доме где-то в Саратовской губернии, на родине матери. Перебрался в Данию и купил там фальшивый американский паспорт, с которым приехал в США; этот паспорт нашли у него при аресте.

А. так умел слушать, что можно было подумать, будто именно благодаря этому качеству он сделал карьеру. Когда он расстраивался, он клал сигарету, так как она могла привлечь внимание к его нервному состоянию.

Полковник был увлекательным, будящим мысль собеседника человеком. Он обладал интеллектуальной честностью, с которой подходил к решению любого вопроса, имел весьма широкие знания по проблемам искусства и установившиеся взгляды в этой области.

Из речи обвинителя по делу полковника А.: «Такой была карьера этого человека, мастера шпионажа, настоящего профессионала, что он знал правила игры, и их знала его семья: прошу это запомнить. Он не заслуживает снисхождения, как не заслуживает и сочувствия. Ссылки адвоката на французские законы 20-х годов и английские законы 1911 и 1920 года несостоятельны, поскольку шпионаж сегодня гораздо более серьезное преступление, чем когда-либо раньше. Он связан с угрозой для цивилизации, для всей страны и всего «свободного мира», это преступление против народа, а не против отдельных лиц».

Дисциплина была краеугольным камнем его философии, поэтому А. положительно отзывался о немцах, сторонниках дисциплины. К выполнению своих обязанностей он относился с интересом и упорно старался делать все, за что брался, хорошо. Это, конечно, всегда было сильной его стороной. Кроме того, А. был страстным любителем спорта и «доджеров»: на тюремном дворе, будучи 56-летним человеком, полковник учился играть в «боччи», что свидетельствовало о незатухающей разносторонности его интересов.

А. просил меня, если я все же буду писать о нем книгу, характеризовать его «справедливо, честно и точно» и при этом помнить, что он «простой солдат». «К сожалению,— сказал мне полковник А.,— авторы художественных произведений преувеличивают и искажают подлинную роль шпиона в XX веке, который зачастую является всего лишь собирателем фактов. Они рисуют его так, чтобы не вызывать разочарования читающей публики, потому-то в дискуссиях о шпионах и шпионаже в большом количестве присутствует романтический «дух Мата Хари». Между тем основная масса разведывательного материала достается путем упорной, кропотливой работы, тонким исследованием и анализом легкодоступной информации. Вопреки распространенному ошибочному мнению подавляющая масса наиболее важной разведывательной информации добывается не посредством тайной шпионской деятельности, а открытым путем. Именно поэтому демократическое государство с его свободой слова и печати является наиболее уязвимым объектом».

Из моей речи в Верховном суде: «Прошу вас подумать о том, что такое наша национальная оборона, карту которой нашли при аресте у моего подзащит-

ного, в век континентальных ракет, водородных бомб и искусственных спутников...»

Полковник обладал сверхъестественной способностью примиряться с обстановкой и событиями, а также уделять внимание самым различным мелочам, даже находясь в тюрьме, где он, по-видимому, испытывал ряд существенных неудобств и, кроме того, переживал горечь и разочарование. На что мог рассчитывать А., вернувшись в результате пока очень призрачного обмена в свою страну? Посчитают ли его там благонадежным?

«Я заметил,— сказал мне А.,— что у людей, привыкших действовать методами насилия, эмоциональное возбуждение утоляется при помощи физической нагрузки».

По инструкции заключенным не разрешено читать в тюрьмах литературу, которая может снова толкнуть их на преступную деятельность. Полковнику А. запретили читать шпионские детективы.

Завещание полковника А., составленное до оглашения приговора: «В случае моей смерти в тюрьме тело кремировать, а урну с пеплом и все имущество передать семье».

Вынесение приговора заняло по процедуре всего шестнадцать минут: «Соединенные Штаты Америки против А. ...» В этот момент холодное самообладание полковника показалось мне невыносимым. Его приговорили к тридцати годам заключения. Для человека, получившего такой срок, А. обладал поразительным спокойствием профессионала. В США он, конечно же, был бы незаурядным политическим деятелем первой величины.

Когда происходил обмен, было раннее утро, и улицы Берлина были безлюдны. Глиникн-брюкке: темно-зеленый стальной пролет, уходящий с территории Западного Берлина к Восточному. За озером Потсдам справа на холме вырисовывался в тумане силуэт старинного замка. По обе стороны озера я видел густые лесопарки. Все совершилось на мосту, который в последний год и месяц войны был прозван солдатами «Мостом свободы». Вот уж воистину!

Подполковник Х., предавший своего резидента, через некоторое время погиб в результате таинственной автомобильной катастрофы на Пенсильванском шоссе.

«Я мог бы много лет быть заключенным,— сказал мне полковник А. после вынесения приговора,— но ни минуты не мог бы работать надзирателем. Нужно быть лишенным воображения человеком, чтобы пасти других людей, как стадо».

Конон Трофимович:

Качества. Наживать личных врагов разведчику никак невозможно: у врага пристальный взгляд. Я только так и оцениваю: друг или враг? Случайное знакомство или не случайное? И даже случайное беру под подозрение, боясь подвоха, а в конечном итоге — провала. И не люблю молчаливых людей, обычно сидящих в углу. Молчаливые наблюдательны; хотя их мало, но уж если человек наблюдателен, он обладает способностью складывать отдельные черточки в картину, а нам, разведчикам, это ни к чему. Как от огня, я всегда бегал от тех, чьи взгляды на жизнь оценивал, как близкие моим. Судите сами: если я их «оценил», они могли «оценить» меня. И еще: принципиально ни с кем никогда не ссорился, я имею в виду — там. Уходил в сторону. Если кто-то очень не нравился, кроме «хелло» и «гуд бай», он от меня ничего не слышал, а вместо того, чтобы при случае послать его ко всем чертям, говорил с неизменной улыбкой: «Извините, сэр, я очень тороплюсь!» Думаете, легко давалась такая жизнь да при моем характере?

Быт. «Женский вопрос» лишь условно можно отнести к «быту» разведчика: это не быт, а, я бы сказал, условия его деятельности, некоторым образом

затрагивающие личную жизнь. Вообще-то дело хоть и щепетильное, но естественное: разведчик живет за границей не один год (я двенадцать прожил),— а если он не старик? Ситуация не из простых, потому что возникают разные «но». Во-первых (если это не «во-вторых»), у многих дома остались жены: вопрос приобретает, таким образом, нравственную окраску. Во-вторых (если это не «во-первых»), Центр очень опасается прочных связей разведчика: любовь, как известно, вытягивает из человека самые страшные тайны, и, если заграничная партнерша разведчика не его жена, дело принимает опасный поворот. Однако, в-третьих, если он, живя в обличье художника, шофера, журналиста, бизнесмена и так далее, вообще не будет иметь никаких отношений с женщинами, его окружение воспримет этот факт как вызывающий или, по крайней мере, странный: не «голубой» ли и прочие вопросы такого рода. Вот и выделится человек из толпы, чего ему категорически делать нельзя! Стало быть, надо проплыть между Сциллой и Харибдой и чтобы были «отношения», но такие, будто их нет. А как это осуществить? Хотите знать, какой тут возможен выход из положения?

Судьба. Вот история моего коллеги (назову его Ф.), до меня работавшего в Англии; история связана с пресловутым «женским вопросом», поэтому я о ней и вспомнил. По дороге в Лондон, кажется, из Мадрида, в самолете, какой-то немец-попутчик (Ф., конечно, сразу насторожился, по себе знаю: попутчик ли?) попросил его передать в Лондоне письмо одной женщине, не желая пользоваться почтой, поскольку родители молодой леди проявляли крайнее любопытство к ее переписке с мужчинами. Ну что ж, подумал Ф., отчего не передать? Прилетели, самолет с немцем дальше ушел. Во время первого же сеанса связи Ф. доложил Центру: так, мол, и так, ситуация вроде невинная, а что из нее выйдет, еще надо посмотреть, поскольку леди работает секретарем в Верховном суде,— не такой уж плохой источник информации, чтобы с ходу его отвергать. Центр согласился и дал разрешение. И вот мой коллега звонит этой леди по телефону, договаривается о встрече, они встречаются и, представьте,— симпатия! С первого взгляда, причем взаимная! Зашли в кафе, вечером в ресторан, завтра театр, послезавтра ипподром или не знаю что, короче — общение. На ипподроме ставят на цифру «13», тотализатор к ним милостив, и вот уже «общий» капитал в несколько сот фунтов стерлингов...

Через месяц Ф. сообщает в Центр: беда, она меня любит! А на следующий сеанс: еще бóльшая беда — я ее люблю! Центр думает, что делать: любовь разведчику, как и инфекционная болезнь с высокой температурой и бредом, категорически противопоказана. Ему пока добрый совет: попридержи лошадей! Ф. «попридерживает», как может: никаких ей авансов и, разумеется, никаких намеков на свою истинную сущность. При этом Ф. знает: если леди, с которой он находится в нежных отношениях, не задает ему «лишних» вопросов — это весьма подозрительно, а если задает, подозрительно вдвойне! Новая Сцилла и Харибда! И вот однажды она говорит ему: что будем делать на пасху? (К слову, у меня бабка верующая была, а я ребенком как-то пришел домой с лозунгом на устах, услышанным на улице: «Кулич и пасха — для маленьких детей яд, а не сказка!»,— и бабушку мою едва откачали.) Ф. ей отвечает: ничего не будем делать, а что? (А ему как раз на пасху наметили встречу в другом городе с курьером-связником.) Она говорит: я бы хотела съездить с тобой к моему дядюшке на морское побережье, он там держит отель и приглашает молодежь. Ф., конечно, подумал, что дело уже пахнет керосином, но согласие дал. Потом, в первый день пасхи, просто и бездарно смылся — а что ему было делать? Она, как вы понимаете, смертельно обиделась. Недели две не встречались, но это еще не конец истории, вы мне напомните, в следующий раз доскажу...

Психология. Бич для бизнесмена — налоги, буквально пожирающие прибыль. Особенно противно платить их было мне, имеющему бизнес в виде прикрытия: основной капитал был, как говорится, кровный, рабоче-крестьянский, прибыль делал я, а не какой-то умный «дядя», а налог приходилось платить чужому государству! Спрашивается: где справедливость?

Мой бывший партнер по фирме, с которым, расставшись, мы сохранили добрые отношения, любил тяжелые и шикарные машины. И вот как-то своим мощным «ягуаром» он покорежил чей-то легонький «фиат», заплатил большой штраф и был лишен водительского удостоверения. Тогда он подал в суд на дорожную полицию (вроде нашей ГАИ), а меня попросил быть в суде свидетелем. Я согласился. Потом произошла такая исполненная для меня двойного смысла процедура. Положив левую (или правую?) руку на Библию, а другую подняв вверх, я торжественно произнес: «Я, Гордон Лонгсдейл, клянусь говорить правду, только правду, одну только правду!», в то время, когда ни Гордоном, ни Лонгсдейлом я в действительности не был,— какую еще «правду» можно было от меня ожидать?

После этого случая я задумался: в каком соотношении находятся у разведчика искусство лжи и его интеллектуальная честность? Впрочем, лучше сказать не «ложь», которой меня не обучали, а «легенда» — канва, по которой я построил представление о самом себе: вспоминал детство, что-то в нем переиначивая. Ложь? Да нет, это работала моя фантазия во имя маскировки. Творческий подход к биографии! — который не мешал мне оставаться самим собой, потому что мои вкусы, манеры, характер, психология, моя «личина» вылезали на поверхность, ибо все это оставалось во мне, было ярко выражено и не вытравлялось никакими легендами.

«Крыша». С детства я был приучен: если что-то делать, то «по большому», как озаглавила статью одна московская газета в пору моей комсомольской юности. Бизнес, так бизнес. Халтурить я не умел, тем более была мысль: чем больше я разбогатею, тем лучше будет Центру. И я богател. Мои автоматы не были примитивными. В кафе «Литл фиш» («Рыбка»), куда я иногда заходил, чтобы посмотреть автоматы моего конкурента, вы бросали монету в щель и понятия не имели, какая заиграет пластинка. А «мои» автоматы после нажатия соответствующей кнопки давали вам то, за что вы платили, и я, ощутив превосходство над конкурентом, испытывал истинно «акулье» капиталистическое удовлетворение. Кстати, вас не шокирует то обстоятельство, что я употребляю местоимение «мои», говоря о фирмах, автоматах и миллионах фунтов стерлингов? Хотя они такие же «мои», как и «ваши»: советские. Правда, иногда, входя в роль, я ловил себя на том, что фирмы, на которые мне, собственно говоря, было плевать, как усыновленные чужие дети, становились мне дороги, и я по-настоящему спорил, торговался, тратил силы, добиваясь их благополучия. Эта двойная жизнь «по системе Станиславского» меня самого частенько пугала...

Взгляд. Минимальный капитал, чтобы фирма могла официально существовать,— сто фунтов, которые должны находиться в банке, хотя истинный актив может исчисляться и несколькими миллионами. Но только дураки кладут в банк весь капитал: банкротство оставляет их без штанов. Умные ограничиваются более или менее «приличным» минимумом, от величины которого, правда, зависит солидность фирмы, а от этого и ее доходы, так что палочка о двух концах: хочешь — рискуй, не хочешь — довольствуйся малым. Кстати, есть чудаки, которые возглавляют фирмы сами, а не через подставное лицо; конечно, им и доверия больше, но и горят они целиком, если не успевают заблаговременно перевести имущество и основной капитал на жену или детей. Впрочем, тогда у них возникает шанс погореть «через жен», алчность которых, я бы сказал, интернациональна (можно понимать и в том смысле, что не имеет границ): уж если жены получают капитал де-юре, какая из них откажется получить его

де-факто? Известен случай с одним крупным бизнесменом, который ценой отсидки спас капитал, причем даже успел перевести его в швейцарский банк «на пароль», но пароль неосторожно сообщил жене, нежно его любящей, а потом вернулся из тюрьмы и не нашел ни жены, ни денег. Нет, нелегкое это дело — быть капиталистом!

Судьба (окончание). Хорошо, что напомнили: мы остановились на том, что мой коллега Ф. поссорился со своей милой дамой, и они две недели не встречались. Ф., как и я, бизнесмен, но помельче, коммивояжер,— таким было его прикрытие. Одним из его агентов был милейший человек, дядя которого имел доступ к важной военной информации, и его можно отнести к разряду «светлых» помощников, то есть ему было известно, на кого он работает и за какие деньги. А вот леди, работавшая секретарем Верховного суда, использовалась Ф. «втемную»: не знала, кому поставляет информацию, притом бесплатно, вот уж воистину — за красивые глаза; мой коллега — мужчина импозантный и с глазами действительно красивыми. Ровно за сутки до его провала (его тоже предали, и предал «милейший» агент) она вдруг звонит: хочу тебя видеть, вечером можешь? (Все их разговоры, при которых я не присутствовал, приводятся мною, конечно, не дословно, а так, как я представляю их себе, зная общую ситуацию.) Ф. уже чувствовал вокруг себя некоторое «движение», а потому сказал ей: лучше в следующую субботу. В следующую субботу, когда Ф. уже был в тюрьме, вдруг вызывают его на свидание. Он — ей: зачем ты пришла, дорогая? У тебя и так будут неприятности! Она отвечает ему: но ведь мы договорились о встрече в эту субботу! — английский юмор. Удивление и испуг у нее уже прошли, ей было просто жаль Ф.: она его и вправду любила, и в самом деле имела неприятности, но соучастия доказать не удалось, ее просто уволили с работы. Эта леди была хорошим и воистину светлым человеком, а вовсе не тот, хоть и работавший «всветлую», но черный агент-предатель. Ф. сидел до обмена, кажется, года полтора-два, и каждую субботу она навещала его в тюрьме, прямо рождественская получилась история, но «хеппи-энда» не было. Когда моего коллегу обменяли, она хотела покончить с собой, ее спасли и, как могли, успокоили: не мог же он взять бедняжку в Союз второй женой! Я столь подробно все это знаю не потому, что история случилась со мной, хотя вы именно так и думаете (увы, я решил «женский вопрос» много банальней и проще), а потому что в связи с Ф. нам было разослано Центром инструктивное письмо, главная мысль которого была предупреждающая: учтите, дорогие товарищи, что прочные отношения с женщинами опасны и для вас, и особенно для них, тем более, что они имеют относительно вас одни мысли, а вы относительно них — совершенно другие.

Ведущий:

Сюжет. Собственно говоря, сюжетная линия исчерпана: ваш герой попадает по заданию Центра в Англию, становится крупным бизнесменом и резидентом, и начинается «другая жизнь» с другими сюжетными разветвлениями. Здесь следует сделать еще одно (последнее) приложение: дело в том, что Л. на разных этапах своей деятельности мог сталкиваться с американскими разведчиками, имена которых, чаще всего вымышленные, а потому имеющие значение кличек, я сейчас представлю с краткими характеристиками. Это и вам будет небесполезно использовать в повести для большей ее достоверности, и нам, как говорится, не вредно. Начну с сотрудников и преподавателей американской школы разведки в Бедвергсгофене, а затем перейду к резидентуре США с центром в Иокогаме. Надеюсь, вы понимаете, что это «айсберг» — крохотная надводная часть того, что мы хотим предать гласности (говорю не из хвастовства, а для дела).

Приложение № 9 (из архива Центра).
Бедвергсгофен (ФРГ):

«Андрей» (предположительно майор Гарольд Ирвин Ридлер), 46 лет. Уроженец Нью-Йорка. Выше среднего роста, смуглый, темно-русый, нос прямой, губы толстые. Носит американскую военную форму с несколькими орденскими колодками. По-русски говорит с легким акцентом. Хорошо играет на губной гармошке. Молчалив. Видимых пороков нет. В 1950 году был в Москве (в каком качестве — неизвестно). Начальник разведшколы.

«Всеволод» — русский, 35 лет. Высокий, полный, блондин, в очках, правый глаз стеклянный. Пьет крепко, но сохраняет выдержку. Ходит в гражданской одежде. Хорошо владеет немецким языком, английским хуже. Общителен, однако о себе почти ничего не рассказывает. Преподает все дисциплины, кроме радиодела и физподготовки.

«Саша» (Волошановский Алексей Мироиович) — украинец, 33 лет. Высокий, сутуловат и в то же время строен. Склонен к полноте. Лицо бритое, лоб высокий, нос крупный, с горбинкой, брови широкие. Волосы вьющиеся, каштановые, по бокам лба небольшие залысины. Иногда носит очки. Владеет русским, француззским, английским, испанским, украинским, польским, немецким языками. Не пьет, не курит. Отец, мать и брат живут в Нью-Йорке, сестра замужем за владельцем текстильной фабрики. Преподает языки, служит переводчиком.

Глен (настоящее имя) — американец, примерно сорока лет. Высокого роста. Ходит в форме. Женат, переписывается с семьей. Выпивает умеренно. Скрытен. Отличный шофер, преподает вождение машины.

«Алексей» — лейтенант американской армии, 1925 года рождения. Среднего роста, волосы русые, правильные черты лица. Хорошо говорит по-русски (мать русская). Молчалив. Пьет мало. Увлекается женщинами, независимо от их национальной принадлежности, даже немками и еврейками. Преподает гимнастику и дзюдо. Одновременно ведает экипировкой курсантов школы.

«Джони Муоллер» (он же Антон Алексеевский, он же Аркадий Голубев, он же А. Голуб) — русский, 37 лет. Среднего роста, плечистый, плотный. Лицо круглое. Брюнет. Волосы густые, длинные, зачесаны назад. Глаза карие, нос прямой. Усы коротко подстрижены. По-немецки и по-английски говорит слабо. Движения энергичные. Немного рисует, хотя и дальтоник. Пишет стихи. Откликается на кличку «Лирик». Работает специалистом по русскому быту, преподает взрывное дело и радиотехнику.

«Вано» (Кошелев Иван Васильевич) — русский, 32 лет, бывший офицер авиации. Был в немецком плену, служил в РОА в разведуправлении. С 1945 года на службе в американской армии, был офицером связи в Иране. Тогда же завербован ЦРУ. Высокий, худой. Решительный. Нос перебит. Волосы русые, жидкие, зачесаны на пробор. Три передних зуба с золотыми коронками. Словоохотлив. Пьет. В пьяном виде буянит. Холост. Преподает парашютное дело и владение холодным оружием. Развратник, рассказывает о своих амурных похождениях. Форму не носит. Немецким и английским владеет слабо.

Иокогама (Япония):

Майк Огден (настоящее имя) — майор американской армии, 35 лет. Среднего роста, худощав, волосы светлые, зачесаны назад. Лицо продолговатое. Ровные белые зубы. Хороший музыкант: играет на фортепиано, домре, гитаре и трубе. Спиртное почти не употребляет. Имеет слабость к женскому полу, увлекся киноактрисой-японкой, проживающей в Токио. Холост. Русский знает хорошо, СССР — плохо.

«Салл» — капитан американской армии, 36 лет. Высокого роста, полный, светло-русый. Женат. Частый гость публичных домов. Русским не владеет совсем. Лучший радист резидентуры.

«Джорвис» — американец, 50 лет. Среднего роста, худощавый, подвижный, волосы редкие, с проседью. Не пьет. Носит очки. Раньше был сотрудником американского консульства в Иране (Тегеран).

«Филл» — большой военный чин, не ниже полковника. Возможно, резидент американской разведки в Японии. 40 лет. Высокий, полный. Хорошо владеет японским и русским языками. Постоянно живет в Токио. В Иокогаме — наезда-

ми, главным образом непосредственно перед заброской группы на территорию СССР.

Тони (настоящее имя) — американец испанского происхождения, 26—28 лет, полный, мускулистый. Волосы и глаза темные, брови широкие. Среднего роста. Носит очки, курит трубку. Холост, невеста живет в Вашингтоне. В прошлом учился в Калифорнийском университете. Хорошо знает испанский и английский языки, немного русский.

«Билл» — лейтенант американской армии, 28—30 лет. Низкого роста, худощавый, русый. Из-за сильной близорукости носит мощные очки в круглой золотой оправе. Курносый. Во время войны был в Японии и Южной Корее. Немного знает русский, хорошо — японский.

«Том» — 30 лет, высокий, худощавый, светло-русый. Прямой большой нос. Носит военную форму без знаков различия. Хорошо владеет английским и русским языками, немного японским. Имеет конспиративную квартиру в Саппоро.

«Стив» (он же Стифенсонн, он же Джим Пеллер, он же Рональд Отто Болленбах) — 1920 года рождения, уроженец штата Оклахома. Несколько лет проработал в Иране под «крышей» корреспондента американской газеты. Увлекается фотографией. Объездил много стран. Высокий, худой, стройный. Ходит, наклонив вперед голову. Блондин, волосы пышные, боковой пробор, лицо бритое, продолговатое, глаза серые, нос большой. Флегматичен. В разговоре медлителен. Смеется глухо, отрывисто, словно кашляет. Хорошо говорит по-немецки. Заместитель «Андрея» (Ридлера) по разведшколе в Бедвергсгофене. В Иокогаме руководит «доводкой» агентов, подготовленных в ФРГ. Осуществляет их практическую заброску на территорию СССР.

Автор:

Судьба (эпизод из беседы). Более всего меня интересовала не «захватывающая дух» детективная сторона деятельности Гордона Лонгсдейла, а его психология, быт, работа, отношения с окружающими людьми. И вот однажды я задал простой, как мне казалось, вопрос: «Конон Трофимович, у вас там были друзья?» «В каком смысле? Помощники?» «Нет,— сказал я,— именно друзья, причем иностранцы, в обществе которых вы могли расслабиться, забыть, кто вы есть, и позволить себе отдохнуть душой?» (Замечу в скобках, что наши беседы не обязательно строились на вопросах, заранее мною сформулированных, и, стало быть, на ответах, заранее Лонгсдейлом подготовленных, что вообще-то было и разумно, и плодотворно: нам была позволена импровизация, правда, под контролем неизменно вежливого Ведущего, который, как расшалившимся детям, мог нам сказать: «Куда-куда, дорогие мои!» и погрозить пальцем; все вокруг мило улыбались, так что обид с моей стороны, как и недовольства со стороны Конона Трофимовича не было.) На сей раз я и спросил о том, что не успел вставить в «вопросник», порциями посылаемый Ведущему для передачи моему герою.

Чуть смутившись, Лонгсдейл переглянулся с шефом, тот подумал и благосклонно кивнул головой. Конон Трофимович начал было: «В Лондоне я искренне, по-сыновьи, привязался к одной пожилой чете...»,— но тут его остановил Ведущий, всего лишь приподняв над столом ладонь: «Может, лучше начать не с Клюге, а, например, с канадского деятеля — для более точного фона? А?» Лонгсдейл понимающе улыбнулся и сказал:

«Ну что ж, пусть будет так. По дороге из Парижа в Лондон я встретил в Кале небольшую канадскую профсоюзную делегацию, направлявшуюся на съезд тред-юнионов. Они затащили меня, пока не было пароходика, в бар; я заплатил за один круг, потом каждый из них за свои круги, так у них принято пить пиво. Впрочем, не «у них», а «у нас», поскольку я ведь тоже «канадец». Слово за слово. Разговорились и обменялись с главой делегации телефонами. Я, конечно, на ходу сочинил цифры. Беседуем дальше, и он употребляет несколько специфических выражений типа «американская политика канонерок», «выкручивание рук по-вашингтонски», «наведение против России мостов», что свидетельствует о его левых настроениях или по крайней мере о том, что он читает левую прессу. Ты что, говорю, занимаешься политикой? Он гордо отвечает: да, я коммунист! Наконец-то, думаю, мне встретился истинно порядочный человек, однако номер телефона я все же исправлять не стал...» — «Вот так-то!» — добавил Ведущий, а затем на этом «точном фоне» прозвучал следующий рассказ Лонгсдейла:

«Как я уже сказал, мне посчастливилось подружиться в Лондоне с пожилой четой, немцами по происхождению; их фамилия Клюге, фамилию в вашей повести пока упоминать не стоит, напишите просто «К», у нас у всех душа болит, когда мы вспоминаем о них... Старики жили в пригороде Лондона на собственной и очаровательной вилле. Я бывал у них обычно в праздники, например, в сочельник, а иногда проводил с ними уик-энд. В эти блаженные часы голова моя совершенно освобождалась от рабочих и тягостных мыслей, а сам я от напряжения. Не будь у меня милых Клюге, я, наверное, много тяжелей переносил бы стрессы и перегрузки. Одно угнетает меня сегодня...— Лонгсдейл сделал паузу, вновь посмотрел на Ведущего, и тот, подумав, благосклонно опустил веки.— Меня и всех нас угнетает,— продолжил Конон Трофимович,— их нынешнее положение. Дело в том, что однажды, попав в сложную ситуацию, я был вынужден немедленно и надежно спрятать отработанный код. Не уничтожить его, а именно спрятать. Я не придумал ничего иного, как заложить его в ножку торшера, только что купленного мною в подарок мадам Клюге в честь ее семидесятилетия. А когда через неделю меня арестовали, я уже не имел возможности вынуть код из подарка. Между тем о моей привязанности к старикам Клюге «они», вероятно, знали и во время обыска на вилле обнаружили в торшере злополучный код. Ни я, ни все мы уже ничего не могли сделать для моих бедных друзей, хотя я и доказывал всеми силами их абсолютную непричастность к моим делам. Их все же провели по уголовному делу, как соучастников и приговорили каждого к семнадцати годам тюрьмы! До сих пор казню себя за неосторожность, приведшую к столь трагическим последствиям, и успокою свою совесть лишь после того, как невинные старики досрочно окажутся на свободе».

Лонгсдейл умолк, больше мы о Клюге ни разу не говорили, однако печальная их история имеет продолжение. Когда Конона Трофимовича уже не было в живых (он умер через два года после нашей последней встречи, в возрасте сорока шести лет, в подмосковном лесу, где с женой и дочерью собирал грибы: нагнулся и тут же умер от обширного инфаркта, разорвавшего сердце), я случайно узнал из газет, что молодого английского учителя, осужденного у нас за шпионаж в пользу Англии, обменяли на стариков Клюге, которые признались на суде в том, что были радистами сэра Лонгсдейла весь период его деятельности в Великобритании.

Но это еще не все, круг еще не замкнулся.

В самолете, которым возвращался домой благополучно обмененный на Клюге учитель-шпион, по странному стечению обстоятельств летел командированный в Лондон журналом «Юность» писатель Анатолий Кузнецов. Он попросил в Англии политическое убежище, превратился в «Анатоля» и напечатал «открытое письмо» своим бывшим коллегам-писателям, в котором был изложен такой факт. Сходя в Лондонском аэропорту с самолета, Кузнецов увидел вдруг, что к его трапу несется большая группа журналистов с кинокамерами и протянутыми вперед микрофонами. Он похолодел от испуга, решив, что они к нему, хотя о том, что он станет невозвращенцем, Кузнецов даже сам себе боялся признаться раньше времени. Однако, когда он понял, что все взоры, камеры, микрофоны и интерес направлены мимо него — к английскому учителю, об истории которого он вообще ничего не знал, взяло ретивое, и он неосторожно сказал какому-то журналисту, придержав его за полу пиджака: «Меня, меня фотографируйте! Будете первым! Потом хватитесь, ан поздно!»

Теперь круг замкнулся.

Работа. Поощрения у разведчиков примерно такие же, как у всех советских служащих,— благодарности с занесением в трудовую книжку, грамоты, денежные премии, ценные подарки, ордена и плюс то, что нам, обыкновенным совслужащим, можно сказать, не снилось: именное оружие, которое, правда, пряталось в бездонный сейф «Пятого». А иногда разведчику сообщали по радио (как замирало его сердце, когда он ночью расшифровывал текст!), что сам Председатель знает, какое он выполняет задание, чем занимается, и его благодарит — выше этой похвалы ничего не было. Однако было и такое, что разведчикам тоже «не снилось»: о них не писали в открытой печати, их имен и фамилий, в отличие от космонавтов и тружеников полей, не знал народ, они «проходили», как «безымянные герои», их иногда даже хоронили под чужими фамилиями. Это про них в пролетарском марше: «Вы с нами, мы с вами, хоть иет вас в колоннах...»

А воздавалось им по заслугам на сверхсекретных совещаниях, и то не всегда и не всем, и еще, бывало, в надгробных речах, если они легально уходили в «вечные нелегалы» — туда, откуда обменов нет. Говоря обо всем об этом, положим, мне они не жаловались, а констатировали факт. «Мне очень хотелось бы,— написал в своей автобиографии полковник А.,— чтобы наша молодежь воспитывала в себе высокое чувство собственного достоинства, патриотизма и безграничной веры в правоту того дела, за которое боролись их отцы». А Конона Трофимовича, кстати сказать, во всей этой «закрытости» трогало за живое только одно: дети разведчиков не могли прилюдно гордиться своими отцами. Остальное, сказал он, поверьте,— трава!

Продвигаясь по службе, Лонгсдейл фактически стоял на месте или, если угодно, стоя на месте, он фактически регулярно получал повышения: все зависело от того, что полагать его «службой» — работу в качестве разведчика или владение сначала одной, а потом и четырьмя фирмами да еще многомиллионным капиталом. Три последних года он имел звание полковника. Форму не надевал никогда в жизни. В сейфе у «Пятого» лежали его боевые ордена; я имею право называть их «боевыми»? — обратился он к Ведущему с легкой усмешкой, и тот молча и серьезно опустил верхние веки: да. Конон Трофимович однажды сказал мне: «Когда я умру, ордена не понесут за мной на подушечках,— знаете, почему? Потому, что я такой же «полковник» и «орденоносец», каким «поручиком» был небезызвестный Киже: я есть, но в то же время меня — нет!»

Конон Трофимович:

Провал. Самоконтроль у разведчика должен быть все двадцать четыре часа в сутки. Особенно если живешь в отеле. Я, например, никак не мог привыкнуть мыться «по-английски», я бы даже сказал, пусть англичане на меня не обижаются, а бог меня простит, по-свински, когда пробкой затыкают в раковине слив, наливают воду и плещутся в ней, будто поросята в корыте. Мы, русские, с точки зрения иностранцев, вероятно, слишком щедро, а потому глупо моемся под струей из крана! Но я всегда держал себя под таким контролем, что, даже живя в номере один, запирал все двери, проверял запоры, чтобы, не дай бог, не заглянул случайно служитель гостиницы или посторонний, и лишь тогда пускал со всей российской щедростью роскошную струю и наслаждался.

Работа. Для получения или передачи сведений резидент, как правило, встречается со своим помощником. Встречи мы делим на очередные (плановые) и экстренные. Встречаться с агентом запросто можно на улице, в кафе, в музее и так далее. И так же просто передавать ему или что-то получать от него. Я уже говорил об этом, не грех повторить: истинная драматургия нашей работы заключена не в таинственной атрибутике, а в чрезвычайно опасной сути всей нашей деятельности за границей, поскольку все мы знаем, что если провал, пощады нам не будет. Когда ночью, во сне, кто-нибудь обращался ко мне по-русски, я просыпался в холодном поту — это ли не драматургия? Когда же я выходил на связь со своим помощником, то вел себя в его обществе просто и естественно, как только и могут вести самые обыкновенные и нормальные люди. Кажется, Фучику принадлежат слова, которые можно отнести и к людям моей профессии: «Герои пролетариата просты и обычны. Их героизм заключается лишь в том, что они делают все, что нужно делать в решительный момент».

Быт. Отпуск я получал, как все английские служащие: на две недели. Но проводил это время не «просто так», а ездил домой, к семье. Да-да, в Москву, что вы на меня смотрите круглыми глазами? Дело, конечно, не простое, но Центр на это шел, прекрасно понимая, что «чувство Родины», «чувство семьи» надо постоянно поддерживать у разведчика, он не может и не должен расставаться с этим чувством надолго. Как Антею, и ему надо было время от времени прикасаться к источнику своей силы—к родной земле. Скажите: я, будучи миллионером, мог позволить себе на собственной морской яхте «Альбатрос» уйти на пару недель в море с хорошим матросом, который, как вам нетрудно догадаться, был моим верным помощником? Где-то в нейтральных водах я мог пересесть на «попутную» подводную лодку, не имеющую опознавательных знаков? Мог через двое суток вынырнуть (в прямом смысле этого слова) где-то возле Одессы или Ленинграда? И надеюсь, вы не станете отрицать, что оттуда до площади Восстания в Москве рукой подать? И вот я — дома. Не узнаю жену, потому что она перекрасилась, да так, что вся Москва становится рыжей. Мои домашние уверены, что я приезжаю скорым прямо из Пекина, а через десять дней обратно в Пекин полечу прямым рейсом на ИЛ-18 с тремя посадками: в Свердловске, Чите и Хабаровске.

Впрочем, бывали у меня ситуации посложнее. Несколько раз дела фирмы буквально выталкивали меня, как человека предприимчивого, в составе британской торговой делегации на переговоры в Москву. Ночью я позволял себе выйти на полчаса из «Метрополя» и погулять по городу, подойти к своему дому, поглядеть на него, облизываясь, и вдруг схватиться рукой за сердце, когда вспыхивал свет в детской комнате: это Галя высаживала на горшок нашего маленького, названного в честь деда Трофимом и родившегося в мое отсутствие. Только вы не подумайте, что Центр столь всемогущ, что может обеспечить нашим женам непорочное зачатие; потом, когда я вновь побывал дома, Трошка в честь моего приезда «из Пекина» пошел!.. При моей профессии и жена моя — одиночка, и дети — одиночки. Вот и сейчас: она сажает Трофима на горшок, а я снизу смотрю голодными глазами на светящееся окно в «детской» и профессиональным чутьем угадываю — такое вовсе не исключено, давайте будем реалистами — еще одну пару глаз, за мной следящую: они хоть и «свои», эти глаза, но при этом «чужие», и я понимаю, сколько хлопот может доставить владельцу глаз этот странный и непоседливый член торговой делегации.

Качества. Одно дело, если удается вдруг завербовать известного спортсмена (впрочем, к какой секретной информации по своей профессии он может иметь доступ: к технике прыжка в высоту или к «защите Нимцовича — Тарраша»?), и другое дело, если сам разведчик неплохой спортсмен. Как ему быть? Дать волю таланту? Я, например, играл в шахматы—средне по нашим масштабам, но очень даже прилично по тогдашним английским. Чесал всех коллег-бизнесменов, и это могло кому-нибудь показаться подозрительным: почему я не играю в клубе и не участвую в соревнованиях? А мне «высовываться» нельзя,—разве кому-нибудь объяснишь? Тогда скрепя сердце поубавил прыти, стал, как все «зевать» пешки, хотя душа бунтовала. В конечном итоге перешел от греха подальше на японские шахматы (типа нард), играл с одним японцем-миллионером, обыграл его, он чуть не сделал себе харакири. Есть среди нас, разведчиков, несостоявшиеся теннисисты, хирурги, певцы, танцоры, математики, пианисты, даже один боксер, потенциальный чемпион мира, но не все они могут, как литераторы, под псевдонимами реализовывать свои способности. В общем, все это довольно трагично, если учесть, что человек живет не две жизни, а одну, и такую короткую.

Работа. Когда помощник первый раз несет документ шефу, он очень волнуется, ведь на оригинале стоит штамп: «Сов. секретно», «По списку», «Только офицерам», «Рукой офицера» и т. д. (я имею в виду, например, сведения военного характера, полученные от агентов, работающих в военных ведомствах). Как они, бедные, трясутся, желая получить оригинал обратно! А шеф, всю ночь переснимая документ на пленку, думает об агенте: черт бы тебя побрал с твоими «секретами»! Возвращение оригинала, как и получение его, осуществляется при личной встрече; идеальный же вариант, когда помощник передает шефу уже готовую микропленку.

Психология. Цель оправдывает средства — можно подумать, что это главный принцип разведки. Мне он претил, как, к слову сказать, и бизнес, которым я занимался: никак не мог привыкнуть к тому, что подлость во имя денег — норма, что если ты нарушил закон — ты дурак и преступник, а если закон обошел — умный и порядочный человек. Однако, к сожалению, с волками жить... как инфекция, клянусь вам, ничего не стоит заразиться. Чужой стиль жизни в конечном итоге иными принимается не как вынужденная необходимость, а как необходимость приятная. Я тоже чувствовал, что меняюсь, начинаю «заболевать», и если бы не провал, а потом сидение в тюрьме и обмен, не знаю, в кого бы я выродился, несмотря на мою чистую, надеюсь думать, основу, несмотря на мое ясное и четкое мировоззрение. И все же я горжусь хотя бы тем, что подкуп и шантаж, как и прочие аналогичные средства, якобы оправданные святой целью, мною или вовсе не применялись, а если и бывали редкие случаи, то — с отвращением: руки делали, душа протестовала.

Провал. Впервые оказавшись в Ванкувере, я через какое-то время познакомился с милейшей семьей: он, она и девятнадцатилетняя дочь — коренные канадцы, если к канадцам вообще применимо понятие «коренные». Мои знакомые были простыми людьми и добрыми. Как-то утром девушка забежала ко мне (мы соседствовали домами), а я после ночного сеанса связи с Центром еще нежился в постели и только думал: сейчас встану, приготовлю себе яичницу с беконом, чашечку кофе, и тут — она. Будучи человеком весьма раскованным, девушка запросто присела на мою кровать. Я говорил вам, что моя мать — врач? С детства она прививала мне такое же возвышенное отношение к чистоте и гигиене, как в набожных семьях, наверное, к Библии. И я сказал девушке: как ты можешь прямо с улицы, в том же платье, садиться на чужую постель?! По легенде я был в ту пору «потомственным лесорубом». Она посмотрела на меня с большим интересом и с подозрением сказала: забавный ты «лесоруб»! Я тут же прикусил язык. И на всю жизнь понял, что легенда и поведение разведчика должны быть из одной оперы, иначе — провал.

Судьба. Удача сопутствует сильному, а не слабому, смелому, а не трусу, в нашем деле — знающему разведчику, умеющему использовать все возможности, которые предоставляются ему случаем. Это старый закон и не только в разведке — в спорте, искусстве, короче, в жизни. Со мной в камере одно время сидел весьма сообразительный молодой человек с интересной историей. Когда-то он решил стать тюремщиком — хорошенькая мечта, правда? — и, представьте себе, устроился! И вот в тюрьме, где он работал, ему вдруг оказался по душе какой-то бродяга, и он, недолго думая, помог ему бежать. Всего сутки или двое гулял тот на свободе, а когда его поймали, он, тоже недолго думая, заложил своего спасителя. Так молодой человек оказался со мной в одной камере. Вы полагаете, он случайно «загремел»? Нет! Случайно можно наехать на гвоздь, но в багажнике должна быть запаска. Кстати, двенадцать лет я не нарывался на гвоздь, а нарвался, запаски-то и не оказалось у меня: поэтому и я поселился в одной камере с этим странным мечтателем. По натуре он был шкодливым. Еще в счастливую свою пору тюремщика, тщательно изучив сигнализацию в тюрьме, он давал иногда ложные тревоги или в случае побега заключенного путал карты своим коллегам, указывая неверное направление, в котором якобы тот бежал, и вся орава неслась по невидимым следам за невидимым человеком. Зачем он это делал? Из любви к «искусству». В камере он вдруг решил писать мемуары и, хотя нам давали нормальные чернила в любых количествах, попросил меня, как «бывалого», сделать ему невидимые. Я сказал: хорошо, для начала не сливай горшок. Что-о-о? — он не поверил: и будут невидимые?! Добавь немного соли. Короче, сделал ему чернила. Неделю спустя его от меня переводят, а за мной усиливают наблюдение. Что случилось? Оказывается, он написал моими чернилами письмо в Скотланд-Ярд, будто готовит вместе со мной побег! Больше я никогда не видел этого забавного человека.

Работа. Для получения в Канаде паспорта, даже при наличии хорошо отработанной легенды и метрик, замечательно изготовленных нашими умельцами, нужен еще «гарант» — человек, подпись которого имеется в мэрии и который может официально заявить, что хорошо знает соискателя не менее двух последних лет. Обычно гарантами выступают уважаемые в городе люди: врачи, бизнесмены, адвокаты, хоккеисты,— ну, а как мне заполучить гаранта? Центр предложил однажды испытанный ход: еще в Москве мне высверливают в зубах несколько дырок (процедура, прямо скажу, не из приятных, один бормашинный звук чего стоит!), и вот я в Ванкувере. Начинаю, как и положено разведчику, с изучения обстановки, города, его достопримечательностей, горожан, историй — во-первых, в надежде «легендировать» что-нибудь из увиденного или узнанного, то есть органично включить в мою легенду, и, во-вторых, на случай, если потребуется срочно уходить. Разумеется, изучаю не только по энциклопедии, фотографиям, картам и телефонным справочникам, а еще собственными ногами и в личном общении. Вот так и «выхожу» на доктора Вайсмана — превосходного стоматолога, обаятельного старика и «знающего человека», если переводить его фамилию на русский язык, не помните: «Их вайс нихт, вас золь эс бедойтен»? — затем предъявляю ему свои «московские» дырки. В итоге: кто из нас более «знающий человек», если на третьей пломбе Вайсман становится моим гарантом, и я получаю настоящий канадский паспорт!

Психология. Иногда, страстно желая попасть хоть на сутки домой, мы придумываем нечто, из-за чего Центр вынужден вызывать нас в Москву, и мы, конечно, летим на всех парусах, рискуя получить от «Первого» нахлобучку. Впрочем, степень доверия Центра разведчику полная и взаимная. Разведчик не может не доверять и не верить своему руководству: психологически и морально это важнее, чем доверие между супругами, без которого «нет жизни». И если, положим, «Первый», провожая разведчика за кордон, обещает ему «в случае чего» похоронить его дома, тот может не сомневаться: как ни трудно, гроб с телом перекочует на родину и ляжет в землю где-то на Введенском или Ваганьковском кладбище. Но если у Центра появляется крохотное сомнение относительно поведения разведчика, он тут же и «без обид» проверяет его всеми доступными способами и может отозвать домой: но отзывает Центр по-умному, так, чтобы разведчик не заметил, что его подозревают,— на какое-нибудь важное совещание, и не одного, а несколько человек из разных стран, или для вручения награды. Подполковника Х., который был помощником нашего резидента в Америке, как вам известно, отозвали грубо...

Быт. Не помню кто, кажется, Сократ (или Сенека?), на вопрос молодого мужчины, обратившегося к мудрецу за советом, жениться ему или не жениться, ответил: «Как бы вы ни поступили, юноша, вы об этом горько пожалеете!» Моя точка зрения на «женскую проблему» в чем-то схожа: и без женщины разведчи-

ку никак нельзя, и с нею тоже невозможно! Один мой коллега, намучившись, поступил так. Во Францию из Англии приезжали по обмену на языковую практику молодые женщины, чаще всего студентки, это называется, если не ошибаюсь, «опэр» (на пáру). Они были, как правило, из обеспеченных семей, а устраивались на работу в качестве гувернанток, официанток или секретарш в офис. Главное их достоинство, с точки зрения моего коллеги, заключалось в том, что пребывание их в стране ограничивалось трехмесячным сроком. С этими молодыми и прекрасными дамами он и появлялся на людях, очень скоро заработав почтенно звучащее в его кругу звание ловеласа, которое ни у кого не вызывало и не могло вызвать подозрений на его счет. Через три месяца: гуд бай, май диа гёл! Адью, сэр! И на память о замечательно проведенном времени невинный презент: то ли шубка, то ли колечко... Внешне, возможно, все это выглядит, с точки зрения пуритан, не очень нравственно, а что делать? Избранный моим коллегой вариант, право, наименее травматичен для всех «сторон»: прежде всего для молодой леди, которая за три пролетавших месяца не успевала привыкнуть к «сэру», стало быть, и для Центра, который мог быть спокоен за тайны, находящиеся в прямой зависимости от прочности отношений, и, наконец, для разведчика и его совести, поскольку отношения эти были добрыми, не строились на обмане или авансах, а были премилой «игрой», на которую охотно шли его партнерши и о которой он мог потом дома с улыбкой рассказывать родной жене, хотя я не уверен, что жена с улыбкой воспринимала его рассказ... Конечно, бывали случаи, когда разведчик имел разрешение Центра на брак с иностранкой, женился, рожал детей и жил счастливой жизнью, но это было позволено только холостякам, кроме того, жена становилась тогда помощницей разведчика, утвержденной Центром и прошедшей перед утверждением все необходимые формальности.

Работа. Если агент болен или даже при смерти, он все равно приползет на плановую встречу с резидентом, так как знает: в противном случае шеф объявит общую тревогу, смысл которой в консервации всей деятельности резидентуры и в уходе в глубокое подполье, что связано с весьма сложными мерами и бывает только в ситуациях чрезвычайных. Резидент иногда может позвонить помощнику напрямую из уличного автомата, когда это необходимо, но агенты телефона шефа не знают, поэтому и не могут предупредить о неявке: надо — ползи! Если агент ведет себя странно (например, после встречи с шефом какое-то время вдруг идет за ним), его немедленно начинают перепроверять, и пока Центр занят этим, деятельность резидентуры замирает. Одним из способов перепроверки (далеко не единственным) может быть, такой: агента срочно просят достать секретный документ, заполучить который он наверняка может, но который уже есть в Центре, о чем агент, естественно, не знает, и сверка двух документов «откроет глаза» на агента — чист он или уже перевербован? Впрочем, контрразведка тоже не лыком шита и кое в чем разбирается, и, чтобы не провалить своего (бывшего «моего») агента, может дать ему для передачи шефу не «липу», а истинный документ в надежде продлить игру в кошки-мышки. Стало быть, одним каким-нибудь способом перепроверка не делается; для того, чтобы исключить сомнения, которые в нашем деле — яд, Центр идет на «перекрестный вариант», о технологии которого говорить нет смысла, скажем, потому, что вам может быть скучно, начнете зевать.

Каждый раз, уходя после плановой встречи, резидент проверяется: следят за ним или нет, не мелькнет ли где-нибудь короткая вспышка блица (нынче, правда, уже без вспышек прекрасно фотографируют даже в темноте): опытный разведчик затылком чувствует слежку, у него чутье, как у собаки, но не идущей по следу, а, наоборот, за которой гонятся. «Ликвидация» агента — пошлый стереотип, навеянный обывателю детективами. Лишать человека жизни, даже если есть уверенность, что его перевербовали, не только нельзя, особенно в мирное время, да и не нужно. Какой смысл? Месть? Всего-то? Уверяю вас, низкое это дело и к реальности отношения не имеющее. «Своего» агента (я имею в виду перевербованного) наказывать, конечно, можно, но и без ликвидации вариантов достаточно, но иностранца, который работал, а потом, предположим, «одумался» — зачем? Лучше уйти, тихо свернув деятельность резидентуры, или сделать вид, что перевербовка не распознана, и работать дальше, ведя на этом новую «игру». Правда, если контрразведка тоже начнет «игру» на нашей «игре», разобраться, кто в такой ситуации волки, а кто зайцы, не так легко, как кому-нибудь может сгоряча показаться!

Психология. Когда идет сложная операция, хирурги, говорят, теряют килограммы. И хоккеисты теряют, и бегуны на длинные дистанции, и актеры за спектакль... У нас тоже потери, но не в килограммах, а чаще душевные, психологические. Делаешь дело и внутренним взором видишь тонко очерченный меловой круг, переступать который по чисто нравственным причинам нельзя и не переступать — тоже нельзя! А вот как показать в кинофильме эту меловую черточку? Куда проще: бам-трах, та-та-та-та! После войны я больше ни разу не стрелял, не бил ножом, не бегал ни от кого и ни за кем, не скрежетали тормоза моей машины на крутых виражах, не приходилось мне ходить по карнизу на высоте тринадцатого этажа или прыгать на полном ходу с поезда, а неисправимые кинодеятели упорно «жалают» романтики и погони! У нас же, пока не арестуют, пока не наденут наручники — какая «романтика»? Весь период моего пребывания за границей, кроме бритвы (безопасной!), другого оружия у меня не было. Ни пистолетов, ни ядов, ни каких-то невероятных приемов дзюдо или каратэ, а самое главное — никакой во всем этом надобности!

Взгляд. Вот ситуация. Там все платят чеками, которые учитываются банками. Чековая система для контроля, поскольку банк, открывая бизнесмену счет, как бы контролирует (то есть дает возможность налоговым организациям проверять) все финансовые операции вкладчиков. Но иногда клиенты по каким-то «своим» причинам платят за покупку наличными, и вот тут-то и появляется возможность для разного рода комбинаций. Например, я, будучи полновластным хозяином фирмы, могу взять сам у себя через подставное лицо партию автоматов (положим, полсотни штук), а затем через то же лицо продать их за наличные деньги, которые банком не учитываются и не подлежат налогообложению. Покупателю я, разумеется, дам скидку, но это все же выгодней, чем платить с прибыли налог. Я внятно объяснил? В данной операции я действую, как «чистый» бизнесмен, естественно стремящийся любыми способами обойти банк и на этом заработать. Но ведь лично я не просто бизнесмен, а еще разведчик. Мое положение много сложней, поскольку я нахожусь как бы под двойным «гнетом»: со стороны банка и финансовых ведомств Англии и, кроме того, со стороны бухгалтерии собственного родного Центра. Всю документацию мои клерки вели в двух экземплярах: один за моей подписью получали правительственные учреждения, а второй я тоже за своей подписью, но с переводом на микропленку, направлял в Центр. В одном месте по этой документации определялась сумма налога, и я был заинтересован в «плохом» отчете, чтобы уменьшить налог, а в другом месте судили о качестве моей работы, и тут я хотел отчитаться как можно лучше, чтобы не сказали: какой же ты бизнесмен, если даешь мало прибыли, улицы тебе подметать, а не владеть фирмами! Так вот, заверяю вас: если налоговое управление Англии я еще мог с большим трудом, но все же обдурить, то своего «министра финансов» — фигушки, извините, с маслом!

Легенда. Рассказывая кому-нибудь о своем «сиротстве» и о том, как утонули мои бедные папá и мамá, я совершенно искренне думал, на кого вы меня, несчастного, бросили! И «непрошеная» слеза выкатывалась из моего глаза.

Психология. Считаю, что ни один человек не мыслит на иностранном языке, как бы совершенно им ни владел, а на родном, и тут же сам себе переводит. Больше того, мне кажется, что люди вообще мыслят не словами, а обра-

зами: видят внутренним взором какой-нибудь стол и лишь тогда называют его «столом» или вообще не формулируют, а просто знают, что это стол. Ошибочное мнение? Возможно. Другой бы спорил... Приехав домой после обмена, я первое время говорил по-английски: не мог привыкнуть к безопасности. А потом, когда перешел на родной язык, в моей речи невольно проскакивали английские слова и обороты, и я очень пугался: получалась какая-то невероятно сложная в психологическом отношении «конспирация наоборот»! Великая Отечественная длилась долгих четыре года, столько же я просидел в тюрьме в ожидании обмена, не очень-то на него надеясь. Четыре года, и ни слова по-русски, потому что официально меня принимали за поляка, хотя прекрасно знали, кто я на самом деле, но формальных доказательств у них не было. Поэтому я, «проходя» как польский разведчик, и обменивался через социалистическую Польшу: английского бизнесмена-шпиона Гревилла Винна наши отдали полякам, а уже те меняли его на «своего» разведчика, то есть на меня. Между прочим, полковника А. тоже меняли через ГДР.

Однажды. Мне передали отлично сделанный паспорт, и я отправился за билетом на самолет, чтобы лететь из Англии в другую страну под другой фамилией; так было нужно. Иду совершенно спокойно, так как документ воистину безупречный. Но кто может заранее сказать, где и какая опасность подстерегает разведчика? Скажу несколько слов, чтобы дальнейшее было понятно: авиакассы во всех странах мира — единственное место, где спрашивают фамилию будущего пассажира и сверяют его физиономию с фотографией на документе. Итак, я подхожу к кассиру-таможеннику, протягиваю ему паспорт и деньги за билет и — молчу! Представьте себе, забыл фамилию, которая значится на сделанном документе! А паспорт-то не у меня, подсмотреть невозможно. Ситуация... Что делать? Он ждет. Я молчу. У меня уже начинает болеть копчик. Наконец, помолчав еще немного...— а что бы вы предприняли? Ну, подумайте!..— спокойно ему говорю: фамилию поставьте ту, которая в паспорте. Он ошалело посмотрел на меня, а потом так смеялся, будто его щекотали.

Быт. Зарплату я получал в соответствии со своим званием и должностью; фактически ее получала жена, причем во Внешторге, за которым я для нее значился. Мне же давали так называемое «валютное обеспечение», присылая его с курьером. Как вы понимаете, это «обеспечение» с лихвой покрывалось доходами фирм, и я, таким образом, не был Центру в убыток. Что же касается моих «фирменных» заработков, то они были, по сути дела, не мои. А к прибыли я и вовсе не имел никакого отношения. Личные траты позволялись мне только для прикрытия и никогда для удовольствия. Все, что я тратил «на себя», затем шло в финансовый отчет Центру, и если там полагали траты лишними, их элементарно вычитали из моего заработка. Даже на такой рискованной работе нам не разрешали отождествлять карман собственный с государственным. Напомню: весь оборотный капитал и прибыль моих четырех фирм (миллионы фунтов стерлингов!), умножаемые каждый год не без моей помощи, были «социалистическим имуществом». Парадоксально, но факт.

Расходы из «валютного обеспечения» тоже согласовывались мною по сумме с Центром. Агенту-министру я платил иначе, чем агенту-клерку — это понятно. Впрочем, не только от должности помощников зависели мои траты, а в первую очередь от ценности поставляемой ими информации. Кроме того, я всегда боялся, как бы «озолоченный» мною агент не спился, да и денег, откровенно говоря, было жалко. Поэтому, передавая помощнику сумму, предположим, на покупку автомашины, я часть ее временно удерживал, говоря: вот вам столько-то от договоренного, остальное потом, а машину покупайте в рассрочку! — ни физически, ни морально не мог доставить агенту, мною завербованному, такого удовольствия, чтобы он сел за руль собственной машины, полностью выкупленной! Тут во мне, вероятно, поднималось и клокотало классовое сознание.

Если я узнавал, что агент мой по натуре игрок, к тому же азартный, я во избежание его перекупки немедленно начинал процесс «принижения», а лучше сказать, перевоспитания. Если не получалось, дело заканчивалось «золотым рукопожатием»: с глаз долой, из сердца вон — снимал с довольствия.

Автор:

Сюжет. Уточняя предложенную мне Ведущим сюжетную схему повести о Лонгсдейле, я узнал такую прелюбопытную историю. В начале войны семнадцатилетний Конон Молодый был определен в диверсионную группу. Немецкий он знал, а парашютному и взрывному делу его научили за полторы недели. Осенью сорок первого года он уже закапывал парашют в землю где-то недалеко от города Гродно. Во время прыжка группа рассеялась и собраться не смогла. Оставшись один, Конон, ничего не успев взорвать, попал в облаву и, как личность подозрительная, был доставлен в городскую комендатуру. Аусвайс, наскоро сделанный на втором этаже знаменитого здания на Маросейке, где формировались «летучие» диверсионные группы, был столь откровенно липовым, что юноша понимал: это конец. Но случилось невероятное.

Его ввели в кабинет, в котором под портретом фюрера за огромным столом сидел в массивном кресле немецкий полковник-абверовец и поглаживал овчарку, коротким поводком привязанную к ручке кресла. При появлении арестованного полковник встал, бросил короткий взгляд на аусвайс (хорошо еще, что на удостоверении была фотография именно Конона Молодыя, а не кого-то другого, что в спешке было возможно) и сказал: «Партизан?» Конон мотнул головой, как ученик в классе: «Не!» Он был в рваном ватнике и мял в руках шапку. Полковник очень внимательно посмотрел на юношу, будто желая запомнить его физиономию на всю жизнь (этот невинный домысел я делаю, исходя из того, что мне известно о дальнейших событиях). Затем встал, подошел близко к Конону, взял его рукой за плечо, вывел на высокое крыльцо комендатуры, повернул к себе спиной и тяжелым кованым сапогом дал парню в зад, после чего брезгливо кинул упавшему его липовый документ и, круто повернувшись, ушел. Жизнь Конона Молодыя была неожиданно спасена, правда, ценой сломанного копчика, который часто болел, даже в тот день, наверное, когда Конон Трофимович, гуляя с женой в подмосковном лесу, нагнулся за последним в своей жизни грибом.

Сюжет, однако, на этом не кончается, это всего лишь его начало. Много лет спустя, уже после войны, превратившись в Гордона Лонгсдейла и получив в Ванкувере канадский паспорт, Конон Трофимович по заданию Центра выехал в Вашингтон для встречи со своим резидентом по США и Северной Америке, чтобы с ним, во-первых, познакомиться и, во-вторых, согласовать детали первой совместной операции. Встреча должна была состояться в парке для верховых прогулок, и вид прекрасно экипированных мужчин и женщин, элегантно восседавших на сказочно красивых лошадях, был таким безмятежным и мирным, что никак не способствовал воспоминаниям об ужасах минувшей войны и о давнишней истории в белорусском городе Гродно.

Итак, слегка постукивая по сапогу стеком, Лонгсдейл свернул в боковую аллею и двинулся навстречу джентльмену, показавшемуся с другой ее стороны. Было точно указанное время. Несмотря на то, что наш век не каменный, а кибернетически-атомный, и людей, которым нужно обнаружить друг друга в толпе, могут снабдить, я думаю, какими-нибудь локаторами на компьютерной основе, техника взаимного обнаружения осталась у разведчиков на примитивном, но, как говорят, весьма гарантированном уровне минувших столетий. Так, сэр Гордон Лонгсдейл зажал сигарету в

правом углу рта, а резидент, наоборот, в левом, и оба они, как было условлено, постукивали стеками свои левые сапоги, а в петлицы смокингов воткнули булавки — один с красной, другой с зеленой головками. Ко всему прочему, визуальные признаки «своего среди чужих» должны страховаться паролем, который состоит из довольно глупого вопроса и не менее идиотского ответа. Зато, если компьютеры могут сломаться и подвести, тут риск ошибиться практически исключен. Еще издали Лонгсдейл приподнял котелок, приветствуя приближающегося джентльмена, затем поднял глаза на его лицо и замер с окаменевшей физиономией: перед ним был немецкий полковник-абверовец, и как бы в доказательство того, что это был именно он, у Конона Молодыя заныл копчик. А «абверовец», поняв, что его узнали, сосредоточился и, представьте, тоже открыл рот и временно его не закрывал (не зря он тогда в Гродно так внимательно вглядывался в лицо юного террориста!), а потом, явно в нарушение конспирации и вопреки оговоренным условиям, воскликнул: «Партизан?! Не может быть?» Лонгсдейл первым взял себя в руки и с философическим выражением на лице произнес слова пароля: «Вам нравятся лошади-тяжеловозы, сэр?»,— на что резидент почему-то с вызовом ответил: «Особенно кобылы, а вам?»,— но тут же дисциплинированно исправился: «У меня на ферме два отличных тяжеловоза, сэр!»

Мне остается добавить к сказанному, что абверовцем в Гродно и одновременно резидентом по США и Северной Америке был не кто иной, как уже знакомый нам советский полковник А., он же «Варлам Афанасьевич» из свиты Лонгсдейла и, наконец — да, вы совершенно правы, читатель — Рудольф Иванович Абель; неисповедимы пути Господни...

Вот и теперь круг замкнулся.

Качества. Начинать эту историю надо издалека. В институте у Конона Молодыя был товарищ, которого просто однокашником не назовешь: мало того, что они пять лет вместе проучились на китайском отделении, Жора (так звали товарища) был женат на лучшей подруге жены Конона Трофимовича, он, собственно, и познакомился с ней в доме у Молодыев. Короче говоря, золотая студенческая пора молодых людей прошла в одной компании, знали они друг друга как облупленные, но после института пути их разошлись. Жора действительно работал во Внешторге, а где трудился Конон, он не догадывался, а думал, как и все другие, что командирован на несколько лет тем же Внешторгом в Китай.

Теперь перенесемся в Лондон, в тот туманный день, когда произошла история, о которой я хочу рассказать. В маленьком телемагазинчике на знаменитой Бейкер-стрит тихо переговаривался с продавцом чопорный англичанин средних лет, рядом с которым стояла, держа его под руку и мило к нему прильнув, молодая и красивая леди, явно иностранка: они выбирали телевизор, и леди сдержанно восклицала с акцентом, указывая пальчиком то на одну, то на другую модель: «Хи из уандефул, май лав!»

Интриговать дальше нет никакого смысла. Конечно, это был Гордон Лонгсдейл со своей деловой партнершей-француженкой, в подарок которой и делалась покупка. В тот момент, когда телевизор был выбран, и оставалось только сказать продавцу, чтобы его, как говорится, завернули и доставили к вечеру на пароходик, пересекающий Ла-Манш в направлении из Лондона в Кале, и покупатель уже принимал от продавца копию чека, зачем-то ему понадобившегося, вдруг раздался громкий и радостный по тональности крик: «Конон!»

Вот уж воистину, как пишут в детективных романах, «ни один мускул не дрогнул на его лице», имеется в виду лицо Лонгсдейла, который, чуть скосив глаза, увидел в дверях магазинчика Жору. Раскинув в стороны руки и счастливо улыбаясь во все свои тридцать два зуба (зуба мудрости у него, надо полагать, еще не было), Жора уже готов был заключить «Конона» в свои могучие объятия и троекратно по-русски, смачно расцеловать, но что-то его все же сдерживало. «Что-то»! Конон Трофимович не только «не видел» своего бывшего однокашника, но сделал вид, что даже не слышит его! Тогда Жора, приблизившись, заорал

еще громче и радостней: «Конон, черт тебя побери!» — и, поскольку реакция была той же, положил свою лапищу на плечо Молодыя. Правда, на всякий случай положил осторожно, не тряхнул и уже совершенно нормальным голосом сконфуженно произнес: «Оглох, что ли?» Лонгсдейл снова не шевельнул мускулами лица, а плечом немного повел, будто ему жал пиджак в том самом месте, где лежала рука «незнакомца», и вынул плечо из-под его руки. Жора отважился еще на одну фразу: «Да это я, Жора!» — сказал он даже с некоторым возмущением в голосе. И тогда Молодый произнес на чистом английском: «Экскьюз ми, ай донд ноу ю!» Жора попятился к выходу, не спуская с Конона Молодыя глаз и недоуменно бормоча: «Вот номер, ничего себе...» — а молодая француженка, не выдержав, звонко расхохоталась.

И вот, представьте, прошли годы, в том числе и те четыре, которые Лонгсдейл провел в тюрьме, Конон Трофимович уже дома, в квартире на площади Восстания, и приближается первый на воле Новый год, и жена решает устроить «великий сбор», приходит народ, и с ее лучшей подругой, как вы понимаете, Жора. Как ты? А как ты? Потом все садятся за стол провожать старый год, принесший в семью Молодыев такую радость: возвращение домой «блудного сына». Потом поднимается для тоста Жора и начинает с того, что сейчас расскажет забавную историю: был, мол, в трехдневной командировке в Англии, дело было лет пять назад, и вот в Лондоне пошел — куда ж еще! — на Бейкер-стрит, конечно, где жил знаменитый Шерлок Холмс, и там в каком-то маленьком магазине вдруг увидел, понимаешь, Конон, совершенно абсолютного твоего двойника, как в кошмарном сне, ну просто один к одному! Редчайший случай, товарищи! Даже «мушка» на правой щеке с такими же двумя (или тремя?) волосками! Я ему: Конон, черт тебя подери! А он мне: экскьюз ми, я вас, извините, не знаю... Так вот, мой тост в честь необъятных возможностей природы! За столом все внимательно и с интересом выслушали, поцокали языками, поудивлялись, одна Галя промолчала, потом выпили за природу и ее возможности, а Конон Трофимович вдруг спросил Жору: «Этот мой двойник был один?» «Нет,— сказал Жора,— с с какой-то цыпочкой, такой, знаешь, красивой девицей, а что?» «А если бы,— продолжил при полном внимании стола Конон Трофимович,— ты шел бы в Москве по улице Горького и вдруг увидел меня с незнакомой тебе женщиной, тоже заорал бы: «Конон!»?» «Нет, конечно»,— сказал Жора. «А ты такое отчудил в Лондоне, хотя считаешься воспитанным человеком!» Жора смутился, все засмеялись, одна Галя не улыбнулась. Жора, возможно, до сих пор не понимает, кто был в Лондоне «двойником» Молодыя, но сатисфакцию Конон Трофимович получил.

Ведущий:

Сюжет (продолжение). Ничего, что я вас задержал? Хочу сказать пару слов по секрету от вашего героя,— хотя какие могут быть от него секреты? — лучше выразиться: вам как бы для сведения. Дело в том, что так уж случилось в его жизни, что после обмена и возвращения домой Конон Трофимович был сначала допущен к преподавательской работе, которая, как вы можете догадываться, удел большинства скомпрометировавших себя за границей разведчиков, но чуть позже отстранен от нее и вообще от всех дел в нашем ведомстве. Нет, причиной был не провал, в котором Лонгсдейл не был повинен, а, по всей вероятности, он сам, как личность. Двенадцать лет, проведенных там, да еще в роли миллионера-промышленника, не могли, по-видимому, не отразиться на его характере, я уж не говорю об остроте мысли и языка Конона Трофимовича, в чем вы сами изволили убедиться, за что тоже приходится платить.

— Мне будет разрешено назвать в повести его подлинное имя?

— Этот вопрос решится несколько позже и на более высоком уровне, вы пока работайте.

Ему очень многие в Комитете симпатизируют, ценя его профессиональный и человеческий талант. Какое-то время его, как и Рудольфа Ивановича Абеля, мы возили на встречи с разными коллективами, я, например, даже был на двух таких встречах — в ЦК ВЛКСМ и на ЗИЛе. Потом и они прекратились, так что «пенсионный покой» Конона Трофимовича уже ничто не нарушало, он мог отдыхать, живя на даче и собирая, положим, грибы.

Почему так случилось? Вот пример. На автозаводе ему показали сначала производство — водили по службам и цехам, а потом пригласили в зал, битком набитый молодыми рабочими. Конечно, бурные аплодисменты — авансом. А он, откровенно сказать вам, буквально потрясенный хаосом и низкой производительностью труда (конец шестидесятых годов, чем еще ЗИЛ мог перед ним похвастать?), вышел на трибуну и прямо так и сказал: какой же у вас, дорогие товарищи, бардак на заводе! Я бы такое, извините за выражение, и дня не потерпел на моей фирме! Вот дайте мне ваш завод на один только год, я из него конфетку сделаю, наведу порядок и дисциплину, ну, разумеется, и рублем никого не обижу! Тут уж аплодисменты были не из вежливости, а по существу, честно им заработанные.

После этого случая тогдашний «Первый» сказал Конону Трофимовичу так: пора бы вам, коммунисту, избавляться от мелкособственнических замашек, а Конон возьми и перебей: почему «мелко»? «Крупно» собственнических! Мне, мол, нет нужды, как Леонидову, игравшему Отелло, настраиваться в антракте ревностью к Яго, чтобы потом получилось на сцене, как «взаправду»: я действительно ревную! Я, как истинный коммунист, хочу, чтобы наша промышленность и экономика... Но «Первый» такие речи не любил, а потому, прервав его, сказал: и все же надо вам, Конон Трофимович, обойтись без чуждой нам психологии! А он: чуждой? Меня всю жизнь, как зайца учат зажигать спички, учили делать так, чтобы моему народу жилось хорошо, и вот теперь, когда я спички зажигать научился и кое в чем стал разбираться, вы говорите: чуждая психология, надо от нее избавляться!

Конон Трофимович:

Провал. В случае опасности надо искать спасение в уходе, а для бегства необходимы документы. Теперь научились делать лучше настоящих: не придерешься. Но прежде... Мой коллега, который старше и опытнее меня, как-то рассказывал нам, молодым разведчикам, что, работая в начале тридцатых годов в Испании, он почувствовал опасность и решил срочно уходить. Ему сделали паспорт, он сел в автобус, и вот на границе с Францией — контроль. Таможенник-француз взял документ, посмотрел на штамп и вдруг говорит: у вас нет штампа на въезд из Франции в Испанию, как вы туда попали, интересно? Оказывается, все сделали, а этот дурацкий штампик впопыхах забыли! Тогда мой коллега собрался с мыслями и ответил с претензией в голосе: что вы меня спрашиваете, не я же ставлю штампы на въезд и выезд, а вы! Таможенник почесал затылок, вздохнул и поставил этот недостающий штамп. Проскочил.

Работа. Связь между группами, работающими в одной стране, дело не простое. Во время войны, например, четыреста англичан, составляющих семь групп, действовали на территории Франции, оккупированной немцами. К несчастью, они знали друг друга, и стоило группе Проспера влипнуть, как провалилась вся агентура. Но обычно так: в случае беды сам погибай, а коллегу не подставляй! Надумал бежать, то даже это следует делать без помощи коллег, и выходить с ними на связь, чтобы просить совета, агент не имеет ни морального, ни какого-либо другого права. А уж укрываться в своем посольстве — и глупо, и подло. Идут по пятам — уходи, но вход в посольство оставь нетронутым. Вы слышали скандальную историю одного разведчика, который до конца своих дней прожил в родном посольстве в столице чужого государства? Незавидная судьба.

Однажды. Иду в Лондоне по улице. Киоск, и на видном месте «Правда»: портрет руководителя на всю страницу в траурной рамке. Взял газету. Не удержался. Хотя это было грубейшим нарушением дисциплины; надеюсь, за давностью лет и в связи с добровольным признанием руководство меня ругать не будет. Зато в другой раз было иначе: дисциплина восторжествовала и, кажется, вопреки логике. Дело было так. Я выехал в Цюрих на встречу с курьером-связником. Ехал через Париж (там у меня тоже было маленькое дельце) и был рад, что хоть на три дня вырвался из Лондона. Чувствовал себя отвратительно. В Англии в период туманов многие так себя чувствуют: простужаются, чихают, кашляют, почему-то глотают таблетки рыбьего жира. Я вообще плохо привыкал к тяжелому лондонскому климату, годы проходили — так и не привык, и в этот раз чихал, температура была не меньше 38°, всю грудь заложило, ел антибиотики... Ладно.

И вот, наконец, шагаю вечером по Парижу где-то в районе бульвара Капуцинов и — дышу! Вижу — кинотеатр, на афише «Падение Берлина» (производство «Мосфильм»), тоска взяла: острое желание посмотреть,— но разве можно? Иду дальше в отель, и вдруг вижу: господи — Джони! Топает мимо кинотеатра, тоже поглядывает на афишу — мой связник, с которым завтра у меня в шестнадцать часов встреча в Цюрихе! Ну, мы, конечно, остановились: когда из дома? — Ты осунулся.— Небось, уже тает? — Весна! Что ж ты осенью в самые туманы будешь делать в этом Альбионе, так его эдак! — Перебьюсь. О моих ничего не слышал? — Вроде нормально.— Это видел? В главной роли Борис Андреев, который, помнишь, с Ваней Курским?.. Короче, сплошной «вечер вопросов и ответов». А закончили так: ну, завтра увидимся! И распрощались до Цюриха. Я подумал было, зачем этот формализм: ехать в Цюрих, брать в левую руку «Огонек», надевать синий галстук в белый горошек, если можно все сделать сейчас, как говорится, не отходя от кассы (кинотеатра), тем более: он знает меня, я знаю его, он специально едет ко мне из Москвы, я специально еду к нему из Лондона, и уж если случилось, что мы встретились в Париже, почему бы не так: я — ему контейнер с информацией, он — мне контейнер с инструкциями Центра, всего одно рукопожатие? Но нет, мы распрощались и разошлись: он — не знаю куда, я — в гостиницу, чтобы следующим утром выехать на встречу со связным в Цюрих: дисциплина!

Работа. Если моему агенту зачем-либо необходима экстренная встреча, он должен дать объявление в газете, заранее нами обусловленной, например, в «Дейли мейл». Это делается в Англии просто. Поднимаешь телефонную трубку и говоришь: будьте любезны, дайте в завтрашнем номере вашей газеты такое объявление: «Утерян щенок колли по кличке «Бальзам» с белым пятном на груди, нашедшего прошу звонить...» или «Куплю старинную коллекцию курительных трубок, предложения принимаются с такого-то по такое-то число по телефону...» Потом называешь редакционному работнику свой домашний адрес, а лучше сразу номер счета в банке, и редакция, напечатав объявление, высылает (правильнее сказать: выставляет) документ для оплаты. И все дела. А я, будучи резидентом, обязан регулярно просматривать «Дейли мейл», особенно отдел объявлений; собственно, с процедуры просмотра газеты начинается утро каждого англичанина, резидента — тем более. У меня нет «выходных» за границей, кроме официально положенных двух недель отпуска ежегодно. Перед отпуском я тоже через газету оповещаю своих помощников, что меня не будет, а то вдруг им экстренно понадобится встреча, а я в это время в Москве, и если они не предупреждены о моем отъезде, начнется волнение: почему не выхожу на связь?! Слабые духом, чего доброго, еще побегут «сдаваться», опережая арест. Поэтому

я даю объявление: «Сниму на две недели, начиная с такого-то числа, прогулочную яхту типа «Альбатрос»...» Когда по делам выезжаю на несколько дней из Лондона в Париж или, положим, в Брюссель, со мной «выезжает» и газета, в которой мы печатаем объявления. Это тоже нетрудно устроить: по тому же телефонному звонку в редакцию переводишь доставку газеты по любому адресу в любой город мира.

Провал. Был у меня в Лондоне знакомый художник-модернист, который, как он сам говорил, «марал холсты» и при этом очень бедствовал. Его истинным несчастьем были скверные зубы: просто не на что было лечить. И я однажды по простоте душевной сунул ему в карман пятнадцать фунтов (всего-то!), чтобы он пошел к стоматологу и вылечил особенно болевший зуб. Я сделал явное «не то»: поступил, как «простой советский человек», а этого допускать не следовало, потому что он не столько был мне благодарен, сколько удивлен — вот такие глаза! Если бы, предложив ему пятнадцать фунтов стерлингов, я взял с него расписку и еще проценты, он бы ничего не заподозрил, а тут спросил: ты действительно канадец?

Однажды. Мне дают явку в одном европейском городе, я приезжаю туда, ищу нужное кафе, сажусь за столик, за которым уже сидит связник, и говорю пароль: «Самсон не такой плохой писатель, вы не находите?» Он лупит на меня глаза, произносит ответ, затем передает то, во имя чего мы встречаемся, и уходит. Через год, увидев меня в Москве, говорит: ты хоть помнишь, какой пароль сказал в том городе, в кафе? При чем тут «Самсон»? Сименон, мать твою! Мы знали друг друга в лицо, это меня выручило, другой бы ни за что не передал мне контейнер. Кроме прочего, связник был порядочным человеком, не доложил об инциденте Центру, хотя обязан был это сделать; так я избежал хорошей головомойки.

Легенда. Незадолго перед провалом отец сотрудника моей фирмы придумал интересную конструкцию автомата против автомобильных и квартирных воров и предложил фирме. Я тут же купил у него конструкцию, но не о ней речь — о старике изобретателе. Он работал на военном заводе и был для своего сына хорошим источником секретной информации, а этого сына, давно мною завербованного, я держал клерком на фирме, откровенно сказать, только из-за папаши: бездарный был тип. Так вот, однажды мне стало известно, что старикан жил когда-то в Канаде. И он узнал, что я канадец. При встрече он как-то меня спрашивает: кто был твой отец в Канаде? Механик, отвечаю. Уж не в Ванкувере ли? В Ванкувере. И как его звали? Я мгновенно отвечаю: Тэд, но я не помню отца, ведь он и мама утонули, когда мне не было и года! И на моих глазах, как обычно, когда я рассказывал эту историю, выступили слезы. Старик говорит: Тэд Лонгсдейл? Погоди-ка, кажется, я его знал! Да, точно, знал твоего отца: Тэд — верно? Позже из-за склероза, наверное, он стал рассказывать окружающим, что знал не только моего отца, но и мою покойную матушку и даже помнит меня, годовалого: орал сильно. Добрый был старик и весьма полезный для моей легенды. Я говорю «был», потому что вскоре он умер, я пошел на его похороны, стоял в числе почетных гостей с котелком в руках и даже выступил на панихиде, причем сказал об умершем искренне, от всего сердца: он был первым и единственным человеком, который знал меня во младенчестве...

Однажды. В Лондоне, на улице, я нос к носу сталкиваюсь с директором моего института, а я был там членом парткома, мы часто ссорились, он вечно стукался об меня, как о камень. Кстати, узнал я директора в Лондоне, как и всех русских узнавал за границей, по заду, прошу простить за натурализм, но,

как говорится, из песни слова не выбросишь. Он, между прочим, видит, что я одет не как посольские работники, и, умница, отвернулся! Впрочем, может, ему просто противно было со мной разговаривать, если он вспомнил, как мы ругались: еще не хватает, мол, в Лондоне об этого типа (об меня, значит) стукаться! И так случилось, что буквально месяца через два встречаемся уже в Москве и вновь на улице, и опять нос к носу,— надо же! Я был в Москве в составе британской торговой делегации. Говорю директору: здравствуйте! Нет, не так говорю, а так: здра-а-а-а-вствуйте! И он мне в той же развязной тональности: здра-а-а-вствуйте! Ну-с, где работаем? Во Вьетнаме, отвечаю я, не моргнув глазом. Что-то слабо загорели, а там солнце. У меня, говорю, гипертония, загорать врачи не рекомендуют, я больше в тени. Оно и видно, говорит директор, ну-ну!

Автор:

Сюжет (окончание). Его ордена вопреки предсказанию не остались в сейфе у «Пятого», их несли на подушечках друзья и боевые товарищи Конона Трофимовича, хотя факт этот мало что меняет в печальной сути дела. На похоронах было много народа, гроб с телом выставили в фойе клуба Дзержинского. За несколько дней до смерти, словно чувствуя ее приближение, Конон сказал жене в минуту редкого для разведчика откровения: «Знаешь, Галя, если бы мне сейчас дали задание и документы, я, несмотря на все пережитое, опять поехал бы в какую-нибудь страну, но с моих пальцев, Галя, там уже взяли отпечатки...»

Он был долгом и сердцем прикован к делу, которому отдал сначала здоровье, а потом жизнь. Осталась память. И скромная могила на небольшом кладбище при Донском монастыре,— это для тех, кто вдруг захочет положить на серую плиту букет полевых цветов, которые так любил мой герой.

...Если вы читаете эти строки, значит, мне разрешили публиковать повесть о Кононе Трофимовиче Молодые, а если не читаете, значит, пока не разрешили: не пришло еще время. Но придет?

Москва. 1984.

Инна Лиснянская

КРУГ

С. Липкину

I

Над городом стеклянные туманы.
Окраина, застройка пустыря.
Пейзаж мне сон напоминает рваный —
Кусок пруда, осколок фонаря,
Отчетливее — башенные краны.
Здесь окна в сетках, видимо, не зря.
А в процедурной — дух стоит дурманный,
Смесь валерьяны и нашатыря.
Там движет Время часовая стрелка,
Как будто бы слепого поводырь, —
И в книжке записной трясется мелко
Густая телефонная цифирь, —
Ах, крестная, ищу твой номер дачный.
Он, как в Москве, такой же семизначный.

II

Как битое стекло, мерцает лед,
И жаль душе не то, что я отрину,
А то, чего душа не обретет.
Себе я перегрызла пуповину
Молочною десной, — ничтожный плод
Той лагерницы, верившей в доктрину,
Что лишь ее — зазря... Но кто-то в спину
Меня толкает, на меня орет
За книжку записную санитарка,
Ее глаза, как два свечных огарка:
Лет через семь, как кончилась война,
Лечили здесь ее от алкоголя,
И не ушла на волю — что ей воля?
Там ей велят, а здесь велит она.

III

Опять в свои ударив барабаны,
Судьба берет за шиворот меня,
Сует мне мыло — день сегодня банный,
Но ванна — это тоже западня.
Немеет рот, язык, как деревянный,
Едва воды касается ступня,
Я ледяные вспоминаю ванны
В подвале, где молчала я три дня:
«Ты видела, сознайся, одноклассник
Соскреб с портрета бритвою усы
В спортивном зале. Был ли соучастник?»
Но я молчала, тикали часы
За стенкой, и колечки перманента
Разламывались в ванне из цемента.

IV

Судьба меня за шиворот берет,
Бросает в ночь сорок второго года,
Перевернет всю душу этот год:
Стоит брезентом крытая подвода
У госпиталя, там, где черный ход.
Гружу я трупы за мензурку меда,
За черный с красным джемом бутерброд.
Мне лед мертвецкой руки ест, как сода.
Я — школьница, подросток, худоба, —
Впервые вижу я мужское тело,
Но мертвое. Опричница-судьба,
О как ты далеко вперед глядела, —
Как эта смерть, что здесь, во льду, лежит,
Передо мною обнажится быт.

V

Весь быт мой, умещенный в чемоданы,
Он, право же, не стоит ни гроша:
Подарок мужа — коврик домотканый,
Шубейка, туфли цвета камыша,
Тетрадь, кофейник, перстень пятигранный
И два из моря взятых голыша —
И ни крупиночки небесной манны.
Не к ней ли продирается душа
Сквозь кожу барабана и сквозь платье,
Залитое непраздничным вином?
Как хочется немного благодати,
Как хочется не помнить о былом!
И я средь ночи так беспечно плачу,
Как будто все еще переиначу.

VI

Из-под кровати под кровать бредет
Квадратик солнца, сквозь тугую сетку
Струится предвесенний небосвод,
На всем сегодня оставляет метку,
Рябые соты на стену кладет,
Пятнистый зайчик влез на табуретку,
И луч, увидев сонную соседку,
Перекрестил ее раскрытый рот
И тут же подошел ко мне вплотную,
По лбу погладил, как сестру родную,
И это милосердное родство
Меня как будто вынесло из склепа,
А я-то думала, что солнце слепо
И дарит свет, не видя ничего.

VII

Вокзалы... общежитья... балаганы...
И вот психушка — любопытный дом.
Пугающий, хотя и постоянный
Вопрос: «Вы переносите с трудом
Несправедливость, ханжество, обманы?»
Я не спешу с ответом. Дело в том,
Что правдолюбье (им больны смутьяны) —
Шизофрении явственный симптом.
И я молчу, как там три дня молчала,
А врач глядит с улыбкой, без вражды.
Что ж, мне и от улыбки полегчало,

А он себе в стакан налил воды, —
Предвидел ли, учась психиатрии,
Что предстоят ему дела такие?

VIII

Где дни одеты задом наперед,
Там балаган, там в недрах призеркальных
В толпу переодевшийся народ:
В личинах шелушащихся и сальных
Он водит повседневный хоровод,
Как бы не помня черт первоначальных,
Он за лицо личину выдает.
В метро и в переходах привокзальных,
Как лед, мерцает застоялый свет.
У выхода вдруг пячусь в глубь напора
Движения, но по толпе сосед
Меня вытаскивает: «Вот умора!»
Сейчас за столб фонарный ухвачусь —
Открытого пространства я боюсь.

IX

И вновь я там же, где была когда-то,
И крестная опять придет сюда:
По-детски простодушно-плутовата,
Подчеркнуто седа, но молода,
На тумбочку поставит три граната
И морс: «Ты можешь жить у нас всегда,
Хотя с людьми ты ладишь трудновато, —
С пеленок и ранима, и горда.
Но все, еще надеюсь, обомнется.
Боюсь я отрицательных эмоций,
Не обижайся, детка, я пошла».
Уйдет, а я вздохну: в трамвае давка,
Но вспомню: ждет ее машина главка
И ужин в доме чешского посла.

X

В железной сетке небо и палата,
А здесь простор, а здесь такой простор,
Что кажется — земля и та крылата,
Вот-вот перенесет через забор!
И поддевает снег моя лопата,
Как будто расчищаю я не двор,
А нашу жизнь. Но корочку заката
Уже клюют вороны, и надзор
В тупом лице запойной санитарки
Нас в корпус загоняет: «Кончен бал!»
И отсверкал свободы призрак яркий,
Час трудотерапии отсверкал.
О призрак мой, о вымысел мой нищий,
Стал чище двор, да жизнь не стала чище.

XI

Стучат часы за голою стеной,
Как стрелка, жизнь моя бежит, вращаясь
По замкнутому кругу предо мной:
Смутьянов избегала я, покаюсь,

Была я и неверною женой,
Любовницей смурной, но возвращаюсь
Я постоянно памятью больной
В мертвецкую, где жизни ужасаюсь
Впервые, где и трупы не равны:
Лед выдается сообразно званью,
Где до поры понятие вины
Открылось несозревшему сознанью.
А что такое первородный грех,
Я, кажется, узнала позже всех.

XII

И чудится: шагают пионеры,
Бьет барабан. Куда идет отряд?
Неужто в балаган, где костюмеры
Нас в павликов морозовых рядят?
Костры то ль в первобытности пещеры,
То ль в пионерском лагере горят.
И я была одной из дикарят,
Плясала вкруг костра, покуда серый,
Пещерный дым не выел мне глаза,
Но я не вдруг оттуда убежала,
И дымом замутненная слеза
Еще мне долго видеть свет мешала.
О детство, перестань, не барабань,
Дай мне вглядеться в утреннюю рань!

XIII

По тумбочке из крашеной фанеры
К стене поспешно движется паук,
Он озабочен, он исполнен веры,
Что паутина дело чистых рук,
Что муха есть разносчица холеры,
Ее он втянет в свой девятый круг,
А после съест, хваля ее размеры.
А вдруг ему и мыслить недосуг,
Работает и пищу добывает,
И это я, бездельница, сижу
И мыслю за него... Вовсю зевает
Соседка: «Ну и крик по этажу!
А вот паук — хорошая примета,
Бумажная, — не к выписке ли это?»

XIV

Я барабаню книжкой записной
По полочке стальной в прозрачной будке.
Как вышла из больничной проходной,
На воле я уже вторые сутки.
Где бытовать мне нынешней весной,
Куда звонить, кому под видом шутки
Признаться в бесприютности ночной?
Ну что мне стоит в здравом жить рассудке?
Попробую с людьми наладить связь!
И набираю номер я, смеясь,
Разъятый смехом рот — моя личина,
Мне совесть надоела, как нарыв!
Подходит к будке пожилой мужчина,
Газетою лицо полуприкрыв.

XV

Над городом стеклянные туманы,
Как битое стекло, мерцает лед.
Опять в свои ударив барабаны,
Судьба меня за шиворот берет.
Весь быт мой, умещенный в чемоданы,
Из-под кровати под кровать бредет —
Вокзалы, общежитья, балаганы,
Где дни одеты задом наперед...
И вновь я там же, где была когда-то,
В железной сетке небо и палата,
Стучат часы за голою стеной,
И чудится: шагают пионеры, —
По тумбочке из крашеной фанеры
Я барабаню книжкой записной.

1974

Предлагаемые вниманию читателя статьи профессора В. П. Эфроимсона и Е. А. Изюмовой, а также академика П. Л. Капицы объединяет не только тема — поиск, выбор, воспитание таланта, возможности и условия, этому способствующие. Справедливо отметить еще одну, объединяющую их особенность. Основные мысли, высказанные в статье «На что мы надеемся» в форме полемически заостренной, более обстоятельно аргументированы в книге Владимира Павловича Эфроимсона, написанной без малого двадцать лет назад и до сих пор не увидевшей света. (К сожалению, в судьбе одного из старейших генетиков, не только разностороннего ученого, но и яркого популяризатора науки, это случай не единственный.) В основу статьи Петра Леонидовича Капицы положен доклад, сделанный им на совещании в Совете Министров СССР в конце 1970 года. Актуальность публикаций не вызывает сомнений и сегодня, что, однако, свидетельствует не только о дальновидности зоркого научного взгляда, но и о той дорогой цене, которой мы, увы, должны расплачиваться за годы застоя. Вот почему, как отмечено на XIX Всесоюзной партконференции, «необходимо создать качественно новый отечественный научный потенциал, без чего невозможно в короткие сроки добиться прорывов в фундаментальных исследованиях и на этой основе успешно реализовать весь комплекс намеченных программ социально-экономического переустройства нашего общества».

Е. Изюмова, В. Эфроимсон

НА ЧТО МЫ НАДЕЕМСЯ

«В мире есть три типа людей. Первый тип — это люди. Их больше всего и, в сущности, они лучше всех».
К. Г. Честертон

«Отдайте ребенка на воспитание рабу — и у вас будет два раба».
Древнее изречение

— Можете ли вы ответить на вопрос, от чего больше зависит площадь прямоугольника — от длины или ширины, и в какой степени?

Этим шутливым вопросом в 1953 году канадский психофизиолог Д. Хебб попытался подвести черту в спорах о том, что важнее — наследственность человека или условия, в которых он растет.

Каким бы однозначным ни был ответ, и по сей день вопросы о степени влияния наследственности и среды, о «врожденном и приобретенном» волнуют педагогов и родителей не меньше, чем тридцать пять и даже сто лет назад.

Сейчас проблемы педагогики, проблемы воспитания широко обсуждаются везде и всеми, потому что нет незаинтересованных в их решении, потому что потребность в преобразованиях нашей школы, нашей педагогической науки, нашего подхода к воспитанию и образованию стала очевидной для всех. В связи с этим интересом споры разгораются с новой силой, и приходится еще и еще раз убеждаться в том, что простые истины (а тем более не очень простые) нелишне напоминать.

Если сравнить двух людей, выросших в сходных условиях, или однояйцевых близнецов (их наследственные задатки идентичны), воспитывавшихся в сходных или различных условиях, — то ответ на вопросы «Кто виноват?» или «Кого благодарить?» — природу или воспитание — найти не так уж и сложно.

Когда мы начинаем сравнивать, мы делаем первый шаг, чтобы понять. Генетика человека и психология уже многое знают о наследовании разных особенностей психики и интеллекта.

Если не касаться тех случаев, когда дети рождаются с грубыми нарушениями в психической сфере (к сожалению, случаи эти становятся все более и более многочисленными), или когда условия жизни ребенка с первых дней жизни сверхэкстремальны (всем памятны примеры не киплинговского, а реальных «маугли»),— тестирование и обследование семей позволяют судить о том, как, когда и в чем конкретно «сыграли свою роль» природа, наследственность и как, когда и каким образом — воспитание, среда.

Праздный ли это вопрос? Стоит ли об этом говорить со страниц «толстого» журнала? Или прав будет редактор, если, прочтя первую страницу, отложит рукопись и посоветует авторам обратиться в научно-популярное издание?

Андре Моруа шутил: «Люди так любят слушать, когда о них говорят, что даже пересуды по поводу их недостатков приводят их нередко в восторг». Мы не уверены, что можно прийти в восторг от наших недостатков в области педагогики, но поговорить о них, несомненно, нужно.

Каждый ребенок, рождающийся на свет, таит в себе нечто, чего никогда и нигде до его появления не было. Нет двух людей одинаковых, как нет двух одинаковых лиц. Про лица мы все давно знаем. Но генотип человека — это тоже «лицо», только проявляется это лицо в ходе развития человека. Неодинаковость генотипов, неодинаковость наследственных задатков и их комбинаций — это принципиальный факт, на котором основывается принцип неисчерпаемого наследственного разнообразия человечества.

Еще до появления ребенка на свет каждому хочется, чтобы он, этот будущий человек, был и лучше, и счастливее своих родителей. Многие чают сделать своих детей яркими личностями, выдающимися художниками, блестящими учеными, полиглотами, музыкантами... Сколько снов, сколько мечтаний и сколько... поражений и разочарований. Дети ленивы? Родители сделали не все, что могли? Или мы чего-то все-таки не знаем?

Как-то незамеченным остался тот факт, что сотни миллионов детей в XX веке получили условия, довольно благоприятные для развития,— во всяком случае, два века назад доступные только единицам. Многие десятки миллионов людей почти в обязательном порядке получили среднее образование, десятки миллионов — высшее. А число людей, достигших предельных высот, оставивших свой неизгладимый след в науке, искусстве, истории, мягко говоря, не очень-то возросло.

Ведь мы знаем, что за последние четыре-пять столетий наследственный фонд человечества не слишком изменился. В большой степени защитив себя от действия естественного отбора, человек затормозил, замедлил эволюцию своего вида.

Значит, с одной стороны, условия жизни улучшаются, а с другой стороны, наследственность практически не меняется. Почему же не вспыхивают хотя бы в десятки раз чаще, чем это было двести — триста лет назад, «звезды» на людском небосводе? Почему так редко, может быть, даже реже, чем раньше, рождаются «великие люди»?

Ответ на этот вопрос, по сути дела, очень прост. Во-первых, великие потому и велики, что они редки. Но не только поэтому. Еще и потому, что мы подходим к воспитанию и развитию ребенка по старинке, так же, как подходили к этим проблемам образованные и небедные люди сто, двести и триста лет назад. Мы воспитываем детей по меньшей мере не лучше, а в значительной степени хуже, чем люди, находившиеся в примерно сходных с нами условиях столетия назад. Александр Македонский был, несомненно, гениален, но учителем его был Аристотель. Кто из наших современников может похвастаться таким наставником?

Мы до сих пор воспитываем вслепую, прозревая только тогда, когда человек уже сложился, созрел. Тогда мы начинаем перевоспитывать, что еще труднее, но все равно вслепую.

Справедливости ради надо сказать, что в некоторых случаях мы все же умело пользуемся «дарами природы». Например, когда речь идет о шахматистах, спортсменах, музыкантах... Как пристально мы их выискиваем, как прицельно мы их растим, какие возможности «показать себя» мы им предоставляем и каких успехов они добиваются (и, наверное, успехи были бы еще выше, если бы даже в эти области не вторгались иные, далекие от спорта, музыки и шахмат интересы).

Что мешает таким же успехам в других сферах человеческой деятельности? Есть ли там резервы?

Несомненно, есть. Приведем один поучительный, на наш взгляд, пример мобилизации интеллектуального потенциала, интеллектуальных ресурсов. Это программа «Мерит», введенная в начале шестидесятых годов в Соединенных Штатах Америки. В те годы у американцев была популярна шутка: «Или мы срочно должны заняться физикой и математикой, или нам всем придется учить... русский язык». Америка была потрясена полетами первых русских спутников. Но американцы, видимо, не слишком стремились изучать русский язык и решили обойтись своими силами. Для того чтобы эти силы мобилизовать, в США в течение ряда лет отбирали из каждого старшего класса всех школ по четыре человека, наиболее перспективных. Ежегодно таких детей насчитывалось около 600 тысяч! Из этих 600 тысяч путем усложненных тестов отбирали около 35 тысяч детей с наилучшими показателями развития. Их обеспечивали стипендиями, субсидиями, принимали без экзаменов в лучшие колледжи, им создавали максимально благоприятные условия. Тесты выявляли вовсе не сумму знаний, а лишь умение думать, ориентироваться в задании, нетривиально оценивать ситуацию, быстро находить решения. Конечный результат — качественный скачок в технологии, во многих точных и естественных науках и, конечно, в освоении космоса.

В 1969 году американский психолог Дж. М. Сталнакер, подводя предварительные итоги программы «Мерит», писал: «Этих талантливых подростков уже в начале жизни нужно вводить в мир идей, книг, научных лабораторий, научить радостям учения. Если в старших классах им предоставляется преимущество, то их надо вести дорогой трудной интеллектуальной активности. Только это создаст им и мотивацию, и подготовку к соревнованию в старших классах. Из многих вещей, которым мы научились в ходе пятилетнего проведения программы «Мерит»,— самой важной является понимание того, *как мало нам известно о выявлении творческого таланта* и насколько менее еще мы знаем *о его надлежащем развитии*».

Вывод этот привел, в частности, к тому, что программы по изучению развития детей, по генетико-психологическим аспектам воспитания до сих пор остаются в США одними из наиболее устойчиво финансируемых. Хотя президент Р. Рейган и отказался от федеральной программы «Мерит», но, кажется, нет ни одного штата, правительство которого не взяло бы на себя заботу об одаренных детях. К тому же в Америке есть и другие федеральные и региональные программы, охватывающие и совсем маленьких ребятишек (до 2—3 лет), и «детсадовский» возраст (до 5—6 лет). То есть американцы «открыли глаза» и начали учиться: учиться учить, учиться воспитывать, учиться растить детей так, как это в принципе и подобает современному человеку.

Если говорить по существу, то перед программой «Мерит» вовсе не стояла задача «вырастить гениев», как часто с сарказмом и пренебрежением оценивают подобные программы. Задача была гораздо проще: найти то, что нужно, вернее,— тех, кто нужен. Главное — не пропустить, не прозевать, не потерять талант!

Д. Дидро высказал как-то и по сей день не устаревшую, на наш взгляд, мысль: «Гений падает с неба. И на один раз, когда он встречает ворота дворца,

приходится сто тысяч случаев, когда он падает мимо». Отвлечемся от слова «гений» (можно насчитать сотню определений гениальности и каждое из них не будет ни полным, ни абсолютным). И «простим» Дидро его веру в небеса — ни с какого неба гении не падают. Они рождаются, как и миллионы «просто людей», на земле. Только очень редко. Но вообще-то он прав. Хотя «дворец» применительно к нашему времени — это уже не только хорошие условия жизни, обеспеченность и «приличный» культурный фон. Дворец — это общественное здание, в котором уникальная совокупность способностей и свойств каждого конкретного ребенка найдет для себя те «живительные источники», которые только и смогут напоить, наполнить до краев его жаждущую душу, жаждущий ум.

Наука к концу XX века настолько преуспела в определении всего спектра способностей и особенностей человека, что в принципе остается «очень немного»: подвести, подтолкнуть ребенка к его и с т о ч н и к у. Какими они должны быть, эти источники, чем их нужно наполнить, как устроить пространство наших «дворцов», их, так сказать, интерьер,— это особые проблемы, вполне разрешимые при желании и наличии мастеров. Нужно всего лишь осознать значимость этих проблем, нужно всего лишь понять: не решив их, мы будем не только терять гениев. Мы будем оставаться в том же «каменном веке» педагогики, в котором находимся сейчас. И звезды на нашем небосводе будут вспыхивать все реже и реже.

Потенциальные возможности человеческого мозга неисчерпаемы. Так же неисчерпаемо многообразие комбинаций способностей. И это поистине бесценный дар природы. Это тот дар, тот резерв, который позволяет человечеству не страшиться будущего. Но этим даром мы распоряжаемся до дикости халатно и бездумно.

Как мы ужасаемся тому, что пропадают миллионы кубометров пресной воды, уходя в почву и превращая землю в соленые пустыни! Но кажется, никто еще не ужаснулся тому, как мы из года в год, из десятилетия в десятилетие безрассудно миримся с «утечкой мозгов». И вовсе не далеко они «утекают», не куда-нибудь «за границу» — это другая проблема. Они утекают, если можно так выразиться, в песок. В тот песок, который у нас под ногами, в песок повседневной жизни, в песок наших амбиций и предрассудков, в песок рутины, в песчаные пустыни нашей чудовищной безграмотности. Может быть, тем же песком запорошены наши глаза? Может быть, мы не видим беды? Не видим, что все реже и реже встречаются л и ц а? Или не хотим видеть? Или нам достаточно тех, кто смотрит со стен картинных галерей и музеев? Что происходит? Или действительно вырождение?

Прошлое неизбежно и закономерно сказывается в настоящем. Вероятно, не пришлось бы сейчас так настойчиво (и кто знает — с каким результатом) доказывать абсолютно тривиальный факт — то, что люди рождаются в разной мере наделенными разными способностями, если бы пятьдесят — шестьдесят лет назад в науку о наследственности человека — в генетику человека — не вмешались силы, столь же далекие от всякой науки, сколь и уверенные в своем праве решать ее судьбы.

Три маленьких исторических экскурса.

В 1919 году, став профессором Петроградского университета, замечательный ученый, первым начавший читать в России университетский курс генетики, создавший первую кафедру генетики и первую в стране Лабораторию генетики, Юрий Александрович Филипченко (1882—1930) основал в Петрограде Бюро по евгенике. Не надо пугаться слова. «Евгеника — теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения» (СЭС). Это потом, уже к концу тридцатых годов, оно стало ассоциироваться с чудовищными «мероприятиями» нацистов, да и не только их. Это потом, в 1939 году, собравшиеся со всего мира генетики создали свой знаменитый «Эдинбургский манифест», в котором говорилось: «Нельзя определять и сравнивать действительную ценность индивидов, если члены общества разделены на классы, крайне разнящиеся по своим привилегиям, если не созданы такие экономические и общественные условия, которые обеспечивают всем людям примерно равные возможности». И этот тезис всегда был основополагающим для всех настоящих ученых-евгеников. Евгеника, расцвет которой в России пришелся на 20—30-е годы, была не чем иным, как наукой о наследственности человека, разделом частной генетики, со своим предметом, методами, особенностями.

Ю. А. Филипченко в созданном им Бюро по евгенике решил выяснить, какими особенностями, в том числе биологическими, врожденными, отличаются крупные ученые, писатели, поэты. Нет, он не искал «ген гениальности». Он был настоящим исследователем и искал закономерности. Под руководством Ю. А. Филипченко Бюро провело необычайно важную работу — тщательное анкетирование 200 крупных деятелей науки и искусства. Собрав сотни анкет, генетики пытались выявить возможные закономерности в передаче наследственных задатков, наследуемой предрасположенности, позволявшей добиться выдающихся результатов. Сейчас нам известна лишь одна анкета — заполненная собственноручно А. А. Блоком. Филипченко уже в 1919 году чрезвычайно серьезно подходил к задаче: он ввел в вопросник даже раздел «наследственно-семейные заболевания». Если бы сейчас, 70 лет спустя, найти потомков людей, заполнявших анкеты, то это могло бы помочь нам многое понять в сложных проблемах, связанных с наследованием и реализацией интеллекта, дарований, способностей.

Но те данные, которые добыл Ю. А. Филипченко со своим Бюро, привели его к «тягчайшему преступлению». Указывая на огромную убыль (в результате войны, голода, эмиграции) среди ученых, писателей, интеллигенции, он требовал допускать в институты и университеты всех способных и деятельных людей, независимо от их классового происхождения. Это демократическое требование шло вразрез с подчеркнуто классовой системой приема в вузы. Системой, которая, может быть, и была оправдана «требованиями момента», но с которой не мог смириться ученый, уже хорошо представлявший себе ничем не заменимую ценность таланта, дарования.

Один пример: Полина Ильинична Левитина поступила на медицинский факультет Московского университета в 14,5 лет! И была исключена на втором курсе из-за непролетарского происхождения и из-за... молодости. И не одна Полина Ильинична. Можно насчитать сотни профессоров, десятки крупнейших ученых, даже ставших впоследствии академиками, но так и не получивших диплома о высшем образовании. Их «спасло» только то, что диплом в те годы не был единственным «пропуском» в науку.

Ю. А. Филипченко, восставший против разбазаривания интеллектуального потенциала страны, вызвал на себя шквал обвинений. Бюро по евгенике закрыли, но долго еще само упоминание о работе в нем рассматривали как позорное пятно. Ценнейшие материалы, собранные сотрудниками Филипченко, может быть, пропали, а может быть, хранятся в каких-то архивах. Копия с анкеты, заполненной А. Блоком, была прислана автору из Пушкинского Дома.

Юрий Александрович дожил лишь до 1930 года.

Второй сюжет. В 1932 году Соломон Григорьевич Левит (1894—1937) (мы напрасно искали его имя в справочнике «Биологи», выпущенном в 1984 году) получил от ЦК партии указание возглавить в Москве Медико-биологический институт. Основная цель С. Г. Левита — развивать исследования по генетике человека и медицинской генетике. Опять приходится делать отступление. Сейчас в Москве есть Институт медицинской генетики АМН СССР. Симптоматично, что института Генетики человека не существует. Как будто вся задача сводится лишь к поиску и изучению патологии. А кто должен заниматься нормой и тем, что выше нормы?

С. Г. Левит собрал вокруг себя коллектив первоклассных врачей и биологов. Его энтузиазм и глубокие знания позволили институту за пять лет стать одним из самых крупных в мире научных центров по генетике человека.

Демократичный, простой в обращении, обладавший огромным чувством юмора, С. Г. Левит создал в институте такую атмосферу «горения», что за пять лет было выпущено пять томов «Трудов» (вернее, четыре, пятый так и не увидел свет). По поводу работ, выполненных в Медико-биологическом (с 1935 года — Медико-генетическом) институте, научная пресса отзывалась в столь восторженных тонах, что даже сейчас, пятьдесят лет спустя, испытываешь гордость и боль: «Работы Медико-генетического института заставляют генетиков человека добавлять к большому арсеналу языков науки еще один — русский».

К 1937 году под наблюдением Левита было уже 1000 пар близнецов города Москвы. Лишь двадцать пять лет спустя такого охвата близнецов добились в Нью-Йорке. Но в 1937 году институт был ликвидирован. С. Г. Левит арестован и расстрелян. «Имей в виду, я хочу, чтобы ты знала: я ни в чем не виноват»,— сказал он дочери, уходя навсегда.

Английский генетик Пенроуз уже в шестидесятых годах сказал: «Если бы исследования Медико-генетического института продолжались дальше, то хромосомные болезни человека были бы открыты двадцатью годами раньше». А они были открыты только в 1959 году.

Третий сюжет. 1922 год. В Москве издается «Русский евгенический журнал», основанный крупнейшим отечественным биологом Николаем Константиновичем Кольцовым (1872—1940). Журнал посвящен главным образом генетике человека, но также и проблемам общей генетики, социологии, вопросам наследования, развития и реализации таланта, дарования, гениальности. Уже в 1933 году журнал закрывают. Ссылки на работы, опубликованные в нем, исчезают. Если «евгенический» — значит реакционный. «Евгеника — служанка фашизма».

Но в 1940 году член-корреспондент АН СССР Н. К. Кольцов, сыгравший громадную роль в развитии экспериментальной биологии, генетики, селекции и многих других областей естествознания, человек огромного благородства и личного обаяния, эрудит, блестящий педагог, кумир студентов и сотрудников созданного им еще в 1917 году Института экспериментальной биологии, «имел неосторожность» баллотироваться на выборах в «полные» академики. В центральной газете появилась разгромная статья. Нуждин, Дозорцева и Коштоянц обвинили Кольцова в приверженности буржуазной евгенике. Николай Константинович был со скандалом снят с поста директора института и вскоре умер от инфаркта.

Обвинять Н. К. Кольцова в реакционности и фашизме могли лишь люди, которые в лучшем случае никогда не читали ни одной его статьи. Кольцов был демократом до мозга костей и свои демократические взгляды отчетливо выражал во всех своих работах по генетике человека.

Исключительную ценность и по сей день имеет гениальная работа Николая Константиновича, название которой звучит несколько старомодно — «Родословные наших выдвиженцев» (1926 г.). В этой статье, по выражению самого Кольцова, он пытался «осветить загадку появления наших выдающихся современников-выдвиженцев» — Ф. И. Шаляпина, Максима Горького, Сергея Есенина, Леонида Леонова, одного из основоположников отечественной фармакологии Н. П. Кравкова. Основной тезис Кольцова предельно демократичен: талантливые, одаренные и гениальные люди рождались и рождаются во всех классах, во всех социальных слоях общества. Разительное доказательство могущества наследственности Николай Константинович дал на примере разветвленной династии Пушкиных-Толстых. И в этой же статье он провел глубокий анализ той роли, которую играют внешняя среда, условия жизни, воспитание и образование, позволяющие или препятствующие развитию генотипа в фенотип. Мы еще вернемся к этому анализу. Но прежде стоит сказать еще несколько слов об истории.

Именно в годы расцвета генетики человека в нашей стране в педагогике чрезвычайно широко начали применяться тесты. При помощи тестов выявляли склонности школьников, особенности их интеллекта, в больших масштабах вводили профессиональную ориентацию подростков. Но уже в 1933—1934 годах, а окончательно в 1936 году, после печального постановления «О педологических извращениях», в наше время уже почти забытого, тестирование было осуждено и практически запрещено.

Не очень осведомленной в тонкостях метода общественности тесты были представлены как антидемократичные, псевдонаучные и, безусловно, вредные. Ученых и педагогов, применявших тестирование, обвинили в попытке создать элиту, нарушить основной социальный принцип всеобщего равенства.

Пусть читатель простит нам такое предположение, но порою кажется, что тем «вождям научного фронта», которые сначала запретили тестирование (педологию), затем медицинскую генетику, а впоследствии генетику вообще, было известно высказывание Дидро: «Гении, вынужденные чувствовать и решать лишь по своему вкусу, по своему отвращению.., очень догадливые, мало предвидящие...— представляются мне более подходящими для опрокидывания старых или создания новых государств, чем для их поддержания; более подходящими для установления порядка, чем для следования ему». Если они эти слова знали, то им, конечно, было чего бояться.

Однако и до сих пор предубежденность и недоверие к тестам сохраняются в массовом обывательском сознании. Профессиональные претензии психологов к тестам мы здесь не затрагиваем. Давно настало время вместо извечного противопоставления психологов и генетиков выйти наконец на единую платформу, что было бы и лучше, и разумнее, и плодотворнее. Более пятидесяти лет прошло с того времени, когда происходили описанные нами события. Неужели и сейчас нужно доказывать, что за слепоту (или злой умысел) вождей расплачиваемся мы. За нашу слепоту, за нашу безответственность, за наши ошибки расплачиваются наши дети.

Высокий интеллект и творческие способности, прекрасная память и изобретательность часто связаны между собой, но вовсе не всегда совпадают. Есть два полярных типа личности: один — «конформный», стремящийся изучать и запоминать уже известное и все, из него непосредственно вытекающее; другой тип — «критичный», стремящийся к пересмотру общепринятого, к конструированию нового, необычного, неожиданного. Существуя в каждом человеке в разных пропорциях, оба эти типа несут в себе положительное начало. Второй тип личности более плодотворен. Современные тесты все больше и больше выявляют именно его.

Если творческое мышление не поощряется ни преподавателями, ни одноклассниками, ни коллегами, ни обществом в целом (как очень часто и бывает), то способности творчески одаренных личностей зачастую гаснут. Некоторым приходится их попросту скрывать.

Стремление к конформности, к удовлетворению жизненных потребностей превращает одаренного, талантливого, способного ребенка, кажущегося иногда даже гениальным, в среднего человека. С истинными гениями сложнее: они не поддаются, идут вперед, пробивают себе дорогу. Н. К. Кольцов в упомянутой нами статье, анализируя родословную Пушкиных-Толстых, писал: «Конечно, совсем иная картина обнаружилась бы, если бы эта исключительная по своей ценности семья развивалась бы в иной среде, например, если бы родоначальники ее были крепостными и вели тяжелую борьбу за материальное существование. При таких условиях поэтический талант ценился бы мало, для борьбы за жизнь требовались бы совсем иные способности — физическая сила, здоровье, приспособляемость. Большинство талантливых поэтов оказались бы плохими земледельцами; они не могли бы развить в полной мере своего поэтического таланта, может быть, остались бы неграмотными и, вероятно, не оставили бы имени потомству. Некоторые оказались бы типичными жизненными неудачниками, неприспособленными к окружающей их среде.

Гении, как А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой, конечно, выдвинулись бы и при таких условиях и проявили бы огромную мощь своего генотипа, но характер их деятельности и содержание их произведений были бы, конечно, совсем иными. И мы с удивлением спрашивали бы себя, откуда взялись эти гениальные «выдвиженцы-самородки». Однако истинные гении всегда единичны. Гений кажущийся не слышит призыв к наивысшему и следует «мирскими путями».

А мирские пути начинаются слишком рано, уже у колыбели. И родители, и воспитатели в детских садах, и педагоги тратят огромную часть своих усилий для того, чтобы вырастить «нормального ребенка», привести к «общему знаменателю» всех своих подопечных, достичь конформности, а следовательно (и это почти неизбежно), погасить чрезмерную любознательность, живость, нестандартность; превратить ребенка в существо непроказливое, ненадоедливое, поменьше спрашивающее, минимально неудобное, минимально любопытное, минимально инициативное, максимально инертное, максимально послушное.

И это вполне объяснимо, потому что ни в семье, перегруженной повседневными заботами, ни в детских учреждениях, ни в школе иначе нельзя управиться. Объяснимо, но непростительно. Поскольку почемучка постепенно превращается в существо, принимающее любые установления и факты такими, какие они есть, и теряющее всякий интерес к исследованию причинно-следственных связей, всякий интерес к творчеству.

«Мирские пути» превращаются в хитроумные лабиринты, в которых пропадает почти все мало-мальски оригинальное, когда наши дети переступают школьный порог. В школе есть отметка по поведению. Хотя, что было бы точнее, ее следует назвать оценкой «за послушание». Послушание, конформизм — это не только выполнение всего, что прикажут,— неважно, кто приказывает,— учитель, родитель, директор школы или кто-то другой, но сверху. Послушание и конформизм — это не дисциплина! Это прежде всего и самое главное — притупление, уничтожение самобытности, самостоятельности мышления, своего особого, нового взгляда на мир, на отношения между людьми.

Нас, к счастью, спасает только то, что врожденная «сопротивляемость» у всех детей разная и мы не в силах этого изменить, а следовательно, мы все-таки не можем всех «постричь под одну гребенку».

Но, господи, как радуют наших педагогов одинаковые костюмчики и бантики, одинаковые маечки и обложки тетрадей! Если бы еще и «внутрь» можно было забраться! Если бы еще подравнять и души, и сердца, и мысли! Равенство? Нет. В русском языке недаром есть два слова — «равный» и «ровный». И, как сказано в словаре, они «различаются значением». В этом стремлении к «равенству» — лишь боязнь хотя бы в маечках позволить «вольнодумство»!

Будет ли большим преувеличением сказать, что наши дети в наших школах являются в значительной степени объектами социального отбора на конформизм, на послушание?

Нельзя создать общество из одних только конформных людей — такое общество неизбежно остановилось бы в своем развитии и погибло. Но очень даже можно в течение долгого времени вести направленный социальный отбор, при котором «дальше, выше, быстрее» продвигаются наиболее конформные, наиболее послушные, наиболее удобные, наиболее управляемые люди.

Н. И. Бухарин в заключительной речи на VI Конгрессе Коминтерна привел слова из до сих пор не опубликованного письма В. И. Ленина, адресованного Г. Е. Зиновьеву и Н. И. Бухарину: «Если вы будете гнать всех не особенно послушных, но умных людей, и оставите у себя лишь послушных дураков, то партию вы загубите наверняка».

Пожалуй, есть еще один, и, вероятно, самый губительный вариант — послушные, но умные люди, способные к самостоятельному мышлению. Они могут стать конформистами лишь при дополнительной и чрезвычайно трудной нагрузке лицемерием. Значит, двуличие, двоемыслие, двоедушие, безнравственность, отсутствие совести.

Общество, в котором на протяжении нескольких поколений социального подъема, социального успеха достигают преимущественно конформисты, в результате оказывается уязвимым из-за нехватки человечности, нравственности, справедливости. В этом обществе господствуют лицемеры, приспособленцы, циники, эгоисты, хапуги и рвачи. А жизненными неудачниками нередко становятся поэты, которые уходят в истопники, философы, которые метут дворы, ученые, которые работают ночными сторожами. Они действительно не могут приспособиться к окружающей среде.

Однако, к счастью, люди не поддаются поголовному выравниванию даже при длительном, однонаправленном искусственном отборе. Что, кстати, лишний раз доказывает — приобретенные признаки все-таки не передаются по наследству, как бы нас в том Лысенко и К° ни убеждали.

Вернемся в школу. Документом, подытоживающим результат воспитания, служит характеристика, выдаваемая каждому выпускнику. И сколько ни объясняют, сколько ни уговаривают нас, что характеристика — «это реальное отражение реального положения», все равно можно с уверенностью сказать: чем незауряднее, чем оригинальнее, чем честнее и непосредственнее ребенок, тем «взрывоопаснее» его характеристика. Посудите сами: «...не выполняет Устава школы, не подчиняется требованиям педагогов» и даже, как было сказано в одной из характеристик, «не разделяет взглядов марксистско-ленинской философии». Помилуйте, многие ли учителя правильно и внятно могут изложить эти самые взгляды? Так ли уж идеален Устав школы и всегда ли можно и нужно подчиняться требованиям педагогов?

Но первая ступенька социального отбора пройдена, характеристика выдана. Хотя, если задуматься,— зачем она вообще нужна?

Видимо, традиция выдавать характеристику появилась как «сильнодействующее» средство в результате извращения в какой-то момент понимания сути того, для чего вообще нужна школа. Почему-то раньше самой весомой характеристикой был аттестат зрелости. И, кстати, получить его можно было, вообще никогда не посещая школы. Сдав экзамены экстерном... Разве мы так уж преувеличили, говоря об отборе на послушание, о воспитании конформистов, о стрижке под одну гребенку?

Не результаты ли этого отбора мы получаем сейчас, когда в конце восьмидесятых годов ставим очень серьезные вопросы: кто будет нас лечить? кто будет учить наших детей и внуков? Ведь хорошо известно, что послушание и конформность гораздо вернее открывают доступ и аспирантуре, к работе в лучших (скорее, престижных) институтах, чем много более напряженная и трудная работа по специальности. Вероятно, анкеты и характеристики тех, кого отбирают и оставляют на кафедрах педагогических, медицинских, да и других вузов, безупречны. Но только что они, эти анкеты и характеристики, отражают? Уровень конформности?

Что касается практики замещения руководящих постов трудолюбивыми, усердными, но бездарными или безнравственными конформистами, не допускающими, в свою очередь, ни к постам, ни к принятию принципиальных решений людей творческих, инициативных, талантливых, но «неуправляемых», то эта практика однозначно ведет к медленному, но верному экономическому и социальному спаду. Тут, однако, надо отдать должное тем работникам, которые проводят «селекцию»,— часто им и характеристика не нужна, «по глазам» видят, чуют этот самый «нонконформизм». И может быть, самое страшное, к чему такая практика приводит,— это неверие в социальную справедливость, в возможность достойной самореализации. Неверие, которое, в частности, порождается уже школой, но, в общем, не только школой.

В старой австрийской армии существовал орден Марии Терезии для награждения тех, кто добился успеха вопреки приказу. Даже в этой одряхлевшей империи нет-нет да понимали значение инициативы, неконформности.

Человеку предопределена природой наивысшая способность к обучаемости в юные годы. Предопределена в значительной степени нестандартность, способность к непредсказуемым решениям, способность видеть по-своему и по-своему решать, ошибаясь, набивая шишки, спотыкаясь, но неумолимо продвигаясь вперед. В эволюции нашего вида — Homo sapiens — самыми последними, формирующимися только у человека, появились речевые зоны мозга. Их так и называют — «истинно человеческие». Эти филогенетически юные зоны и в индивидуальном развитии каждого ребенка окончательно созревают самыми последними — только к семи — двенадцати годам. Условия, в которых проходит раннее детство, оказываются решающими в становлении интеллекта, в становлении личности. Примерно к девятилетнему возрасту интеллект человека сформирован уже на 90 процентов. Здание почти построено, остаются только «отделочные» работы. Но и отделочными работами можно обезобразить любое здание.

Среда продолжает оказывать глубокое воздействие на развитие интеллекта, на становление психики и в пятнадцать, и в восемнадцать лет. К двадцати годам любому человеку для дальнейшего совершенствования уже необходимо ощущать плоды своего труда. Само по себе осознание успеха в избранной сфере деятельности, сама по себе самостоятельная работа в этом возрасте «подстегивают», подталкивают к новым поискам, и более высоким целям, к преодолению новых и новых барьеров.

Медицина смогла намного снизить детскую смертность, смогла продлить человеческую жизнь. Но никакая медицина не может существенно продлить молодость, не может заставить «постареть» интеллектуальный возрастной пик. А он существует, он генетически предопределен. Подсчитано, что основная часть данных, легших в основу открытий, впоследствии удостоенных Нобелевской премии, была добыта двадцатипяти — тридцатилетними учеными. Это и есть возраст интеллектуального пика. И к этому возрасту, то есть к двадцати пяти годам, человек должен уже пройти серьезную школу самостоятельной работы, самостоятельной деятельности — ответственной, напряженной, важной, значимой, ожидаемой и поощряемой обществом. Мы должны хорошо представлять себе, что в молодости любая остановка, любая задержка, любое топтание на месте — это верная предпосылка к поражению в борьбе за реализацию наследственных задатков, за интеллектуальную, творческую отдачу. Весьма немногочисленные примеры, когда люди «находили себя» в зрелом и даже преклонном возрасте, доказывают лишь одно: генотип настолько мощен, что все-таки «пробился» сквозь все неблагоприятные наслоения, через броню, сковывавшую человека многие годы. Но такая мощь генотипов встречается исключительно редко, может быть, один раз на сотни тысяч, может быть, и того реже. Это уже сродни гениальности.

Не банально ли все это? Оказывается, нет! Сколько споров возникает, когда речь заходит о реальных судьбах все новых и новых поколений юношей и девушек (особенно тех — нестандартных, нетипичных, неконформных), которым пути к получению высшего образования перекрываются множеством барьеров.

Недостаточность знаний, получаемых в школе, и вместе с тем примитивные методы экзаменов, выявляющие лишь объем заученного. Неравноправие 16—17-летних выпускников школ по сравнению с теми, кто после школы уже работал на производстве или служил в армии. Все это ведет к тому, что в институты поступают люди, еще более конформные, чем семнадцатилетние юнцы, и, что самое главное,— уже перешагнувшие через наиболее благоприятный возраст, в котором и знания, и идеи наилегчайшим образом усваиваются и перерабатываются. То, что в армию берут со второго, третьего курса, существа дела не меняет.

Служба в армии — это особая проблема. Первые читатели этой статьи, еще рукописной, почти единодушно пришли к выводу, что об армии говорить нельзя. Но столь же единодушны они были в том, что говорить надо, необходимо.

Разве обороноспособность, сила страны требуют только военных знаний, навыков и умений? Почти любая профессия, любая специальность на войне тоже нужна. Научить стрелять из автомата можно быстро. Управляться с компьютером — за месяц, может быть, чуть больше. Умению лечить людей, создавать самолеты, танки и ракеты, строить заводы, мосты — не научить ни за год, ни за два. А делать это так, как никто раньше не делал, создавать принципиально новое, то есть творить,— научить вообще-то вряд ли можно.

Грустно, горестно, до отчаяния обидно, что и это почти всем ясно. Как и то, что обороноспособность великой страны в конце XX века вряд ли возрастает лишь оттого, что каждый мальчик умеет стрелять из автомата и ползать по-пластунски. Для чего же в таком случае призывать в армию всех без исключений юношей, достигших восемнадцати лет?

Пожалуй, единственное, что вполне удается при таком подходе к молодежи,— это воспитание достаточно дисциплинированных, достаточно конформных, достаточно нивелированных людей. Но может ли это быть важнее, чем сохранение и пестование неординарности, неконформности, в конце концов — уникальности? Кто подсчитает урон от потери юношеской самостоятельности, юношеской веры, юношеских порывов? Кто подсчитает цену, истинную цену этим «всего лишь» двум годам?

Конечно, не нам решать военные проблемы. Но это вовсе не означает, что и не нам думать о судьбе нашей страны.

Почему бы не обратиться к системе хорошей оплаты солдатской службы, больших льгот тому, кто решит посвятить свою жизнь профессиональному военному делу. Может быть, тогда среди нашей молодежи мы быстрее и, что очень важно, качественнее сможем отобрать именно тех, кто обладает «военным» талантом. У нас нет оснований сомневаться в том, что для многих юношей служба в армии, трудная, но в чем-то романтичная, станет истинным призванием. У нас нет оснований сомневаться в том, что армейская работа будет у значительной части молодежи всегда работой престижной. Конечно, при одном условии: если эта работа будет работой достойных людей в достойной обстановке.

Может быть, именно тогда прекратятся в армии грубость, «дедовщина», унижение?

А по поводу справедливости и равенства заметим, что когда говорят «все равны», очень часто под этим подразумевают «все одинаковы». То, что это абсурд, нетрудно понять. Но и понять — мало. Надо еще задуматься о действительно серьезной и важной проблеме, решить которую гораздо труднее, чем поставить всех в один строй: о том, как найти, следуя старой английской поговорке, «надлежащего человека на надлежащее место».

Наследственное разнообразие особенностей интеллекта и психики людей бесконечно велико. Поэтому в принципе бесконечно много способов оптимального развития людей. Не будем ставить перед педагогами утопическую, да и ненужную задачу — воспитывать каждого ребенка отдельно, изолированно от других. Это не только недостижимо — это было бы грубой ошибкой. Общение с другими людьми, со сверстниками, друзьями, единомышленниками, общение в процессе работы, учения необходимо. Воспитание, несомненно, должно быть индивидуально, должно быть направлено на конкретного человека. Индивидуально — это значит, что у каждого есть наставник, советчик, исповедник (да простят нам это слово) — доброжелательный, понимающий, хорошо знающий тебя, твои возможности, твои проблемы. Если мы говорим о том, кому учить, то это должен быть именно такой Учитель, такой Педагог. И значение настоящего педагога для общества, для страны невозможно переоценить.

Но для того, чтобы такие учителя появились, надо прежде всего научить самих учителей. Научить принимать детей такими, какие они есть. Принимать и любить. Научить тому, что науке в принципе уже хорошо известно,— научить распознавать в детях те различия, на которые и должно опираться воспи-

тание и обучение. Все мы по-разному воспринимаем окружающий нас мир, по-разному воспринимаем информацию: одним легче на слух, другим — нужно увидеть; у одних темп усвоения высок, у других — низок; у одних память требует строгих определений и «железной» логики, у других — ощущений, образов, ассоциаций, и т. д., и т. п. Эти отличия наследуются, и при обучении и воспитании ребенка их недопустимо игнорировать. Разные подходы к обучению должны основываться именно на этих различиях. Школа до сих пор имела только один подход — «средний», общий для всех.

Может ли даже очень талантливый, очень любящий детей педагог, имея перед собой сорок маленьких индивидуальностей, каждую со своей неповторимой избирательностью восприятий и ощущений, с особым психическим, эмоциональным миром, со своим уже полученным опытом жизни,— может ли этот педагог научить всех и одновременно тому, что требуется «по программе», «по плану»? Вообще-то научить можно практически каждого нормального ребенка, и всему. Но — по-разному. Всех сразу, всех сорок, всех одинаково в существующей «фронтальной системе обучения» — нельзя. Кто-то даже не успеет «включиться» в то, что происходит в классе, кто-то с первых же слов перестанет слушать — скучно, кто-то не сможет представить, а кто-то будет потрясен услышанным или увиденным настолько, что просто ничего больше не сможет ни услышать, ни увидеть.

Предлагают как панацею от всех бед — «разукрупнить» классы (слово-то какое!). Нет сомнений, уменьшить число детей, обучающихся в одном классе, очень нужно. Это настоятельная, первейшая необходимость. Но и этого мало — только механически разделить класс на равные части. Мы ведь живем в конце XX века. У нас есть психологи, есть десятки, сотни тестов, улавливающих тончайшие различия между людьми.

К тому же в ходе тестирования можно выявить и тех детей, для которых «отбывание», «времяпровождение» в классе нижней ступени не просто бесполезно, а убийственно. Нужно переводить их в следующие классы, нужно давать им самую большую нагрузку, на которую только они способны. В противном случае дети или начинают лениться, терять интерес к учебе, или приобретают «комплекс сверхполноценности». В психологических трудностях, на которые чаще всего ссылаются противники «перескакивания» через класс, должны помочь те же психологи. Это будет легко сделать, если в классе всего пятнадцать человек.

Усаживая всех детей одного «паспортного» возраста перед одним учителем, разговаривая с ними со всеми одинаково, требуя от них и давая им всем одно и то же,— мы обезличиваем каждого и наносим вред всем детям — иногда вред непоправимый.

Мы уже слышим оглушительные протесты «борцов за равноправие»: «Нельзя!», «Несправедливо!», опять же — «Все равны». Никто не спорит, должны быть равны — все. Но никогда все не будут одинаковы.

Как хочется ответить на эти очень «демократические», а по сути дела демагогические окрики: неправда. Можно и нужно подбирать детей в классы. Но только подбирать по уровню способностей, по пристрастиям и склонностям, а не по зарплате или месту работы родителей.

Сколько же лет еще надо это объяснять? Но ведь не понимают. Не доходит. Не слышат. Вернее, не слушают.

Ну почему они, эти борцы за равенство и справедливость, не требуют, чтобы все «на равных» учились в консерватории или на мехмате? Почему, загоняя всех детей в прокрустово ложе школы, никто не требует «по справедливости» от всех детей победы на математической олимпиаде или на конкурсе скрипачей? Почему все с этим «неравноправием» мирятся и живут спокойно? Привыкли? Или все-таки в глубине души понимают, что все равные «немножечко» все же неодинаковы? Почему же не могут не то, чтобы привыкнуть, а хотя бы осознать самую очевидную вещь: не только после окончания школы, не только при поступлении в вуз, но и при поступлении в школу, и при рождении все дети разные. Просто разные. От природы. И эту «разность», эти различия детей можно вполне объективно оценить без каких бы то ни было характеристик и анкет родителей.

Почему все градации должны быть только иерархичны? Почему, как только говоришь «разные», сразу слышат: «лучше — хуже»? Можно ли ответить на вопрос, кто лучше — Сократ или Пушкин? Почему все время строят и строят пирамиду, причем только одну?

Потому что рамки, мерки при возведении этой пирамиды строители как бы вправе сколачивать сами, исходя из своих предпочтений, своих сиюминутных понятий, своего разумения и предпочтения. Потому что только тогда эти строители как раз и получают (вернее, узурпируют) право на то, чтобы производить свой, искусственный, социальный отбор. Потому что это лукавое «для себя» и «про себя» признание неодинаковости на следующем витке глубокомысленных рассуждений совершенно естественным образом приводит к знакомому оруэлловскому: «Все животные равны, но некоторые равнее других».

В основание единственной пирамиды помещают «всех вообще» (равных= одинаковых), а дальше привычно, почти автоматически сужают собственными руками сколоченные рамки к вершине, на которой в конце концов также почти естественным образом водружают одного — но уж обязательно «гения всех времен и народов».

Не пора ли нам всем вернуться все-таки на грешную землю? К основанию, к сути. Не пора ли на этой земле увидеть каждого конкретного человека и, не отказывая ему в достоинстве и равенстве, понять, что этот человек, он тоже может быть вершиной какой-то пирамиды? И таких пирамид — множество. Вспомните марк-твеновскую притчу о сапожнике, в котором погиб самый гениальный, самый великий полководец из всех, когда-либо рождавшихся на земле! Вспомните, как часто ошибались в своих оценках учителя, не способные отказаться от стереотипа «одной пирамиды». В истории достаточно тому примеров. Почему же история оказывается для многих таким трудным предметом?

Примеры? Извольте.

Эдиссон «из-за полной бездарности» был исключен из школы.

Уинстон Черчилль был хронически предпоследним учеником в школе. Что, кстати сказать, не очень беспокоило его деда, говорившего, что «мальчики начинают хорошо работать только тогда, когда они ясно видят, в чем смогут отличиться». Вероятно, он был прав.

Безнадежным школьником был Альберт Швейцер!

Об «успехах» Эйнштейна в школе все наслышаны.

Юстус Либих — великий химик, открывший явление изомерии, должен был «по неспособности» оставить школу в четырнадцать лет, что не помешало ему в двадцать один год стать профессором в Гиссене.

Что, эти люди были действительно неспособны? Конечно. Без сомнения, они были неспособны учиться в не подходящих для них школах у не понимающих их учителей. Они были неспособны учиться так же, как все остальные. Потому что они очень отличались от всех остальных. Они были лишены свойства «одинаковости». Они были вершинами «других» пирамид.

Кроме вполне ощутимой практической пользы, признание изначальной неодинаковости может стать и становилось неоднократно тем фундаментом, на котором утверждается истинная социальная справедливость. Едва ли первый математик, первый ученик в классе сможет особенно эксплуатировать свою избранность, если рядом будет и первый шахматист, и первый изобретатель, и первый поэт. Не в этом ли и состоял легендарный «эффект лицея»? Эффект, который есть не что иное, как воспитание уважения к любой другой личности, признание за ней ее законного права завершить ту пирамиду, в которой ты сам — лишь на первой, начальной ступени. Не этот ли эффект заставляет поверить в себя, помогает искать и находить на бесконечной плоскости, в бесконечном множестве человеческих призваний свое, единственное?

Однако при любых условиях, какие бы силы мы ни прикладывали, ни эффект лицея, ни какой-либо другой хороший эффект недостижим, пока для каждого педагога не станет абсолютным правило: ни разу, ни одного ребенка, ни при каких обстоятельствах не оскорбить, не унизить, не срезать грубым окриком, бранным словом, уничижительным эпитетом. Мало кто из детей после подобного «педагогического воздействия» станет лучше учиться, скорее наоборот — это лишний раз докажет кому-то его неполноценность, посредственность. Но для многих это будет уроком совсем иного рода: уроком жестокости, уроком грубости, уроком несправедливости.

Образование — это ведь по сути придание образа человеческого. И одна из фундаментальных проблем воспитания и образования (кстати, по Луначарскому) — создание общечеловеческой шкалы ценностей. Той шкалы, которая может и должна стать единственной и абсолютной, перед которой все и равны, и одинаковы. Той шкалы ценностей, которая почти неудержимо восстанавливается из века в век, в каждой стране, после любых периодов зверств и кровопролитий.

Добиться того, чтобы у каждого человека эта общечеловеческая шкала стала мерилом и эталоном,— трудно, но возможно. Индивидуальные варианты ценностных шкал меняются иногда даже на противоположные. Стоит вспомнить Л. Н. Толстого, начавшего со шкалы «комильфо». Правда, это Толстой. А сколько подростков, сколько молодых и взрослых людей застревают пожизненно на шкалах приспособленчества, конформности, стяжательства, карьеризма, на какую бы ступень социальной пирамиды они ни взобрались...

Говоря о программе «Мерит», мы умышленно не стали затрагивать еще одной существенной ее стороны: ничего не сказали о том, в какие условия были поставлены после окончания колледжей участвовавшие в программе юноши и девушки. Умысел наш состоял в том, чтобы поговорить отдельно об очень важной проблеме воспитания и образования — о социальном спросе.

С чего началась программа «Мерит»? С того, что американцы остро ощутили потребность в большом количестве высокоодаренных профессионалов, способных решить вполне конкретную задачу — «догнать и перегнать» Советский Союз в области освоения космоса. Именно на поиски будущих физиков, математиков, инженеров, изобретателей, технологов она и была направлена. Возник социальный спрос. Были вложены большие средства для того, чтобы этот спрос удовлетворить. Заинтересованное общество внимательно следило за тем, чтобы выпускникам программы «Мерит» была открыта «зеленая улица» при продвижении в их самостоятельной деятельности. Общество позаботилось о том, чтобы не справлявшиеся с поставленной задачей технократы потеснились или вообще уступили свои места «меритократам». Этот процесс продолжался более тридцати лет в государственном масштабе. О результатах мы уже говорили.

Еще один пример, казалось бы, совсем иного рода. Афины. Эра Перикла. Время — после победы при Марафоне. Почти буквально «за одним столом» собираются и сам Перикл, и Анаксагор, Зенон, Сократ, Фидий, Софокл, Еврипид, Кимон, Фукидид. Что это? Вспышка рождаемости гениев? На протяжении полутора поколений в государстве, где свободных граждан не больше, чем населения в современном Ужгороде?

Или феноменальная «вспышка гениев» в Италии эпохи Возрождения. Или российский «серебряный век». Сходные примеры есть и в истории точных наук, и в изобретательстве, и в медицине, и в музыке. И в каждом случае ответ на недоуменный вопрос «почему?» будет один. И тоже простой: созвездия талантливых людей и даже гениев появлялись «там и тогда, где и когда» на них появлялся социальный спрос.

Мало родиться с удачным сочетанием способностей. Мало получить оптимальные или очень хорошие условия развития. Мало найти «свой путь». Нужно, чтобы общество было заинтересовано в том, чтобы ты прошел этот путь до предела возможностей. Нужно, чтобы общество нуждалось в тебе, в твоих талантах, в результате твоей деятельности. Отрицание обществом нужности и значимости того, что ты можешь и хочешь совершить, с лихвой перекрывает все оптимальные условия, все выгоды самого хорошего воспитания и образования. Правда, здесь надо оговориться. «Талант делает, что может. Гений — что должен». Социум «накладывает печати», социум их же снимает, и когда это происходит, возникает то «чудо», которое явлено и в Афинах, и в Италии, и в Петербурге.

Пушкин: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» Да, но это Пушкин — о себе. А скольких поэтов заставляют копать картошку или отжиматься на перекладине? «Ну и что,— говорят нам.— Надо же кому-то и картошку копать. Гении нам не нужны». Действительно, куда уж нам до гениев — нам бы научить всех писать грамотно. Очень, казалось бы, веская аргументация. Но ведь речь идет не о гениях только, и по существу — вовсе не о них. Бог с ними! Теряя, а вернее сказать, уничтожая и дарование, и талант, и просто мало-мальскую способность, мы теряем, по сути дела, и всех остальных. Получается, что каждый человек не очень-то и нужен.

А что нужно? Несколько сот спортсменов, несколько примадонн и несколько чемпионов мира по шахматам? Кто знает, что нужно? Что бы вы сказали о человеке, который кормит не всех своих детей, а лишь одного, например, самого длинноногого, для того, чтобы поразить всех одним, но очень сытым и очень длинноногим? Утрируем? Да. Все остальные дети, наверное, с голода не умрут, кто-то выживет. Но будут ли они «чтить отца своего»?

Современное развитое общество нуждается более чем в 40 тысячах профессий. Нелепо говорить, что каждая профессия — творческая. Но ведь совсем не каждый человек и может, и хочет творить, даже если он получит наиблагоприятнейшие условия развития. Мы ведь вовсе не все рвемся в горы или прыгаем на лыжах с трамплина. Большинство из нас все же предпочитает смотреть на это по телевизору, иногда даже с завистью. Но мало кого эта зависть заставляет хотя бы делать ежедневно гимнастику. Что же говорить о творчестве? Однако все люди, без исключения, хотят быть прежде всего людьми. Теми «просто людьми», которым, по словам Г. К. Честертона, «мы обязаны стульями, на которых сидим, одеждой, которую носим, домами, в которых живем; в конце концов, мы и сами относимся к этому типу — «просто людей».

Можно спорить, а можно и не спорить о том, творческая ли работа у водителя троллейбуса, например. Но то, что любая из 40 тысяч существующих профессий требует от человека какого-то особого склада и задатков, без которых дело, приносящее радость и удовлетворение одним, другим принесет лишь чувство ненужности и пустоты жизни,— это не должно вызывать споров. Короче говоря, если тех, кто делает мебель, шьет одежду, выращивает ту же картошку, тех самых «просто людей», без которых не было бы ни поэтов, ни мыслителей,— если их растить всех как «равных-одинаковых», то не будет у нас ни хорошей мебели, ни красивой одежды, ни даже картошки; и поэтов не будет, и мыслителей...

Все-таки давайте «кормить» наших детей! Кормить каждого той пищей, в которой он наиболее нуждается для роста и развития. И когда они вырастут, дадим им право и возможность реализовать себя. Мы в них нуждаемся, во всех.

Кстати, а почему нам так-таки и не нужны гении?

В последние годы все чаще приходится слышать о возросшей детской агрессивности, детской жестокости, о вандализме и о немотивированной преступности. Трудно судить о том, растет ли кривая детских правонарушений. У нас нет данных. Но в любом случае необходимо сказать о некоторых моментах, которые могут помочь в понимании антисоциального поведения детей и подростков.

Хорошо известно, что участие человека в созидательном процессе, воспитание в человеке творческого начала прежде всего пробуждают в нем стремление сохранить результаты творчества другого человека, а в итоге — бережное и почтительное отношение к созидательной деятельности человечества в целом. Творчество — это энергия, получившая конструктивное направление. Юношеская энергия, инициатива, смелость, самостоятельность, не найдя выхода, не получив возможности реализации, не так уж редко устремляются по разрушительному пути, по пути самоутверждения за счет других, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Казалось бы, как просто! Создадим в каждой школе десятки кружков, студий, мастерских — и решим проблему «трудных детей». Однако не получается, точнее — получается далеко не всегда.

И здесь опять приходится говорить о биологической стороне воспитания. У каждого ребенка в самом раннем детстве есть очень чувствительные стадии, на которых происходит избирательное восприятие и запоминание ощущений, впечатлений от внешнего мира. Такие мощные воздействия среды называются импрессингами. Импрессинги зачастую способны пожизненно определять склонности и предпочтения человека. Для каждого ребенка возраст, в котором он наиболее восприимчив к импрессингам,— свой, индивидуальный. Но то, что это ранний возраст,— несомненно.

Различные проявления антисоциальности, в частности детская и подростковая преступность, часто в основе своей имеют так называемую «этическую депривацию», или, попросту говоря, у детей, изголодавшихся по ласке, добру, теплу родительского дома, прежде всего лишенных материнской любви и заботы, довольно большой шанс получить неизгладимый дефект в эмоциональной, этической сфере, не говоря уже об интеллектуальной.

Поразительное впечатление производят биографии выдающихся людей. Посмотрите сотни биографий — и вам невольно бросится в глаза, что у тех, кто играл в истории и культуре созидательную роль, очень часто, почти всегда были хорошие заботливые матери (исключения есть, они известны, но они — именно исключения из правила). У «отрицательных» в семьях часто царили злоба и жестокость. И если мы говорили в категорическом тоне об этичности учителей, то оскорбления и унижения со стороны родителей, особенно на стадии импрессинга, запечатлеваются во сто крат сильнее, а результат во сто крат страшнее.

Значительная доля рецидивирующей насильственной преступности исходит из семей, где озлобленно относятся друг к другу и к ребенку. Жестокость и несправедливость, в особенности безнаказанная, преломляясь через мощно-избирательный аппарат детской восприимчивости, могут порождать стойкий эгоцентризм и антисоциальность. Что чаще всего и случается. Только в отдельных случаях результат может быть абсолютно обратным. И это будет тоже исключение.

Массовая, дикая, бесчеловечная преступность, бессовестность и жестокость, с которыми столкнулось человечество в XX веке, может, вероятно, частично объясниться и тем рационалистическим пренебрежением к «семейным условностям», которое начало развиваться в XIX веке. Частично же объяснение можно найти в том, что уголовные и политические гангстеры зачастую формировались и действовали в коррумпированной среде, в отрыве от нормальной семьи, или под воздействием семей, где нет этических и нравственных устоев.

Изверги были и раньше. Но их жестокость и бесчеловечность имела, как правило, «ограниченный радиус действия», лишь изредка принимая более широкие масштабы (Нерон, Калигула, Чингисхан, Тамерлан). В XX веке появление одного Гитлера, или Сталина, или им подобных приводило и может привести к глобальной катастрофе.

Раньше социологи подчеркивали, что большинство преступников — выходцы из семей малообеспеченных, с низким образовательным и культурным уровнем. Именно такие данные часто фигурируют как доказательство «социогенной» природы преступности: нужда, трущобы порождают преступления. На наш взгляд, очень важно предостеречь от такого примитивного понимания социогенности — только как следствие «нужды», «голода». Если двигательная сила преступления — голод, то этой силе мало кто может противиться. В таких случаях закон должен был бы обращаться скорее на виновников голода, а не на его жертвы.

Но если общество добилось изобилия или хотя бы отсутствия голода и острой нужды, то между социогенной причиной и преступлением почти неизбежно должен быть этап отрицательного импрессинга — формирования извращенных ценностных критериев. Это уже социогенность «второго порядка». И жертвами ее часто становятся дети не только в «бедных», но зачастую и во вполне обеспеченных семьях. Извращенная индивидуальная ценностная шкала — это совокупный результат воздействия прежде всего семьи, окружения и общества в целом.

Подводя итог, еще раз скажем, чего же мы ждем от грядущей революции в воспитании и образовании. На что мы надеемся.

Мы надеемся, что педагоги в конце концов поймут: каждый ребенок — единственный и неповторимый.

Мы надеемся, что они научатся искать, находить и развивать способности и задатки этого неповторимого ребенка.

Мы надеемся, что каждому ребенку можно будет помочь найти тот путь, ту профессию, которая наиболее отвечает его склонностям.

Мы надеемся, что любой ребенок, каким бы набором склонностей он ни обладал, сможет реализовать все лучшее, что в нем есть, сможет стать полезным миру, в котором он живет, осознать свою нужность, почувствовать свою незаменимость в этом мире.

Мы надеемся, что наши дети обретут наконец духовную свободу, обретут то, без чего нет Человека,— чувство собственного достоинства. И что обретение достоинства каждым человеком станет в конце концов главной задачей воспитания.

Человечество тысячелетия мечтало о социальной справедливости, о социализме — библейском, христианском, утопическом или научном. Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, ожидая, покуда вымрет поколение, рожденное в рабстве. В XX веке реальный социализм существует значительно больше сорока лет, но пока и он не принес духовной свободы. Разгадка этого парадокса лишь частью в том, чего мы долго не хотели понять. Мы не хотели понять, что дети с раннего возраста чутко улавливают разрыв между словами и действительностью, как губка впитывают впечатления, очень рано выводят свои заключения, видят несправедливость гораздо острее притерпевшегося взрослого. Очень часто неудачи в деле духовного освобождения людей объясняются извращением принципов социальной справедливости.

Для создания истинно справедливого общества требуется не столько изобилие (вернее, не только оно). Требуется поднять общественную и личную этику до уровня само собой разумеющегося достоинства, равенства и свободы.

П. Л. Капица

ВОСПИТАТЬ ТАЛАНТ

Неизменно при обсуждении вопроса о внедрении новой техники и достижений науки в народное хозяйство у нас обнаруживается, что, несмотря на то, что уровень нашей науки и техники высокий и задел достижений для освоения большой, но сам процесс внедрения новой техники и технологии у нас всегда идет туго, значительно медленнее, чем в капиталистических странах.

Хорошо известно, что США осваивают достижения науки более эффективно, чем любая из других капиталистических стран, что дает США глобальное экономическое и политическое влияние. Масштабы этого влияния подробно обсуждались в книге Серван-Шрейбера «Вызов Америки»[1]. В этой книге показано, что влияние Америки охватывает ключевые области современной передовой техники и начинает достигать таких масштабов, что в странах Общего рынка ставит под угрозу независимость их экономики. Серван-Шрейбер показывает, что это влияние объясняется не величиной капитала, который американцы вкладывают в Европу, но главным образом тем, что они владеют передовой техникой и технологией. Благодаря этому создаваемые в Европе американские предприятия приносят гораздо большую прибыль, чем и привлекают местный капитал. Статистика показала: чтобы контролировать какую-либо крупную отрасль промышленности в Европе, американцам достаточно вложить не более 10—15 процентов капитала, остальная часть поступает из местных ресурсов. Так, сейчас США контролируют во Франции предприятия с капиталом примерно в 20 миллиардов долларов, тогда как ими вложено не более 2 миллиардов. Это демонстрирует те громадные возможности влияния на глобальную экономику, которое связано с освоением новой техники, и показывает, как важно для нас достичь высокой эффективности в этой области.

Каким путем США так успешно и быстро осваивают новую технику не только по сравнению с нами, но и с другими капиталистическими странами? Этот вопрос менее изучен, и, для того чтобы найти его решение, надо проследить на конкретных примерах, как американцы осваивают новые достижения и чем это отличается от других стран.

При моем посещении Америки я имел возможность познакомиться с этим процессом в Белл Компани. Как известно, в США 80 процентов производственной мощности сосредоточено в небольшом числе крупных корпораций, как, например, Дженерал Моторс, Вестингауз, Дюпон, Истман-Кодак и др. Процесс освоения новой техники у них осуществляется специальными крупными научно-техническими отраслевыми лабораториями, конструкторскими бюро и опытными заводами.

Компания Белл контролирует 85 процентов телефонной сети в США, имеет более 700 000 служащих и рабочих, ее капитал —30 миллиардов долларов. В исследовательских лабораториях и на опытных заводах компании занято 20—25 тысяч человек, что составляет около 3 процентов от всего числа работающих. Когда я знакомился с работой этого учреждения, то они в основном были заняты

[1] J. J. Servan-Schreiber. «Le Défi Américain». Denoël. Paris. 1967.

новой телефонной аппаратурой, которая всецело работает на полупроводниках, что дает возможность производить вызов кнопочным набором. Световой сигнал сообщает, свободен или занят вызываемый абонент, произведенный набор запоминается, и аппарат автоматически присоединяется, когда вызванный номер освобождается. Внедрение такой новой телефонной системы в масштабе такой страны как США — очень крупная техно-экономическая задача, и для того, чтобы она вытеснила существующую систему, требуется весьма надежная и продуманная разработка новой аппаратуры. Задача разработки была рассчитана на три года. Я знакомился с тем, как разрабатывается система световой сигнализации. Сперва она проектировалась на неоновых лампочках, но потом перешли на светящиеся полупроводники. Это привело к необходимости изучения теории этого пока еще не полностью понятого физического процесса и к разработке техники роста специальных полупроводниковых кристаллов. Уровень этих работ был высок и представлял научный интерес, помимо решения технических задач. Удачное решение этой задачи — одной световой сигнализацией полупроводниками — давало в общей сложности экономию в десятки миллионов долларов. Далее, нужно отметить ту полноту, с которой разрабатывалась эта новая телефонная система. Перед тем, как ее передавать в производство, не только изучается технология всех производственных процессов, но также обеспечивается производство материальными ресурсами, патентное покрытие, способы рекламирования, даже упаковка и пр. Характерной чертой организации было, что на лаборатории, конструкторские бюро, опытный завод возлагаются все разработки, так что после передачи заводам им остается наладить только само производство, никаких других задач им не надо было решать. Такое четкое разделение процесса производства и процесса разработки новой техники весьма характерно при ее освоении крупными производственными корпорациями США, и, конечно, это является существенным фактором повышения эффективности процесса освоения. При мелкомасштабном производстве такое разделение навряд ли осуществимо. Надо отметить, что и администрация лаборатории и опытных заводов полностью независима от производства. Директора лаборатории опытного завода входят в коллегию, управляющую корпорацией, которая возглавляется главным менеджером, который имеет практически диктаторские полномочия. Принцип единоначалия менеджера при администрировании на всех ступенях характерен для всех промышленных организаций США.

Вот общие черты организации освоения новой техники в США, она не имеет особо оригинальных черт, мне ее приходилось встречать и в Европе, например, в компаниях Браун Бовери, Цейсс, Филлипс и др. По-видимому, подобная организация является необходимой, когда производственные корпорации достигают достаточно больших размеров. Тогда только таким путем они могут эффективно решать освоение больших новых технических достижений. Конечно, это связано с большими начальными капиталовложениями. Но совершенно ясно, например, что если компания Белл первая перейдет на полупроводниковую кнопочную телефонную аппаратуру, то не только в США, но и в Европе она захватит ключевые позиции в телефонной области техники и последующие доходы оправдают начальные затраты.

Но не эта мною здесь описанная организация обеспечивает США рекордную эффективность освоения новой техники. Ключ к достигнутым рекордным срокам освоения новой техники лежит в другом организационном принципе, специфичном пока только для американской промышленности.

Я наиболее четко почувствовал специфику этого американского организационного принципа после разговора с рядом организаторов американской промышленности, и в особенности с доктором Пиоре (E. R. Piore) — менеджером всех исследовательских лабораторий фирмы I. B. M. (International Bussines Machines). Это, как известно, самая крупная в мире компания, разрабатывающая автоматику и счетно-решающие устройства для управления промышленностью. Согласно книге Серван-Шрейбера, за четыре года эта компания истратила на освоение новой техники, в особенности интегральных схем, до пяти

миллиардов долларов. Это получается раза в три больше, чем вся наша Академия наук со всеми ее исследовательскими институтами. Из дальнейшего знакомства я понял, что основной успех в освоении новой техники лежит в системе, обеспечивающей исключительно квалифицированный подбор научно-технических кадров и обслуживающего персонала для научных лабораторий, конструкторских бюро и опытных заводов.

Проблема кадров ставится примерно так: процесс промышленного освоения новых достижений науки в технике связан с решением разнообразных задач, для которых требуется творческий подход, и жизненный опыт показывает, что они успешно могут быть решены только творчески одаренными людьми. Таким образом, оказывается, что способный инженер, конструктор, технолог, экономист, успешно работающий на производстве и в промышленности, совсем еще не является подходящим для творческой работы, связанной с освоением новых научно-технических задач.

Хорошо известно, что для того, чтобы сочинять симфоническую музыку, недостаточно быть хорошим музыкантом-исполнителем, недостаточно знать законы гармонии, но нужно еще обладать творческим музыкальным воображением. Так в любой отрасли, где создается или вносится в жизнь что-либо новое, необходимы творческие дарования. Человек, лишенный их, как бы он ни старался и усердствовал, какие бы условия для его работы ни создавались, не может вносить в жизнь «новое».

Это мы хорошо понимаем в области искусства, литературы, музыки, живописи, театра и пр. Мы хорошо осознаем, что для творческого развития искусства нужно тщательно отбирать и воспитывать артистов, актеров, писателей, поэтов и др. Далее, жизнь показывает, что творчески высоко одаренных людей мало; такие писатели, как Толстой, Пушкин, Чехов, считаются единицами. Но то, что для успешного развития и освоения новой техники от инженеров, конструкторов, экономистов, менеджеров тоже требуются такие же творческие способности, это оказалось не так очевидно. Это, по-видимому, объясняется тем, что в области искусства отбор творчески одаренных людей и их оценка производится широким слоем передовой интеллигенции и просто осуществляется тем, что книги плохих писателей не читаются, на плохие спектакли не ходят, плохие картины не смотрят. В области же развития новой техники и производства величину творческого таланта гораздо труднее выявить. Только когда, например, творческие способности менеджера в организации производства достигают масштабов Форда, Бати, Карнеги, Эдисона и др., то они становятся очевидными даже неспециалистам. Значимость для внедрения новой техники творческих способностей рядовых работников осознать оказалось куда труднее. Все значение отбора творческих работников при развитии новой техники первыми поняли американские предприниматели и сейчас стали его осуществлять в широком масштабе.

Успех развития новой техники в США по сравнению с другими странами несомненен и определяется теми организационными мероприятиями, которые обеспечивают привлечение к процессу освоения новой техники наиболее творчески способных людей в области науки, техники, конструирования, менеджмента и пр. Жизнь показала, что эти организационные мероприятия не так очевидны и непросто осуществимы. Основные трудности можно схематически описать так. Каждый год в США оканчивают высшие учебные заведения около миллиона молодых людей. Только 1—2 процента из них направляются в научно-прикладные лаборатории, опытные заводы, конструкторские бюро для работы в больших корпорациях над освоением новой техники и производства. Спрашивается, как отобрать из каждой сотни одного или двух наиболее творчески одаренных? Трудность здесь в том, что в США, как и всюду, высшее образование до сих пор строится в основном на передаче молодежи знаний и практического опыта, и при этом мало интересуются развитием у них творческих способностей. Таким образом, очень часто блестяще окончивший высшее учебное заведение молодой человек на практике оказывается неспособным разработать мало-мальски новую конструкцию или найти любое нестандартное решение. Так что даже блестящее окончание высшего образования не является критерием для отбора творчески одаренной молодежи. Поняв это, крупные промышленные корпорации начали создавать свою особую систему отбора творчески одаренной молодежи. Общий принцип, на котором она работает, заключается в следующем. В места, где находятся высшие учебные заведения, либо посылают, либо поселяют опытных и весьма квалифицированных инженеров, конструкторов, ученых, часто уже пенсионного возраста, которые по многолетнему опыту своей работы понимают характер и значимость творческой работы. Задача этих людей—отбирать кадры из оканчивающих молодых людей. Делают они это путем личного знакомства и бесед не только с самими оканчивающими, но и с их товарищами и учителями. Они часто вместе проводят время, обедают, ходят в театр. Также они знакомятся с экзаменационными и дипломными работами, так как в них как раз лучше всего проявляются творческие способности молодого человека. Вот на основании такого личного общения и знакомства, продолжающегося обычно не меньше года, эти эксперты и отбирают творчески одаренную молодежь для учреждений промышленной корпорации, занятых освоением новой техники. Как видно, эта система очень дорогая, так как штат экспертов для отбора многочислен и исключительно высокой квалификации, что в условиях США вызывает необходимость высокой оплаты.

Но практика многих лет ее применения в США показала, что она вполне себя оправдывает, вследствие чего эта система получила следующее дальнейшее развитие. Поскольку жизнь показала, что только творчески одаренный инженер, научный работник, конструктор может успешно развивать новую технику, не только не следует скупиться на средства при их отборе, но еще нужно захватить по возможности более широкий круг молодежи, из которой производить ее отбор. Поскольку творчески одаренных людей мало, то их следует отбирать не только у себя, но и в других странах. Благо для американцев, что ни англичане, ни немцы, ни итальянцы, ни другие не сообразили еще значимости отбора кадров в промышленность по творческим качествам человека, и это дает возможность американцам широко проводить за границей отбор творческой молодежи. Для этого в крупные университетские центры Англии, Германии, Италии и других стран посылаются эксперты, которые по уже описанной системе производят отбор творческой молодежи. Теперь эта система стала известна под названием «утечка мозгов» (Brain drain), и она приводит к тому, что в год до 5—7 тысяч наиболее творчески способной молодежи, к тому же воспитанной на чужие средства, переправляется на работу в США. Конечно, стоимость организации экспертизы и переправы молодежи в США требует еще больших средств, чем в самой Америке, но американские предприятия хорошо понимают, что затраченные здесь средства себя полностью оправдают и, главное, еще обеспечат ведущее положение для американской техники и промышленности в мировом масштабе. В Европе только сейчас начали понимать ошибочность недооценки значимости системы отбора творческих кадров, и сейчас начинается борьба с процессом утечки мозгов, но пока она еще мало успешная. Американские промышленные корпорации сейчас стали настолько богаче и крупнее европейских, что последние не в состоянии предлагать молодежи такие же благоприятные условия для творческой работы, как в США, и, естественно, молодежь идет туда.

Осуществляемая американской промышленностью система отбора из оканчивающих высшие учебные заведения творчески одаренной молодежи имеет еще ряд других поучительных черт. Мало отобрать молодежь, надо еще ее привлечь так, чтобы она согласилась идти работать в отраслевые институты, конструкторские бюро и опытные заводы промышленных корпораций. Один из главных стимулов — это, конечно, высокие заработки, которые могут быть в полтора-два раза выше, чем на производстве или в высших учебных заведениях. Но оказалось, что высокая зарплата и другие материальные блага, которые могут предоставить промышленные корпорации своей творческой элите, еще не обеспечивают привлечение молодежи для работы в отраслевых институтах. В особенности это относится к научным работникам, судьба которых решается не только зарплатой, но еще положением и участием в развитии науки в международном масштабе. Поэтому в от-

раслевых институтах пришлось создать условия для научной работы, аналогичные тем, которые существуют в академических институтах и в вузах.

Так, в лабораториях Белл Компани исследовательская работа не ограничивается решением прикладных вопросов, но значительное число работ ведется по базисным и теоретическим вопросам. Научным работникам обеспечивается публикация их работ, секретность практически отсутствует, права предприятия и его приоритет обеспечиваются патентованием. Научным работникам также обеспечивается участие в международных конгрессах и конференциях. Конечно, корпорации богаты и средств, отпускаемых на научную аппаратуру, в промышленных лабораториях обычно больше, чем в университетах. Наконец, молодежь обеспечивается высшим квалифицированным научным руководством, для этого по совместительству в качестве консультантов приглашаются крупные ученые. Так, например, меня знакомил с лабораториями Белл профессор университета в Пасадене Маттиас (B. T. Matthias), хорошо известный ученый, работающий в области физики твердого тела. Он примерно на одну неделю в месяц приезжает из Калифорнии в Нью-Йорк, близ которого находится лаборатория компании Белл. Конечно, фирма высоко оплачивает таких консультантов. Интересно, что, несмотря на все эти мероприятия, из беседы с молодежью я вынес впечатление, что они чувствуют себя более счастливыми и удовлетворенными работой в академических институтах. По-видимому, они там чувствуют себя свободнее в окружении интеллектуальной среды.

Наконец, надо отметить еще одну очень важную характерную черту организации творческой работы, свойственную американским промышленным и отраслевым лабораториям, заводам, конструкторским бюро и часто даже академическим институтам. Творческий работник нанимается по контракту на ограниченное число лет (обычно около пяти). Оклады персональные, через указанное число лет они либо могут быть изменены, либо контракт может быть не возобновлен. Поскольку за несколько лет работы можно полностью выявить ценность работника, эта система дает возможность избавиться от ошибок, сделанных при первоначальном отборе, а также обеспечивается для молодежи рост ее зарплаты. Я не имею данных, какая часть молодежи отсеивается путем прекращения контрактов, только из опубликованных данных известно, что из отобранных путем «утечки мозгов» из окончивших иностранные, а не американские высшие учебные заведения, примерно одна треть возвращается обратно к себе на родину.

Таким образом, основным фактором, обеспечивающим эффективность освоения новых научных достижений и развития передовой техники в США, являются исключительно тщательно подобранные творческие кадры. Творческими качествами должны обладать не только ученые, инженеры, конструкторы, менеджеры, но даже просто лаборанты и механики (наиболее высокой квалификации механики, способные делать рационализаторские предложения, в этих институтах и опытных заводах получают до 11 долларов в час, это в два-три раза больше средней заработной платы рабочего на производстве). Таким образом, в отраслевых лабораториях и опытных заводах создается творческая элита, и она живет в США в материально привилегированных условиях. В производственной корпорации она примерно составляет не более 2—3 процентов производственных работников и очевидно, устойчиво может существовать только как независимая организация. Это еще одна из веских причин, почему все учреждения в корпорациях, занятые освоением новой техники, должны существовать административно независимо от производственных.

Таким образом, успешное освоение новой техники и эффективное внедрение в жизнь достижений науки в США обеспечиваются следующими факторами:

1. Существованием специализированных исследовательских институтов, конструкторских бюро и опытных заводов, обслуживающих крупные корпорации.

2. Полной административной и финансовой независимостью этих учреждений от производственных предприятий.

3. Полное разделение процессов разработки новой техники от процесса производства.

4. Специальный, весьма квалифицированный штат для отбора в учреждения, осваивающие новую технику, творческих кадров. Система отбора, распространяющаяся на всех оканчивающих высшие учебные заведения как у себя в стране, так и в других странах.

5. Используя систему контрактации, производится отсев, который обеспечивает учреждения, осваивающие научно-технические достижения, только кадрами, имеющими выдающиеся творческие способности в области науки, техники, конструирования, менеджмента, экономики и пр.

Мне думается, что нам следует использовать опыт США, чтобы и в нашей социалистической системе хозяйства тоже обеспечить условия для эффективного освоения новой техники.

Первое, что надо сделать, это организовать в нашей промышленности крупные специализированные производственные корпорации, поскольку только при них можно создать крупные эффективно работающие отраслевые институты, конструкторские бюро и опытные заводы. Тенденция к созданию таких крупных промышленных корпораций у нас уже наблюдается, и, как правильно указал академик А. М. Румянцев, такая форма укрупнения специализированного производства необходима для его эффективности, вне зависимости, где это происходит, в капиталистическом или социалистическом хозяйстве. Конечно, следует содействовать этому процессу укрупнения, чтобы его ускорить.

Второе, это создание крупных независимых научно-технических центров, конструкторских бюро и опытных заводов. Это у нас также уже происходит, такими являются ГОИ, ЦАГИ, Институт Атомной энергии и др. Известно, что эти институты являются у нас наиболее эффективными и передовыми.

Третье. В промышленности следует полностью отделить процесс производства от процесса разработки новой техники. Сознание того, что это нужно, хотя еще и в недостаточной мере, но все же у нас тоже начинает чувствоваться.

Но главное, где мы отстаем от США, заключается в том, что мы недооцениваем то решающее значение для успешного развития новой техники, которое имеет создание кадров, способных к творческой работе. Такую же ошибку делают и другие промышленно хорошо развитые страны. Здесь у нас два крупных организационных недостатка.

Первое, это отсутствие квалифицированной системы для начального отбора из оканчивающей вузы творчески одаренной молодежи, так и в дальнейшем отсеивания неудачно отобранных работников.

Второе, даже при той малой эффективности, я бы сказал, попросту кустарной системе отбора кадров, она охватывает только небольшую часть нашей молодежи, оканчивающей высшие учебные заведения, и многие творчески одаренные молодые люди, в особенности в провинции, уходят на производство, где их ценный творческий талант не может проявиться и быть использован. У нас даже не ставится вопрос о возможности привлечения и использовании молодежи наших соседних социалистических стран. Конечно, создание крупных корпораций и научно-технических центров под силу только крупным индустриальным странам и только в них может широко и эффективно развиваться освоение новой техники. Привлечение творчески талантливой молодежи социалистических стран для работы в наших отраслевых институтах, конструкторских бюро и опытных заводах не отразится на промышленном развитии этих стран, но, наоборот, сблизит их техническую культуру с нашей и свяжет нашу интеллектуальную и культурную жизнь. <...>

Следовательно, основная организационная задача, которую необходимо решить — это выявить и отобрать нашу творчески одаренную молодежь во всесоюзном масштабе и привлечь ее к освоению новой техники и отстранить работников, неподходящих для этой работы.

США занимаются решением этой задачи уже много лет и дошли до современной организации, обеспечивающей им сейчас наиболее высокую эффективность освоения новой техники. Для улучшения освоения новой техники мы имеем перед Америкой два преимущества. Первое то, что США развивали свою систему

ощупью и спонтанно <...>, как это происходит почти со всеми экономическими проблемами при капитализме. Мы же можем подойти к ним планово, организованно и, если нужно, в государственном масштабе. Второе, мы не только имеем возможность для массовой организации отбора молодежи, но также можем организовать воспитание молодежи так, чтобы смолоду при ее обучении у нее развивалось творческое дарование.

Сейчас с отбором творчески одаренных кадров для наших научных и научно-технических институтов, конструкторских бюро и опытных заводов дело обстоит примерно так: по существу, никакой организации, кроме весьма кустарно работающей и бюрократически построенных отделов кадров, у нас нет, и если бы у творчески одаренной молодежи не было бы естественного стремления к научной работе, где ее природный талант может ярко проявиться, то положение с качеством кадров было бы еще хуже существующего. Сейчас наши академические институты обеспечиваются творческими кадрами благодаря естественному стремлению талантливой молодежи к знанию и науке, аналогичному тому, которое привело Михайло Ломоносова из Поморья к академическим высотам. Этот стихийный процесс отбора кадров возник у нас сам по себе уже давно, когда в России стала создаваться наука, т. е. при Петре I. Он и до сих пор обеспечивает нас лучшими творческими кадрами, преимущественно для развития чистой науки, и она находится у нас на достаточно высоком мировом уровне. Но того организованного отбора кадров в большом масштабе, который нужен для развития новой техники и который имеет место в США, у нас нет. Это становится особенно ясным, когда приходится знакомиться с уровнем работ по освоению научных достижений в наших отраслевых исследовательских институтах. Даже в наших более культурных министерствах, как среднее машиностроение, радио- и электронная промышленность, химическая промышленность и др. Их учреждения по освоению новой техники хотя и многолюдны, но творческий уровень их работ трудно назвать удовлетворительным, в лучшем случае им удается копировать зарубежные достижения, но при этом, часто не понимая их смысла, они вносят изменения, которые их портят. Правда, есть крупные отраслевые институты, работающие более удовлетворительно, как, например, ГОИ, ЦАГИ, Институт атомной энергии. Это, я думаю, объясняется тем, что традиция отбора кадров в них была заложена такими крупными людьми, как Рождественский в ГОИ, Жуковский и Чаплыгин в ЦАГИ, Курчатов в Институте атомной энергии.

Один из главных факторов, тормозящих у нас здоровое развитие и рост учреждений, ответственных за освоение новой техники,— это отсутствие отсева непригодных для творческой работы работников. Для руководителей таких учреждений необходимость такого отсева всегда была очевидна как у нас, так и за границей. Увольнение или перевод неподходящего сотрудника как у нас, так и за границей всегда был связан с затруднениями, так как трудно доказать творческую некомпетентность работника. В США, как я уже говорил, нашли способ преодолевать эту трудность посредством контрактов, связанных с предоставлением повышенных персональных окладов. Но при этом контракт заключается только на ограниченный срок. В капиталистических условиях эта система оказывается вполне эффективной. За последние годы мы тоже осознали необходимость отсева нетворческих работников и для этого пытаемся применять систему перевыборов через четыре-пять лет для всего более или менее ответственного научно-технического персонала. Такая система не только весьма громоздка, но, главное, она оказалась совсем неэффективной и, возможно, даже вредной. Практика показала, что научный совет, которому путем тайного голосования дается право отсеивать, на практике оказывается некомпетентным решать вопрос о творческой пригодности работника. Совет может в лучшем случае только оценивать этические, общественные качества и добросовестное отношение человека к работе. Опыт показывает, что даже в этих направлениях работник должен проявить себя крайне отрицательно, чтобы быть забаллотированным.

Возможность применить систему контрактов на ограниченный срок у нас пока еще не ставилась, хотя были высказывания, что якобы она противоречит нашим принципам трудоустройства. Таким образом, вопрос отбора и отсева творческих кадров у нас не только не решен, но даже нет ясности, на каких принципах и в каком направлении нужно искать его решение.

Развитие творческих дарований у молодежи желательно начинать с молодых лет. Интересно отметить, что в этом направлении мы делаем больше, чем другие страны. Во-первых, мы были первыми, которые в государственном масштабе стали организовывать научные и научно-технические олимпиады среди молодежи и использовать даже для этого радио и телевидение. Это является мощным средством привлечения молодежи к творческой деятельности. В США признают наш приоритет в этих мероприятиях, но теперь они тоже стали развивать научно-технические олимпиады для молодежи, придав им даже большую пышность, чем у нас. Так, в некоторых из них премии достигали нескольких тысяч долларов, давались стипендии в ведущие университеты, и их вручает в торжественной обстановке сам президент США.

Далее, у нас создано несколько высших учебных заведений типа Московского физико-технического института, которые имеют целью параллельно обучению воспитывать и развивать в научно-техническом направлении творческие способности молодежи. Это достигается непосредственным участием молодежи в научно-технической исследовательской работе в базовых исследовательских институтах. Но таких учебных институтов у нас еще мало, и охватывают они небольшую часть отраслей современной науки и техники. Но накопленный опыт и полученные результаты уже оцениваются весьма положительно. (См. Постановление Президиума Академии наук СССР от 28 мая 1970 г. по докладу директора Физтеха.) Такие институты, как Физико-технический, гораздо легче создавать в условиях социалистического хозяйства, чем капиталистического, так как у нас значительно проще и эффективнее можно согласовать работу учебных заведений и отраслевых институтов в промышленности.

Таким образом, оставляя в стороне вопросы реорганизации промышленности в крупные специализированные корпорации и организацию разделения производства и процесса освоения новой техники, который так или иначе будет у нас происходить, все же главный вопрос, который срочно необходимо начать разрешать, чтобы обеспечить рост нашей технической культуры,— это воспитание, отбор и отсев творческих кадров.

Это большая задача, трудоемкая и требующая тщательного изучения, которая может быть решена упорной работой и не сразу, а в продолжении ряда лет, но без ее эффективного решения мы не будем самостоятельно владеть самой передовой научно-технической культурой и не будем уметь ею широко пользоваться в народном хозяйстве и нам не опередить уровень техники капиталистических стран.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Значение создания специальных исследовательских институтов, опытных заводов и участия в них творчески крупных ученых и инженеров для успешного развития новой техники было осознано в США не сразу, но постепенно на опыте работы крупных корпораций. Этот процесс возник в начале этого века параллельно с формированием крупных промышленных корпораций. Как известно, одна из первых таких корпораций была Дженерал Электрик. Крупнейшую роль в развитии уровня ее технических достижений сыграли два выдающихся ученых-инженера И. Лангмюр и Карл Штейнмец. Первый из них не только создал современную газонаполненную полуваттную лампу накаливания, но и создал, и применил для практики ряд основных электровакуумных процессов.

Штейнмец создал теорию колебаний и связанных с ними переходящих процессов при развитии электротехники большой мощности, и вместе с Арнольдом (Швейцария) и М. Уокером (Англия) может рассматриваться, как основатель теории расчета современных электромоторов и генераторов. Как высоко ценило управление Дженерал Электрик научно-руководящую деятельность Штейнмеца, показательно из следующего эпизода, как-то рассказанного мне.

Карл Штейнмец (1865—1923), выходец из Польши, получил высшее образование в Германии и Швейцарии. В связи с участием в социалистическом движении эмигрировал в США, в 1895 году поступил к Дженерал Электрик (Скенектеди), где благодаря своим крупным способностям он быстро выдвинулся. Главным его талантом было умение применять математические выводы теоретической электродинамики к решению практических проблем электротехники. Это и сделало его с молодых лет идейным руководителем исследовательских и конструкторских работ в лабораториях Дженерал Электрик, которые впервые создавались при промышленной корпорации. Но Штейнмец обладал одним качеством, мало распространенным в США: его не интересовал личный заработок, и он считал, что безденежный коммунистический строй является идеальным для человеческого существования. Я не знаю, каким путем, но рассказывали, что в конечном счете материальная сторона его существования приняла следующую своеобразную форму. Он не получал определенной зарплаты, но все его счета и личные расходы оплачивались Дженерал Электрик. Говорили, что это было также возможно благодаря необычайной наружности Штейнмеца. Он был небольшого роста, широкоплеч, сутуловат, с большой головой, носил бороду, так что напоминал человекообразную обезьяну — орангутанга. К тому же неизменно у него во рту была сигара. Имея такую необыкновенную наружность, нет сомнения, что весь город его знал, так что, когда Штейнмец приходил в магазин и выбирал товар, то автоматически счет за покупки посылался не ему, а Дженерал Электрик. Такое безденежное состояние устраивало Штейнмеца и также устраивало и компанию, так как он имел скромные привычки и стоил им недорого. Когда в России произошла революция и под руководством Ленина началось строительство социализма, то Штейнмец очень сочувственно отнесся к социальным переменам и деятельности Ленина. В феврале 1922 года он пишет письмо Ленину с выражением своего доброго отношения и готовности оказывать помощь в вопросах технического развития нового социалистического строя. <...> Ленин отвечает ему[1] с благодарностью и говорит о тех трудностях которые встречаются на пути осуществления этой помощи при отсутствии признания США Советского строя. Эта переписка была тогда же опубликована в «Правде». Я привожу этот случай для характеристики Штейнмеца, так как такой обмен письмами с Лениным в условиях наиболее интенсивной политической борьбы, происходившей при формировании первого социалистического государства, требовал от Штейнмеца большого гражданского мужества. Но в данном случае нас интересует тот необычный случай, который произошел между Штейнмецом и дирекцией Дженерал Электрик. Рассказывают, что как-то в начале этого века Штейнмец пришел к главному менеджеру Дженерал Электрик и сказал ему, что работа консультанта не полностью его удовлетворяет, ему хочется учить и работать с молодежью и поэтому он собирается принять предложение, сделанное ему одним из ведущих университетов,— заведовать кафедрой электротехники и читать лекции. Таким образом, он покидает Дженерал Электрик и переезжает в другой город. Компания Дженерал Электрик, конечно, совсем не хотела потерять Штейнмеца, но основным затруднением было то, что никакие материальные блага не могли повлиять на его решение. Говорят, что было созвано экстренное собрание правления Дженерал Электрик и Штейнмецу было сделано следующее предложение: компания Дженерал Электрик на свои средства строит в городе университетский колледж для инженерных наук, обеспечивает его средствами и предлагает Штейнмецу любую кафедру. Говорят, что это стоило компании Дженерал Электрик несколько миллионов долларов, но они сохранили Штейнмеца. С 1902 года он занимал кафедру в этом колледже. Конечно, впоследствии университет воспитал для компании дельных инженеров, конструкторов и исследователей. Но все же обычно в США университеты строят на средства общественных организаций или меценатов.

Другой случай, происшедший в начале этого столетия и также демонстрирующий заинтересованность промышленной компании в работающих у них ученых, который мне рассказывали, также поучителен. Это касается компании Истмен-Кодак, тогда уже крупнейшей компании по фотоаппаратуре и фотоматериалам. Известно, что руководителями исследовательских работ у Истмен-Кодак по созданию светочувствительных фотоматериалов были двое ученых-химиков — Миэис и С. Е. Шеппард. Интересен для нас тот путь, которым Шеппард попал на работу в исследовательскую лабораторию этой компании. Шеппард — англичанин и работал в какой-то лаборатории небольшого фотозавода в Лондоне. Своими работами по изучению природы чувствительности фотослоев пластинки он заслужил большую известность. Он первым показал, что фотопластинки, специально приготовленные на совершенно чистом желатине, обладают низкой чувствительностью, но в обычных условиях достаточно ничтожных примесей сернистого серебра, случайно находящихся в желатине, чтобы колоссально повысилась их чувствительность. Количественное непостоянство присутствия этих примесей в желатине фотослоя и объясняет трудность получения фотоматериалов с постоянными стандартными показателями чувствительности. Это крупнейшее открытие сразу выдвинуло Шеппарда в первые ряды фотохимиков. Компания Кодак предложила ему переехать в США, конечно, при этом обеспечивая его как личным высоким окладом, а также и богатыми условиями для его работы. Но Шеппард был доволен теми скромными условиями, в которых он спокойно работал, и высокий личный оклад его тоже не привлекал. Он категорически отказался от предложения Компании Кодак. Тогда Компания Кодак выбрала другой путь. Она скупила на бирже все акции предприятия, в котором работал Шеппард, и, таким образом став его владельцем, попросту закрыла лабораторию, в которой он работал. Шеппарду ничего не оставалось делать, как принять предложение и переехать в США.

Обе эти истории, конечно, имеют нечто общее в своем содержании — это понимание предприятиями значения роли руководящих творческих работников в развитии современной техники. Для того, чтобы привлечь таких способных людей, предприятия готовы идти на большие затраты. Прибыль, которую они могут дать, конечно, не поддается количественному подсчету.

Обе эти истории были мне рассказаны в различное время различными людьми, я их не проверял, и очень возможно, что в деталях они и не точны, но общий характер взаимоотношений в США между промышленностью и учеными, который я наблюдал, они передают достаточно ярко, и поэтому они поучительны.

Публикация П. Е. Рубинина.

20/I—71
Кисловодск

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 147—148.

Критика

Л. Лазарев

ДУХ СВОБОДЫ

На наших глазах духовная жизнь общества изменяется самым серьезным образом. И происходит это так стремительно, что, казалось бы, дух должно захватывать, но, подстегиваемые нетерпением — вперед, дальше, еще быстрее,— мы утрачиваем ощущение скорости перемен. Даже та правда, которая была под семью замками, вышла ныне на волю и стала нашей повседневной собеседницей. Ее вынуждены слушать и те, кому она явно не по душе, кто долгие годы затыкал ей рот. То, что еще совсем недавно казалось на сцене, на экране, на печатных страницах почти немыслимым, возможным где-то в неопределенно далеком будущем — «мы-то наверняка не доживем»,—становится повседневной реальностью, не вызывающей особо бурных чувств и радостного умиления — к хорошему привыкают быстро и легко. И только оглянувшись назад, что время от времени не худо делать, чтобы проверять, далеко ли мы ушли от «ледникового периода», осознаешь, какие глубокие сдвиги в нашей жизни и в нашем сознании произошли, происходят, какие шоры мы сбрасываем, какие мощные, по сталинскому проекту создававшиеся механизмы подавления живой, свободной мысли демонтируем...

Рукопись романа «Жизнь и судьба» у Василия Гроссмана была изъята. Пришли с ордером на обыск и забрали все до последнего листочка — сейчас трудно поверить, что было это в 1961 году, уже после XX съезда партии, накануне XXII. Но вспомним, что незадолго до этого была проведена устрашающая кампания травли Бориса Пастернака, завершившаяся исключением его из Союза писателей. Конечно, и тихая расправа над романом Гроссмана, и громогласное шельмование Пастернака были чрезвычайными происшествиями, но они, как и множество других менее драматических, менее зловещих событий, свидетельствовали, что сталинская культурная (или культурная — можно и так сказать) политика не изжита, не преодолена, от нее не отказались на верхних этажах государственной и партийной власти, она попрежнему поддерживается руководством Союза писателей.

Василию Гроссману доставалось не в первый раз, ему уже пришлось пережить две кампании: вскоре после войны, в 1945 году, была осуждена как идейно порочная его пьеса «Если верить пифагорейцам», в 1952 году организован разгром в печати романа «За правое дело». Били его тогда нещадно, в кровь. На сей раз — за вещь еще не напечатанную — его уже не били, а убивали.

С романом «Жизнь и судьба» было так — это из письма Василия Гроссмана Хрущеву, посланного после XXII съезда партии: «Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору, казалось, не было и тени надежды на публикацию книги. И все же писал ее.

Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенность. Ведь мысли писателя, его чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды.

Я предполагал, отдавая рукопись в редакцию, что между автором и редактором возникнут споры, что редактор потребует сокращения некоторых страниц, может быть, глав.

Редактор журнала Кожевников, а также руководители Союза писателей Марков, Сартаков, Щипачев, прочитавшие рукопись, сказали мне, что книгу печатать нельзя, вредно. Но при этом они не обвиняли книгу в несправедливости. Один из товарищей сказал: «Все это было или могло быть, подобные изображенным люди были или могли быть». Другой сказал: «Однако напечатать книгу можно будет через 250 лет».

«Я убежден,— заканчивал письмо Гроссман,— что самые суровые и непримиримые прокуроры моей книги должны во многом изменить свою точку зрения на нее, должны признать ошибочными ряд кардинальных обвинений, высказанных ими в адрес моей рукописи год — полтора назад — до XXII съезда.

Я прошу вернуть свободу моей книге и прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета государственной безопасности.

Нет смысла, нет правды в нынешнем положении — в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме,— ведь я ее

написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работу над этой книгой. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге».

Несколько месяцев на письмо — на такое письмо! — не было ответа, затем 23 июля 1962 года Гроссмана принял Суслов (в архиве сохранилась запись беседы, сделанная писателем в тот же день). Суслов был одной из самых мрачных фигур послесталинского руководства, в немалой степени ему мы обязаны тем, что намеченные на XX и XXII съездах партии перемены затем во многом свелись на нет и на годы, ныне именуемые «застойными», в идеологии, науке, культуре воцарилась удушающая атмосфера. Те суровые и непримиримые прокуроры романа, которых поминает в своем письме Гроссман, ориентировались прежде всего на Суслова, он определял, что можно и что нельзя, когда и как закручивать гайки.

В беседе с Гроссманом Суслов не счел нужным скрывать, что «Жизнь и судьбу» не читал, ему совершенно достаточно отзывов его сотрудников и заказанных ими внутренних рецензий, в них, сказал он, много цитат из романа. Суслов заявил писателю, что полностью разделяет точку зрения рецензентов, считающих, что книгу печатать нельзя, потому что она политически враждебна и может принести вред несравнимо больший, чем «Доктор Живаго» Пастернака. И еще Суслов снисходительно разъяснил автору, что роман ему не удался из-за самоизоляции, погружения в личные переживания, чрезмерного, нездорового интереса к темным сторонам периода культа личности.

Приговор роману Гроссмана был вынесен окончательный и не подлежавший обжалованию — больше обращаться было не к кому, надеяться не на что. А после смещения Хрущева, когда под руководством Суслова стала активно проводиться тихая, но неуклонная реанимация сталинщины, вполне могло казаться, что срок обезвреживания, «деактивации» романа «Жизнь и судьба», определенный руководящими собратьями по перу — двести пятьдесят лет, — может быть, и не особенно преувеличен.

И не будем нынче очень уж торжествовать оттого, что прошло не четверть тысячелетия, а всего лишь четверть века. Иронизировать тоже не тянет — все эти годы было не до смеха, двадцать пять лет — так долго, что не только автор, но и многие тысячи читателей не дождались публикации «Жизни и судьбы». И до самого последнего времени, пока не стал, наконец, печататься роман Гроссмана, чудовищная история ареста его рукописи все еще не воспринималась как «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».

Для этого были основания. Уже в наше — перестроечное — время один из руководителей культуры в интервью иностранным журналистам, отвечая на вопрос, будет ли в Советском Союзе опубликована «Жизнь и судьба», заявил, что романа Гроссмана «Жизнь и судьба» не читал, тем не менее понимает, что кроется за интересом к этой книге на Западе. Этот автор вряд ли вправе быть судьей своей Родины, где он чувствовал себя чужим.

Оказывается, не только двадцать пять лет назад, как сделал Суслов, можно было вынести смертный приговор книге, даже не утруждая себя ее чтением. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что Суслов все-таки знал, с кем он разговаривал, наверняка слышал о других вещах Гроссмана — «Степане Кольчугине», повести «Народ бессмертен», романе «За правое дело», а, может быть, даже и читал их. Современный же деятель культуры не имел ни малейшего понятия не только о романе «Жизнь и судьба», но и о его авторе—иначе, думаю, не посмел бы сказать то, что сказал. Да и зачем ему было знать, кто такой Гроссман, что он писал. Методология эпохи «троек», «особых совещаний» еще сохраняла для него свою силу, ею он привычно руководствовался. Достаточно было того, что за «бугром» издали роман,— значит, автора надо заклеймить, опорочить. Правда, может быть, он и не очень виноват, что не читал Гроссмана,— после 1967 года не было у нас издано ни одного произведения писателя, выросло не одно поколение читателей, не державших в руках его книг, даже не слышавших этого имени,—на протяжении ряда лет его вообще было запрещено упоминать в печати, оно выстригалось из критических обзоров и воспоминаний (в чем легко убедиться, сравнив, например, два издания книги мемуаров «Время не властно» редактора «Красной звезды» военных лет Д. Ортенберга — лишь во второе автору удалось включить написанную для первого, вышедшего в 1975 году, главку о Василии Гроссмане).

Вот так совсем недавно Гроссману все еще приклеивали ярлык внутреннего эмигранта, человека, который в своей стране «чувствовал себя чужим». Чтобы до конца постичь, сколь лживо это обвинение, надо вспомнить, что Гроссман вошел в литературу повестью, в которой были запечатлены черты новой действительности. Этим она привлекла внимание Горького, который посоветовал инженеру-химику, поверив в его дарование, целиком посвятить себя литературному труду. «встреча с Алексеем Максимовичем,— вспоминал через много лет Гроссман,— в большой степени повлияла на дальнейший мой жизненный путь».

А потом «внутренний эмигрант» всю войну — с июля сорок первого по май сорок пятого — был фронтовым корреспондентом «Красной звезды», одним из

самых мужественных и безотказных. В статье «Памяти павших», опубликованной «Литературной газетой» к пятилетию начала войны, 22 июня 1946 года, Гроссман вспоминал: «Мне пришлось видеть развалины Сталинграда, разбитый зловещей силой немецкой артиллерии первенец пятилетки — Сталинградский тракторный завод. Я видел развалины и пепел Гомеля, Чернигова, Минска и Воронежа, взорванные копры донецких шахт, подорванные домны, разрушенный Крещатик, черный дым над Одессой, обращенную в прах Варшаву и развалины харьковских улиц. Я видел горящий Орел и разрушения Курска, видел взорванные памятники, музеи и заповедные здания, видел разоренную Ясную Поляну и испепеленную Вязьму». По этому горькому пути прошел с армией писатель. Хочу добавить, что первую в нашей литературе повесть о войне написал Гроссман и печаталась она в «Красной звезде» в июле — августе 1942 года, что его очерками и статьями зачитывалась тогда вся страна.

Мы нынче порываем с десятилетиями насаждавшимися нравами, когда совершенно беззастенчиво правда преследовалась как ложь, как «очернительство», как подрыв устоев. Это дается нелегко, с боем, «охранители» старого не только упорно защищаются, но и яростно контратакуют. И все-таки очень многое уже изменилось в нашей жизни, если всего через год после того, как тот самый руководитель, которого мы цитировали, сказал совершенно категорическое «нет», вышла в свет январская книжка журнала «Октябрь», в которой начал печататься роман «Жизнь и судьба»...

Читая роман Гроссмана, думая о нем, о его художественной структуре, в мыслях своих обращаешься к гениальной толстовской эпопее — для читателей это эталонная книга (не зря на конференциях и в письмах в газеты и журналы постоянно возникал вопрос: «А когда будет написана «Война и мир» об этой войне?»), для литературы о Великой Отечественной войне — самая авторитетная, самая влиятельная традиция. Роман Гроссмана — произведение эпическое в истинном смысле этого определения, которое в прошлые годы изрядно поистрепалось и девальвировалось от неуместного употребления. Черты эпического повествования виделись не в полноте изображения народной жизни в самых существенных ее проявлениях, не в историзме,— автору достаточно было свести под крышей произведения побольше людей (среди них должны были быть и исторические лица), да почаще менять объекты изображения (столица и село, фронт и тыл), чтобы его творение попало в эпопеи.

Сплошь да рядом уроки Толстого истолковывались в критике самым примитивным образом, настоящий их смысл выхолащивался и извращался. Часто приходилось читать — эпическое спокойствие, эпическая объективность, эпическая дистанция. Так часто, что почти никто не задумывался, а верно ли это? «Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль, — утверждал Толстой. — Так в «Анне Карениной» я люблю мысль **семейную**, в «Войне и мире» любил мысль **народную**, вследствие войны 1812 года...». Слова эти «зацитированы», вроде бы их и приводить неловко,— грамотный девятиклассник должен знать о мысли народной в «Войне и мире». Но я хочу обратить внимание на другое: какое же спокойствие и объективность, если Толстой говорит «люблю»?

Принято считать, что и временнáя отдаленность от изображаемых событий едва ли не обязательное свойство эпичности — это вроде бы подтверждает «Война и мир», создававшаяся через полвека после Отечественной войны писателем, не обремененным собственными воспоминаниями о войне с французами. На самом деле эта дистанция была для Толстого не благом, а препятствием, которое он преодолевал, опираясь на пережитое им самим на другой войне, на собственный, как мы говорим сегодня, фронтовой опыт. «С Сапун-горы, откуда смотрел Толстой на горящий Севастополь,— проницательно заметил Виктор Шкловский,— увидал он горящую Москву 1812 года». Толстой не отстраняйся от изображаемых в романе событий, наоборот, он всячески стремился к ним приблизиться, о чем свидетельствует его рассказ о работе над «Войной и миром»: «Через месяц и два расспрашивайте человека, участвовавшего в сражении,— уже вы не чувствуете в его рассказе того сырого жизненного материала, который был прежде, а он рассказывает по реляции. Так рассказывали мне про Бородинское сражение многие живые, умные участники этого дела. Все рассказывали одно и то же, и все по неверному описанию Михайловского-Данилевского, по Глинке и др.; даже подробности, которые рассказывали они, несмотря на то, что рассказчики находились на расстоянии нескольких верст друг от друга,— одни и те же.

После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесения артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем двадцати донесений — одно. Я жалею, что не писал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они по приказанию начальства писали то, чего не могли знать».

Василий Гроссман находился в ином положении, у него не было нужды по «реляциям» и чужим воспоминаниям — очень часто недостоверным — реконструировать прошлое, очищая его от намеренной или «наивной, необходимой военной лжи». В первые дни обороны писатель попал в Сталинград и все дальнейшие события видел своими глазами, изнутри. Добираясь туда кружным путем — другого уже не было — через Заволжье: выжженная степь, коричневая пыль на дорогах, тоскливый крик верблюдов, край света,— он остро ощутил, куда загнали нас немцы, «страшное чувство глубокого ножа от этой войны на границе Казахстана, на Нижней Волге» (здесь и дальше я цитирую записные книжки Гроссмана той поры). Он на себе испытал, что такое переправа через Волгу (этот опасный путь пришлось ему проделать не один раз — ведь передать материал в газету, да и писать можно было только на левом берегу): «Ж у т к а я п е р е п р а в а. Страх. Паром полон машин, подвод, сотни прижатых друг к другу людей, и паром застрял, в высоте Ю-88, пустил бомбу. Огромный столб воды, прямой, голубовато-белый. Чувство страха. На переправе ни одного пулемета, ни одной зениточки. Тихая светлая Волга кажется жуткой, как эшафот». Немецкая авиация, от которой нам нечем тогда было защищаться, всей своей разрушительной мощью обрушилась на город — об этом «внутренний эмигрант» пишет как о таком личном горе, которое у человека нет сил и слов, чтобы выразить: «Сталинград сгорел. Писать пришлось бы слишком много. Сталинград сгорел. Сгорел Сталинград». Только потом, преодолев шок первого впечатления, он восстановит некоторые подробности: «Мертво. Люди в подвалах. Все сожжено. Горячие стены домов, словно тела умерших в страшном жару и неуспевшие остыть... Среди тысяч громадин из камня, сгоревших и полуразрушенных, чудесно стоит деревянный павильон, киоск, где продавалась газированная вода. Словно Помпея, застигнутая гибелью в день полной жизни».

Судя по записям, Гроссман бывал во многих вошедших в историю местах Сталинградской битвы — на Мамаевом кургане и на Тракторном, на «Баррикадах» и СталГРЭСе, в «трубе» — на командном пункте Чуйкова, в дивизиях Родимцева, Батюка, Гуртьева, встречался и подолгу разговаривал — не после, когда все было кончено, а тогда же, в разгар боев,— со многими участниками сражения — и прославившимися военачальниками, и оставшимися безвестными офицерами и солдатами.

Гроссман не просто накопил огромный запас наблюдений, первозданного, столь важного для художника, как считал Толстой, «сырого жизненного материала». Сталинград был пережит им, его страшную тяжесть, невыносимое напряжение он испытал на себе, вобрал в себя. Не приходится удивляться той крайней степени душевной и физической усталости, о которой в конце Сталинградской битвы, когда уже шло наступление, Гроссман пишет главному редактору «Красной звезды»: «Тов. Ортенберг, завтра предполагаю выехать в город — думал сесть писать большой очерк, но понял, что придется отложить писание и некоторое время посвятить собиранию городских материалов. Так как переправа теперь вещь довольно громоздкая, то путешествие сие займет у меня минимум неделю. Поэтому прошу не сердиться, если присылка работы задержится. В городе предполагаю беседовать с Чуйковым, командирами дивизий и побывать в передовых подразделениях. Одновременно хочу вам сказать, что примерно в январе мне нужно побывать в Москве — если сможете вызвать меня, премного буду вам благодарен. Дело в том, что я чувствую некоторую перегруженность впечатлениями и переутомление от трехмесячного сталинградского напряжения.

Если поездка моя в город сопряжется с какими-либо печальными неожиданностями — прошу вас помочь моей семье».

Гроссман в письме не случайно говорит о перегруженности впечатлениями — Сталинград очень многое открыл ему и в характере достигшей здесь своего апогея войны с фашистами, и в народной жизни, и в нашем общественно-политическом строе. В экстремальных, как мы нынче говорим, условиях достигших немыслимого упорства и ожесточения боев, на смертельном рубеже с особой резкостью проступало и то, что было нашей силой, что сплачивало народ в борьбе с фашистским нашествием, и то, что подтачивало единство — подозрительность, беззакония, бесправие. Так велико было давление накопленного материала, такой жгучей была внутренняя потребность осмыслить увиденное и пережитое, понять закономерности — и социально-политические, и исторические, и общечеловеческие — дурного и хорошего, благородного и подлого,— что сразу же, по горячим следам событий в 1943 году Гроссман в редкие свободные от газетной работы часы начал писать роман о Сталинградской битве.

Первая его книга — «За правое дело» — была напечатана в 1952 году. В 1960-м была закончена вторая — «Жизнь и судьба». За эти семнадцать лет много воды утекло: закончилась разгромом и безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии война, бесчисленными жертвами завоеванная победа была омрачена рецидивом репрессий, новой волной бесчеловечности, арестов, уничтожающих проработок в науке, литературе и искусстве, захлестнувшей страну; затем умер Сталин, был осужден и расстрелян главный сталинский палач Берия, прошел XX съезд партии, приподнявший завесу молчания над преступлениями сталинского режима и осудивший культ личности. Разумеется, столь существенные перемены в жизни страны так или иначе сказались в ро-

мане Гроссмана, его понимание прошлого углублялось, прояснялось.

И все-таки главная идея произведения, над которым он потом работал столько лет, была нащупана уже тогда, в дни Сталинградской битвы, на многое у него тогда открылись глаза. В октябре 1942 года в одном из сталинградских очерков он писал: «Здесь сочеталось огромное стихийное столкновение двух государств, двух борющихся на жизнь и смерть миров с математической, педантически точной борьбой за этаж дома, за перекресток двух улиц; здесь скрестились характеры народов и воинская умелость, мысль, воля; здесь происходила борьба, решающая судьбы мира, борьба, в которой проявились все силы и слабости народов: одного — поднявшегося на бой во имя мирового могущества, другого — вставшего за мировую свободу, против рабства, лжи и угнетения».

Пусть не покажутся слова — «вставшего за мировую свободу, против рабства, лжи и угнетения» — общим местом, риторической фигурой. Для Гроссмана они наполнены не банальным, многозначительным смыслом, в них суть нравственной позиции, с которой он отваживается (дальше я скажу, почему тут необходим именно этот глагол) вершить суд над действительностью, в них зерно, из которого вырастала его книга. Мысль эта будет затем развита в авторских отступлениях романа. Уже в «За правое дело» Гроссман сформулирует некий «закон» войны, таящий «разгадку победы и поражения, силы и бессилия армий». Одним из проявлений открывшегося писателю «закона» было «чудо», происшедшее в Сталинграде, где бой в конечном счете шел за «присущую людям меру морали, убежденности в человеческом праве на трудовое и национальное равенство». Конечно, не следует буквально понимать слово «закон», речь идет о метафоре, выражающей то, что в былые времена называли духом войска и населения. Материя эта бесплотная, ее не измеришь, не взвесишь, не вычислишь, не внесешь в донесение и не пометишь на штабной карте, но как много она значит, как часто исход войны зависит от нее! «...В Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода»,— вот что там решило дело. Это Гроссман почувствовал в Сталинграде еще тогда, во время ожесточенных уличных боев, когда весы истории колебались. В романе «За правое дело» его сталинградские наблюдения сложились в «закон» войны.

В романе «Жизнь и судьба» писатель идет дальше в постижении исторической драмы, разыгравшейся в Сталинграде,— она рассматривается с точки зрения универсальных, всеобъемлющих категорий человеческого бытия. «Закон» войны оказывается и «законом» жизни: жить значит быть человеку свободным. Автор дает это понять на первой же странице «Жизни и судьбы», описывая мертвенную геометрию строений в фашистском лагере уничтожения:

«Из тумана вышла лагерная ограда — ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника... Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности».

Фашизм растоптал право на жизнь, на свободу. «Фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек, остаются лишь внутренне преображенные, человекообразные существа». Гроссман не только показывает злодеяния фашизма, его кровавую, бесчеловечную практику, он изобличает философию, на которой все это покоится, идеологию, которая это оправдывает, психологию, которая снимает моральные преграды. Писатель выступает против фашизма с общечеловеческих позиций — это зло, угрожающее роду человеческому. И он не делит зло на *чужое* и *свое*. Общечеловеческая позиция делает его непримиримым и к *своему* злу: «...автора,— заметил в рецензии на роман «Жизнь и судьба», написанной им незадолго до смерти в 1984 году, Генрих Бёлль,— мы всегда находим там, где ему полагается быть,— у страждущих». Поэтому и к *своему* злу Гроссман не знает снисхождения, не закрывает глаза на него, опасаясь «совпадений». Надо ли рассказывать о наших лагерях, если лагеря были у гитлеровцев, надо ли писать о тоталитаризме сталинского режима, если тоталитарный строй создали и нацисты? Эти вопросы вставали, не могли не вставать перед писателем. И он не только ответил на них в одном из авторских отступлений: «Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды либо с осколочками, с частицей правды, с обрубленной, подстриженной правдой. Часть правды — это не правда». Он ответил на них всем своим романом...

Объясняя, почему он начал «Войну и мир» рассказом о 1805 годе, Толстой писал: «В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу; я сделал это по чувству, похожему на застенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений».

Обычно на эти слова ссылаются, парируя доводы тех, кто не желает, чтобы литература обращалась к поре наших тяжких военных поражений. Но смысл их шире, речь идет вообще о нравственном отношении художника к предмету изображения, которое Толстой считал одним из обязательных свойств истинного художественного произведения.

Это нравственное чувство, верность правде, какой бы горькой она ни была, вели Гроссмана к изображению наших великих бед и нашего срама. Совестно было отворачиваться от них. Многое из того, что рассказано в романе «Жизнь и судьба», было закрытой зоной, куда литературе вход был строго запрещен. Нужны были смелость и мужество (вот почему я употребил слово «отважился»), чтобы переступить через запрет. Не только потому, что за это можно было поплатиться (что и случилось с Гроссманом), но и для того, чтобы одолеть в самом себе внутреннего редактора, не принимать во внимание ставшие привычными табу, увидеть действительность без шор. Да мог бы он, не раскрепостившись духовно, написать о свободе как о необходимом условии человеческого существования? И о многом другом (тоталитаризме, личной диктатуре, попрании гуманизма и т. д.), о чем мы лишь в наши дни начали говорить (а иногда даже и думать)?

В «Жизни и судьбе» предстает наша подлинная горькая и героическая история, совершенно не похожая на ту, что вбивалась в сознание не одному поколению «Кратким курсом» (даже в его новейших, несколько «окультуренных» модификациях),— это тяжкий путь, который стоил народу великих жертв, миллионов загубленных жизней. Судьба не миловала персонажей романа, «не обошла тридцатым годом,— как писал Александр Твардовский.— И сорок первым. И иным...» Если самого чудом не задело колесо истории, то оно прошлось по кому-нибудь из родных и близких. И жуткий смерч сталинской «ударной» сплошной коллективизации, унесший из жизни тысячи и тысячи «спецпереселенцев»; и голод тридцать третьего года, которому дали разгуляться и беспрепятственно косить и косить людей; и массовые репрессии — страшной памяти «тридцать седьмой год», начавшийся много раньше этой даты и кончившийся много позже, только со смертью того, о ком пели, что «он каждого любит, как добрый отец»; и подставленная в начале войны под сокрушительный удар гитлеровцев обезглавленная и обескровленная в мирное время Сталиным армия — все это было реальной жизнью страны, реальной жизнью гроссмановских героев.

Реальной, но тщательно маскируемой, скрытой, зловеще призрачной — ни писать, ни даже говорить (разве что шепотом с самыми близкими людьми) об этом было нельзя, за одно неосторожное слово можно было жизнью поплатиться. А как неоспоримая, несомненная реальность внедрялся миф о том, что жить стало лучше, жить стало веселее, что колхозные столы ломятся от изобилия, что наша армия на вражьей земле врага разгромит малой кровью, могучим ударом, что советский человек (процитирую книгу, выпущенную в свет в тридцать седьмом году) «поет о Сталине, который стал частью души каждого нового человека, который озарил своим гением, своей человечностью, своей сильной волей, своей улыбкой жизнь народов Советской страны, стал самым близким, самым родным человеком». Вот что изо дня в день вбивалось в головы газетами, журналами, книгами, передавалось по радио, произносилось с трибун — и самых высоких, и пониже. Нужно ли распространяться о том, к каким духовным — и не только духовным — последствиям приводила двойная жизнь, в которой миф поменялся местами с реальностью, и годами продолжавшаяся в густом тумане страха и демагогии погоня за ведьмами, какая создавалась питательная среда для бурного роста приспособленчества, раболепия, доносительства, цинизма? В таком насквозь мифологизированном мире живут герои Гроссмана — одни вполне удобно устраиваются в нем, других он ломает, третьи сопротивляются нравственному разрушению...

«Феномен» личности Сталина не очень занимает писателя, внимание его сосредоточено главным образом на сталинщине, на созданной по плану и под руководством Сталина системе личной власти, достигшей такой концентрации, такой силы, которая, наверное, не снилась Людовику XIV, произнесшему, как гласит легенда, знаменитую фразу: «Государство — это я». Сталин не отождествлял себя с государством, он превратил государство в слугу своего безудержного властолюбия. «Свита играет короля» — так в театре добиваются необходимого впечатления. Гроссман выдвигает на первый план «свиту», озабоченный не эстетическими соображениями. В «свите» — секрет неограниченной власти диктатора, она являлась внутренней общественно-политической и государственной пружиной созданного в стране режима. Для Гроссмана сталинщина — это Гетманов, до войны секретарь одного из обкомов на Украине, аппаратная шваль, пройдоха, человек без биографии, без принципов, наловчившийся чутко улавливать и ревностно осуществлять намеченную вождем «линию», бдительно выискивать потенциальных «уклонистов». Это генерал Неудобнов — «сталинец настоящий», заплечных дел мастер из подручных Ежова, «энтузиаст тридцать седь-

мого года», списками пускавший людей в расход. Это руководитель физического института Шишаков — интриган и бездарь, один из творцов ждановской «науки», державшейся на травле всего нового и талантливого — людей и идей. Это еще один организатор тотального единомыслия, редактор газеты Сагайдак, его стараниями выкорчевывалась правда и насаждалась ложь, в начале тридцатых он, например, «писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеба и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами»,— так обрабатывалось общественное мнение...

Все они шагнули в роман из жизни — ни малейшей карикатурности, ни тени романтического злодейства, страшны, но обыденны, серые, заурядные служаки, хитрые и бессовестные.

«Одно его слово,— характеризует власть Сталина в романе Гроссман,— могло уничтожить тысячи, десятки тысяч людей. Маршал, нарком, член Центрального Комитета партии, секретарь обкома — люди, которые вчера командовали армиями, фронтами, властвовали над краями, республиками, огромными заводами, сегодня по одному гневному слову Сталина могли обратиться в ничто, в лагерную пыль, позванивая котелочками, ожидать баланды у лагерной кухни».

Что говорить, изуверская жестокость расправ над неугодными или просто подвернувшимися под руку «опричникам», доносы и оговоры, «незаконные методы ведения следствия» или, просто говоря, изощренные пытки — все это рождало ужас и оцепенение. И все-таки дело было не только в страхе, на одном страхе такая власть не могла держаться, во всяком случае, столь долгое время. Это стало возможным, показывает Гроссман, потому что общество было разъедено, отравлено, деморализовано ядовитым дурманом демагогии — он был так силен, что у иных не выветрился до сих пор, не ушел вместе со страхом, все еще туманит головы и они пишут в газеты: «А как же «За родину, за Сталина!»?

Сталин не был богом, не обладал дьявольской силой, его слово всемогущим сделали все эти Гетмановы и Неудобновы, Шишаковы и Сагайдаки. Как они старались все громче и громче кричать вождю «ура», какими только сверхъестественными качествами его ни наделяли, стремясь перещеголять друг друга (один из реальных Сагайдаков напечатал в качестве «народной песни»: «По-иному светит нам солнце на земле, знать, оно у Сталина побыло в Кремле»), с какой яростью, демонстрируя верноподданническое одобрение кровавых расправ, шельмовали и оплевывали жертв сталинского террора (другой реальный Сагайдак публиковал пламенные отклики на приговор по делу «право-троцкистского центра»: «Им некуда было скатываться, потому что они лежали в грязи с самого начала революции. Они пришли в революцию с подрывными задачами, данными им буржуазными разведками»)! Правда, никто из них не был застрахован от внезапного гнева «всевышнего» — головы ведь катились налево и направо, но их усердие и восторг, подозрительность и яростный гнев, чуткие, как флюгер, к указаниям сверху, очень неплохо оплачивались. Становясь жрецами сталинского храма, они получали такую власть — пусть она и была очень малой частью абсолютной власти вождя — и такие привилегии, которых никогда бы не имели при другом, неавторитарном правлении. Они были кровно заинтересованы в обожествлении вождя, в укреплении храма.

Все они были людьми тридцать седьмого года, его волной они были вознесены наверх. Оттеснено было от руководства обществом, в большей своей части отправлено в лагеря и уничтожено физически поколение тех, кто совершил революцию, кто жизни своей не жалел, защищая ее во время гражданской войны, кто голодал, мерз, работал до изнеможения, ликвидируя послевоенную разруху,— в «Жизни и судьбе» эту старую гвардию представляют Мостовской, Крымов, Абарчук, Магар (троих из них накрыла волна репрессий). Почему же бескорыстные, самоотверженные, пламенеющие не смогли противостоять приспособленцам, нерассуждающим, готовым на все исполнителям, докам по части устройства своих шкурных дел? А потому, что, сами того не желая, они во многом подготовили приход на командные высоты тех, кто затем расправился с ними,— во всяком случае, открыли им туда путь. Разве, уверенные в том, что защищают завоевания революции, они не искореняли той свободы и демократии, ради которых и совершалась революция, разве не считали они уважение к человеческой личности либеральным слюнтяйством, разве не были убеждены, что общечеловеческой нравственности не существует, что во имя интересов революции и диктатуры пролетариата можно не считаться со справедливостью, поступиться человечностью? Их фанатизм неизбежно открывал дорогу бесчеловечности, принудительное единомыслие — тупости и раболепию, догматическая узость — подозрительности и репрессиям. Таким образом, позиции старой гвардии были нравственно не обеспечены, уязвимы, поэтому она не могла устоять под натиском людей, лишенных убеждений, но заучивших партийную фразеологию и готовых делать все, что им прикажут, движимых желанием не служить революции, а отхватить кусок жизненного пирога побольше, и, плохо приноравливаясь к новым установкам и задачам, гвардия сдавала им один бастион за другим.

Это был процесс, захвативший судьбы многих людей. Участник революции,

в семнадцатом поднимавший солдат, многолетний работник Коминтерна Крымов сначала, подавляя сомнения, стал писать в статьях то, что от него требовали, потом отстранялся от товарищей, которым «шили» дела,— подыгрывая злой силе, он убеждал себя, что выполняет партийный долг. В Сталинграде Крымов напишет донесение — в сущности, донос — о вражеских настроениях и разговорах в доме Грекова, хоть он не мог не видеть поразительной стойкости сражавшихся в окружении защитников дома, да и говорили они о том, о чем и он иногда думал. Но он и себе запрещал такие мысли, и другим не позволит распространять крамолу.

И Мостовской, один из основателей партии, человек, помнивший, что дух свободы поднял их на борьбу против самодержавия, ничего не предпринимал, когда расправлялись с товарищами, начинавшими революционный путь вместе с ним, проверенными в тюрьмах, в ссылке, на баррикадах,— он не вступился за них не потому, что опасался за свою жизнь, а потому что справедливо или несправедливо поступали с ними,— такова, считал он, воля партии, которая была для него превыше всего. И когда в лагере военнопленных сотоварищи Гетманова и Неудобнова — трусливый и невежественный генерал Гудзь, которому нельзя и полком доверить командовать, и бригадный комиссар Осипов, о котором было известно, что в тридцать седьмом он в Академии «беспощадно разоблачал десятки людей, объявляя их врагами народа»,— отправили в Бухенвальд на смерть майора Ершова, потому что не могли позволить, чтобы во главе подпольной организации военнопленных, то есть над ними, оказался беспартийный, да еще с сомнительной биографией — сын раскулаченного, Мостовской, понимая, что именно Ершов «был выразителем мыслей и идеалов лагерного общества» и по праву возглавил сопротивление, его ликвидацию принял как должное. «Он распрямился и так же, как всегда, как десять лет назад, в пору коллективизации, так же, как в пору политических процессов, приведших на плаху его товарищей молодости, проговорил:

— Я подчиняюсь этому решению, принимаю его как член партии».

Даже кровавая реальность войны сорок первого и сорок второго годов, подорвавшая миф о сталинской прозорливости и непогрешимости, не опрокинула въевшихся в сознание Крымова и Мостовского догм (быть может, Крымову суждено, как Магару, прозреть в бериевских застенках). Лишь на мгновение содрогнется от ужасной догадки Мостовской, услышав в рассуждениях гестаповского теоретика Лисса о национализме как главной силе двадцатого века, о Гитлере и Сталине как вождях нового типа хорошо знакомое и близкое: великая цель оправдывает любые средства и любые жертвы, кто хочет ее достичь, должен отрешиться от жалости и сомнений, ни перед чем не останавливаться. Содрогнется, но тут же отбросит возникшую мысль — ее страшно было додумывать, она как динамит взорвала бы его закостеневшую, ослепшую веру, и пришлось бы признать, что мы пришли совсем не туда, куда стремились. Не прозреет и твердокаменный Абарчук, никогда не дававший себе никаких поблажек, готовый пожертвовать собой для дела революции и поэтому считавший себя вправе никого не щадить. Не прозреет, несмотря на все то ужасное, что откроется ему в тюрьме и лагере, и будет продолжать считать, что «посажена по ошибке маленькая кучка людей, в том числе и он, остальные репрессированы за дело,— меч правосудия покарал врагов революции», его же собственная судьба «случайна, мелочь. Дело партии — святое дело! Высшая закономерность эпохи!»

Нет никаких сомнений, велика вина Мостовского, Крымова, Абарчука перед историей и людьми. Но все-таки это трагическая вина, потому что они заблуждались или дали себя обмануть. Пришедшие же им на смену Гетмановы и Сагайдаки не обманывались, а обманывали. Старая гвардия чуралась привилегий, не искала для себя материальных выгод и житейских благ — это считалось постыдным. Пришедшие же им на смену не ведали стыда, аскетизм презирали, они жаждали вкусить плоды своего возвышения, они рвались к «сытным пайкам, кремлевским обедам, наркомовским пакетам, персональным машинам, путевкам в Барвиху, международным вагонам».

Гроссман бесстрашно обращается к самым больным, самым темным, самым трудно объяснимым явлениям нашей недавней истории. Ко многим из них даже сегодня историки не знают, как подступиться, им еще предстоит определить политическую природу сталинщины, ее социальный фундамент, объяснить, как и почему она могла восторжествовать. Художник все это видит через человека, раскрывая, как ему живется, что его мучает и радует, на какой путь его толкает время, перед каким выбором ставит. Если перед нами большой художник, он открывает то, что недоступно историкам,— духовный мир людей, их повседневную жизнь, утвердившиеся нравы и общественную психологию. Когда-нибудь историки подсчитают ужасное число жертв сталинского террора (мы уже знаем, сколько было репрессировано командиров Красной Армии, сколько было уничтожено делегатов XVII съезда партии), но только художнику — как Гроссману в «Жизни и судьбе» — дано поведать о великом страхе и великой демагогии, парализовавших волю людей. Историк охарактеризует, опираясь на факты и цифры, бюрократическое окостенение государственного аппарата, но только художник сможет показать, ка-

кие мытарства подстерегали человека, которому надо прописаться, чтобы иметь крышу над головой и работу (что пришлось, например, вынести в романе «Жизнь и судьба» Жене Шапошниковой, чтобы прописаться в городе, где именем ее отца за его заслуги перед революцией названа улица). Историки проследят процесс образования партократии, а художник раскроет духовный облик партийного работника новой формации (скажем, того же Гетманова у Гроссмана). Историк на основе приказов, донесений, записей в журналах боевых действий и других архивных документов, наших и противника, осветит, как это сделал академик Самсонов в своей монографии, ход сражения за Сталинград, но только художник — как Гроссман в романе — может показать, что именно дух свободы защитников города опрокинул все расчеты немецкого командования.

Сталинская политика была направлена на то, чтобы истребить, искоренить дух свободы — авторитарной власти нужны нерассуждающие, механические, действующие по приказу исполнители. «Лагерю предстоит слияние с запроволочной жизнью. В этом слиянии, в уничтожении противоположности между лагерем и запроволочной жизнью и есть зрелость, торжество великих принципов. При всех недостатках лагерной системы в ней есть одно решающее преимущество. Только в лагере принципу личной свободы в абсолютно чистой форме противопоставлен высший принцип — разум. Этот принцип приведет лагерь к той высоте, которая позволит ему самоупраздниться, слиться с жизнью деревни и города»,— этот чудовищный проект одного из персонажей романа, «певца органов государственной безопасности», соседа Крымова по камере, в сущности, доводил до логического конца сталинскую идею командно-административной системы, тоталитарного государства. И немало уже было сделано для воплощения в жизнь этой идеи. Всю страну опоясала колючая проволока лагерей, караульные вышки возвышались «над морозной красноярской землей, над автономной республикой Коми, над Магаданом, над Советской Гаванью, над снегами колымского края, над чукотской тундрой, над лагерями мурманского севера и северного Казахстана».

Система становилась все более монолитной и могучей, но росла не мощь страны, а устрашающая, все подчинявшая себе власть вождя. Страна же и армия приходили в упадок, подтачивались, разрушались, словно пораженные саркомой внутренние «клетки» общественного организма. И нападение фашистской Германии, нанесенный ее войсками удар поставили страну на край катастрофы. Устоять, одолеть захватчиков нельзя было, не освободив скованные сталинщиной силы народа, не стряхнув духовное оцепенение, не преодолев вбитое в общественное сознание «Сталин знает, Сталин укажет, Сталин решит». Решать пришлось каждому, ответственность легла на всех. Защитить Родину и свободу могли только свободные люди. И мысль, которую автор, воспользуюсь словами Толстого, любит в своем романе,— это мысль о пробудившемся в людях духе свободы, который помог им выстоять в невыносимо тяжких испытаниях. Весь образный строй книги сфокусирован на эту мысль, которая, что свойственно художественному произведению, конечно, богаче, сложнее, многозначнее ее определения. Она проступает в подробностях фронтового быта, угадывается в поведении людей, встает за их судьбами.

«Березкин прислушался к близкому разрыву, потрясшему стены подвала, и улыбнулся.

— А у вас тут спокойно. В моем овраге за это время уже обязательно человека три побывали бы из штаба армии, разные комиссии все ходят».

Не странно ли: спокойно, когда идет такой обстрел? Но он не шутит, командир полка, позавидовавший своему комбату и посетовавший на то, что ему не дают делать дело, за которое он отвечает, свободно, без понуканий.

Мысль в романе может возникать — и часто возникает — как электрический разряд, от соединения в читательском сознании судеб и явлений очень далеких, никак не связанных сюжетно, да и существующих словно бы в разных измерениях. И здесь я снова сошлюсь на Толстого, он помогает понять образный строй прозы Гроссмана, ориентирующийся на толстовскую традицию: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения».

Для примера две сцены из романа Гроссмана, между которыми возникает такое сцепление, такая внутренняя связь. Собирается на войну сорокапятилетний колхозник Вавилов — он понимает, как трудно будет его семье, знает, что ждет его:

«— Собрала мне, что говорил?

Она положила на стол мешок и сказала:

— В мешке весу больше, чем в вещах твоих.

— Ничего, легче идти будет,— примирительно сказал он.

И действительно, весу в мешке было не много: хлеб, скрипящие ржаные сухари, кусок сала, немного сахару, кружка, иголка с моточком ниток, фуфайка, две пары белья, две пары стираных портянок.

— Рукавицы положить? — спросила она.

— Нет. И фуфайку оставлю, пусть Насте будет, мне выдадут...»

Другие сборы — отправляется в действующую армию Гетманов, назначенный комиссаром танкового корпуса:

«— Береги себя, детей береги. Коньяк в чемодан положила?

Она сказала:

— Положила, положила. Помнишь, года два назад ты так же на рассвете дописывал мне доверенности, улетал в Кисловодск?»

Какие разные люди, какая разная судьба... Но есть между ними то «сцепление», о котором говорит Толстой. Не потому ли так скудна и трудна была жизнь у Вавилова, прекрасного работника, добросовестного, трудолюбивого, безотказного, что гетмановы меньше всего думали о том, чтобы они жили по-человечески? И не потому ли призывают в армию немолодого человека, что из-за грубейших военно-политических просчетов и бесчеловечности обожествляемого гетмановыми вождя и его соратников выбиты те, кто помоложе? Для Вавилова война — жестокое испытание, он знает: только не щадя своей жизни можно одолеть захватчиков. Для Гетманова — всего лишь новая должность (главное его беспокойство, соответствует ли она его рангу, вниз он идет или вверх), и здесь не случайна деталь — жена его вспоминает, что точно так он уезжал в мирное время на курорт.

Кульминацией сталинградских событий и высшим проявлением стремления народа к свободе в романе Гроссмана стала оборона дома «шесть дробь один», маленьким гарнизоном которого командует капитан Греков, это точка, где органически соединились, сплелись главные смысловые нити повествования. Среди записей, сделанных Гроссманом в Сталинграде, есть такая: «...Гранатный бой, бой за этаж, бой за ступеньки, за коридоры, за метры комнат (вершки, как версты, человек — полк, каждый себе штаб, связь, огонь)»,— эта самостоятельность каждого воина, не укладывающаяся ни в какие представления о боевых действиях армии, была загадочной, необъяснимой. Ее истинные причины Гроссман вскрывает. Не строгий приказ, не угроза наказания за его невыполнение, а сознательная дисциплина общего, ощущаемая каждым ответственность за исход боя и судьбу страны, дух свободы, которую надо было спасти, а потом утвердить в жизни, рождали такую самостоятельность и самоотверженность.

Никогда люди так много не думали и не говорили столь свободно о прошлом, о том, что корежило их жизнь, как в Сталинграде. О том, что «нельзя человеком руководить, как овцой», не для того делали революцию. О «бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации», о «наркомвнудельцах, погубивших в 1937 году десятки тысяч невинных людей». И о будущем никогда не говорили с такой смелостью и надеждой: «Интерес к послевоенному устройству колхозов, к будущим отношениям между великими народами и правительствами был в Сталинграде почти всеобщим... Почти все верили, что добро победит в войне и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут строить хорошую, справедливую жизнь. Эту трогательную веру высказывали люди, считавшие, что им-то самим вряд ли удастся дожить до мирного времени, ежедневно удивлявшиеся тому, что прожили на земле от утра до вечера». Этой верой жили все защитники дома «шесть дробь один».

Этой глубокой верой жил весь народ — эхо свободы, за которую шли невиданного ожесточения бои в Сталинграде, разнеслось далеко. Его услышали за тридевять земель от Волги, в Германии, в лагере военнопленных. Оно подтолкнуло узников к созданию подпольной организации антифашистов разных национальностей, которая должна подготовить всеобщее восстание. Ершову, как и защитникам дома «шесть дробь один», ясно, что «борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец». Эхо свободы докатилось и до нашего тыла. В Казани, куда эвакуирован физический институт, Штрум, его коллега Соколов, их тамошние знакомые, как в доме Грекова, откровенно, без утайки разговаривают о наших бедах, о давящей всех атмосфере несвободы, так откровенно, что, окажись среди них один неверный человек, худо было бы всем. Велика сила свободы — не случайно Штрум нашел объяснение непонятным внутриатомным явлениям, «когда ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда одна лишь горькая свобода определяла его слова и слова его собеседников».

Кровавая, безжалостная война расставляла все по своим местам, разоблачая пущенные в оборот ложные ценности, возвращала подлинные, выдвигала новых людей, не прислуживающихся начальству, не выслуживающихся, а умело и толково делающих свое дело («Люди в окруженном доме,— пишет о грековском гарнизоне Гроссман,— были особо уверенными, сильными, и эта их самоуверенность успокаивала. Вот такая же убеждающая уверенность есть у знаменитых докторов, у заслуженных рабочих в прокатных цехах, у закройщиков, кромсающих драгоценное сукно, у пожарников, у старых учителей, объясняющих у доски»). Те, кому до войны пели величальные песни,— Ворошилов и Буденный — оказались неспособными управлять войсками, их репутации были дутыми, вместе со Сталиным они приве-

ли армию к тяжелейшим поражениям, страну — на край гибели. Чтобы защитить Родину, преградить путь захватчикам, потребовались совсем другие военные руководители — они пришли из огня сражений, там показав, на что они способны, их выдвинула сама война. Будущие командующие фронтами Черняховский и Баграмян начинали войну полковниками, Рокоссовский, Василевский, Петров — генерал-майорами, а некоторым военачальникам, чьи имена гремели в войну,— назову для примера того же Рокоссовского, Мерецкова, Горбатова,— пришлось до этого «побывать в гостях» у Ежова и Берии.

В романе Гроссмана «лидеров», которых на разных уровнях, в разных местах предлагала война, представляют полковник Новиков, назначенный командиром танкового корпуса и блестяще действовавший в наступлении, талантливый штабной офицер Даренский (на фронте он встречается с Неудобновым, который вел его дело и собственноручно выбил ему зубы), Греков, Ершов — всем им при существовавшей до войны кадровой «селекции» ходу не было. Даренскому — потому что он из дворян, Ершову — потому что его отец был раскулачен, Новикову — потому что слишком был образован, слишком большое значение придавал современной военной теории, Грекову — потому что не проявлял себя как «общественник». Став в фашистском лагере главарем советских военнопленных командиров, «Ершов переживал горькое и хорошее чувство — здесь, где анкетные обстоятельства пали, он оказался силой, за ним шли. Здесь не значили ни высокие звания, ни ордена, ни спецчасть, ни первый отдел, ни управление кадров, ни аттестационные комиссии, ни звонок из райкома, ни мнение зама по политической части».

В среде Гетмановых новые назначения, которых властно потребовала война, вызывают недоумение и почти нескрываемое недовольство. Как же это командиром танкового корпуса назначают какого-то никому неведомого полковника Новикова — он не из номенклатуры, «выдвиженец военного времени, до войны ничем особым не отличался», а в подчиненные ему — бывшего секретаря обкома Гетманова и генерала Неудобнова? Правда, Гетманов и Неудобнов не умеют воевать (как они стыдливо о себе говорят, «военного опыта нет»), но разве прежде имело значение, кто что умеет или не умеет, не боги горшки обжигают, главное — свои, проверенные кадры, твердо проводящие «линию». Нет, «напутала война», зашатался привычный порядок, их право указывать и руководить поставлено под сомнение, «по-чудному» все идет. И ждут они не дождутся конца этой «вольницы», надеясь, что после войны все вернется на свои места.

В испытаниях войны родился дух свободы. Эммануил Казакевич рассказывал: «Многие помнят дни отступления 1941 года, когда в трагической обстановке развала нашей обороны солдаты открыто выражали свои мысли... Они с презрением вспоминали непрерывное хвастовство, беспримерное шапкозакидательство, которое культивировалось Сталиным в течение многих лет». В самые тяжкие дни ленинградской блокады зимой сорок второго года Ольга Берггольц писала:

> В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
> где смерть, как тень, тащилась
> по пятам,
> такими мы счастливыми бывали,
> такой свободой бурною дышали,
> что внуки позавидовали б нам.

Ольга Берггольц с особой остротой ощущала эту свободу — ведь ее в тридцать седьмом году исключили из партии и посадили, выпустили в тридцать девятом — повезло. Когда в сорок втором печатался «Февральский дневник» Берггольц, строки о бурной свободе воспринимались как само собой разумеющиеся. Но уже в сорок шестом, когда Семен Гудзенко в стихотворении «Я был пехотой в поле чистом...» написал: «С какой свободой я дружил — ты памяти не тронь...», это показалось тогдашним сагайдакам, выбивавшим принесенный из окопов дух свободы, крамолой — строки сняли...

Гроссман пишет и об этой исторической трагедии, о том, что великая победа в Сталинграде, рожденная неудержимым порывом народа к свободной жизни, была у народа отобрана, использована для его подавления, для укрепления тоталитарного, лагерного режима в стране, для торжества сталинщины. Сразу же после разгрома немцев в Сталинграде появляются первые признаки возвращения к былому, к довоенным правам и порядкам. Старый рабочий Андреев рассказывает: «...Снабжения нет, зарплаты не выдают, в подвалах и землянках холодно, сыро. Директор другим человеком стал, раньше, когда немец пер на Сталинград, он в цехах — первый друг, а теперь разговаривать не хочет, дом ему построили, легковую машину из Саратова пригнали... Помните, Сталин говорил в позапрошлом году: братья и сестры... А тут, когда немцев разбили,— директору коттедж, без доклада не входить, а братья и сестры в землянки». По доносу Гетманова отзывают в Москву Новикова — и кто знает, что его там ожидает. Строгий выговор и понижение получает директор СталГРЭСа Спиридонов, всю оборону под обстрелами и бомбежками не покидавший своего поста. В физическом институте по известной колодке (добавился еще и антисемитизм) организуется травля Штрума, а затем обласканного Сталиным Штрума заставляют подписать гнусное письмо против статьи, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», в которой речь идет о репрессированных советских ученых и писателях. На Новикова, Спиридонова, Штрума каким-то образом падает зловещая тень дела Крымова, уже объявленного врагом народа. Вроде бы никто из них совершенно не причастен к этому делу, Новиков вообще никогда в глаза не видел Крымова, и все-таки раз какая-то, пусть даже призрачная ниточка связи существует, ее всегда могут ретивые сотрудники размотать, отыскать криминал — человек, как пешка на шахматной доске, оказывается «под боем». Следствие, лучше сказать, расправа над Крымовым ведется по образцам тридцать седьмого года — ясно, что сердцевина сталинского режима сохранилась.

Отечество было спасено, враг повержен, а тем, кто выиграл войну, кто вынес на своих плечах ее главную тяжесть, вскоре после победы самым решительным образом дали понять, что их заслуги, пролитая ими кровь ровным счетом ничего не значат, что с фронтовым свободолюбием и самостоятельностью покончено. Жуков был снят со своих высоких должностей и назначен командующим войсками второстепенных военных округов — в Одессу, а затем Свердловск, подальше от Москвы; посадили несколько человек из его ближайшего окружения, чтобы он понимал, что на него «копают» материал, который может быть пущен в ход. Рокоссовский отправлен еще дальше — в Польшу. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов, нарком Военно-Морского флота, понижен в звании до контр-адмирала и назначен начальником управления военно-морскими учебными заведениями, два других известных флотоводца, адмиралы Алафузов и Галлер посажены (Галлер, которому было за шестьдесят, умер в заключении). Наркома авиационной промышленности Шахурина, главного маршала авиации Новикова, маршала артиллерии Яковлева — тоже за решетку... И если их не защитили высокие звания и громкие имена, то каково было людям простым, безвестным? И снова за случайно сорвавшееся слово — в лагерь, по клеветническому доносу — в тюрьму, за книгу с предисловием Бухарина, сохранившуюся в домашней билиотеке,— «срок». Тысячи военнопленных — из фашистских лагерей прямо в наши...

«Сталинградское торжество, — пишет Гроссман,— определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода». Пробудившийся в испытаниях войны дух свободы еще можно было на какое-то время подавить беспощадными репрессиями, но уже нельзя было совершенно истребить. Еще можно было многих запугать, но уже нельзя было всех их обмануть. При первой же возможности дух свободы должен был воспрянуть, пробить себе дорогу в общественной жизни. «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны,— писал в «Докторе Живаго» Борис Пастернак,— не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». И те коренные общественные перемены, начало которых в нашем сознании связано с XX съездом партии и которые происходят сегодня, были ответом на историческую потребность, проявившуюся так остро в дни всенародной войны против фашизма. Этот высокий дух свободы и человечности вызвал к жизни и роман Василия Гроссмана.

Роман «Жизнь и судьба» только-только прочитан первыми читателями. Многие из них, надо думать, еще перечитают его, когда будет переиздано «За правое дело», которое стало библиографической редкостью, потому что при всех различиях «За правое дело» и «Жизнь и судьба», хочу повторить это, присоединившись к мнению Анатолия Бочарова,— единое произведение с общим замыслом, с общими героями. Смысловую и сюжетную основу его составляют история сталинградской битвы и судьба семьи Шапошниковых, соединенные, сплавленные автором так, что за ними встает история нашей страны, революции, сурового XX века. Каждый персонаж, выведенный писателем на авансцену повествования, втягивает в него новых и новых людей — все они представляют для автора самоценный интерес (потому так запоминаются), у каждого из них своя линия жизни и свои взаимоотношения с временем.

Роман Василия Гроссмана — выдающееся произведение, отличающееся мощью авторской мысли, силой правды и таланта. Это переворачивающая душу книга, о многих страницах и многих персонажах которой можно без малейшего преувеличения сказать, что их уже не забудешь никогда — так они написаны. Но в настоящей литературе никогда не бывает тесно, и роман Гроссмана не расчищает для себя место, списывая в тираж все то, что было создано раньше, наоборот, этот роман еще раз подтверждает, что путь, по которому шли честные и талантливые писатели, осмысливая прожитые нами очень нелегкие десятилетия, был правильным и плодотворным.

Генрих Бёлль в своей рецензии на роман Василия Гроссмана писал: «Это могучее свершение, не просто книга, это даже больше, чем несколько связанных между собой романов, у нее есть своя история и свое будущее. Сколько же еще предстоит породить исследований, статей, споров этому роману, появившемуся на свет спустя двадцать лет после того, как автор поставил точку!»

Можно не сомневаться, что так оно и будет...

Сквозь лабиринт

Коллизии, многократно побывавшие в литературном употреблении, обычно раздражают читателей и отпугивают авторов. Сколько опасностей таит форма, обжитая предшественниками! Она как дом с привидениями: ветшая, наполняется бесплотными тенями ушедшей жизни. Легко представить, сколько их подстерегает прозаика, который берется рассказать историю красавицы, убегающей из родного аула, чтобы соединиться с милым наперекор воле семейства («Побег»). А каково в наши дни писать роман о мытарствах бедного чабана, вовлеченного в борьбу басмачей против Советской власти («Потерянный»)? Кто поспешит раздобыть книгу, прослышав, что там есть повести про старика, скорбящего о былом крестьянском укладе («Свет горел до утра»), и про то, как чудак-правдолюбец разоблачает нечистого на руку колхозного кладовщика («Настырный»)?

Выбирая для своих произведений именно такие сюжеты, Т. Джумагельдыев идет на осознанный риск. Это дерзкое и лукавое решение мастера, готового дать бой стереотипам. Туркменский прозаик на основе коллизий, якобы простых и привычных, создает неожиданно острое социально-психологическое исследование.

Особенно интересны романы Т. Джумагельдыева. Пространство жанра позволяет писателю за личными драмами героев разглядеть драму народа, переживающего в «Потерянном» бурные годы коллективизации, а в «Побеге» глухую пору застоя. Между тем на первый взгляд может показаться, что романиста занимают проблемы сугубо частные, семейные. Рахману желанны лишь труд и тепло очага, но богатый родственник Агахан толкает племянника на преступный путь — это конфликт «Потерянного». Айгозель любит Байназара, а он не может заплатить за нее калым — на этом строится «Побег».

Однако ни Рахману, ни Айгозель не суждено улаживать свои родственные и любовные отношения в домашнем кругу. Напротив, создается впечатление, будто действие романов вынесено на площадь. Здесь семейные дела вершатся принародно, зависят от поступков и суждений множества лиц. В «Потерянном» это не столь удивительно: как-никак Рахман ввязывается в перипетии социальной розни. Но любопытно, что и «Побег» строится по тому же принципу. Чувства влюбленных, отношения Айгозель с матерью, братьями, с безответно плененным ею Ковусом и верной наперсницей Майсой — все это обусловлено нравами аула, замысловатым сплетением старых и новых обычаев. Мало сказать, что, мол, сюжет романа развивается на детально выписанном бытовом фоне. Нет, не увлечение своеобразным колоритом побуждает автора раздвигать рамки повествования. Его цель — исследовать природу сил, что управляют жизнью персонажей, исподволь порабощая их сознание.

Вот пример — один из многих. Милиционер Оджар, брат героини, увлекшись замужней женщиной, увозит ее, обещает жениться, но идет на попятный, стоит лишь Сахату Каландару сказать, что-де служитель закона не должен зариться на чужое: это позор! И хотя бы Оджар удивился, как может Сахат-ага судить о женщине, будто о вещи, на минуту бы задумался, прав ли в этом случае его почтенный сосед! Но ничего подобного не происходит. Устами Сахата Каландара говорит общественное мнение, приговор которого, по понятиям Оджара, решает все. Милиционер, повздыхав, отправляет возлюбленную восвояси — к ненавистному мужу, на поругание и стыд.

Предательство? Но окружающие вовсе так не считают. Жители Актепе слишком привыкли повиноваться без рассуждений, склоняясь перед обстоятельствами и обычаем, волей вышестоящих и мнением большинства. Поэтому бесчестье грозит не покладистому Оджару, а его непокорной сестре. И вот другой брат беглянки, тракторист Араб, захлебываясь яростью, кричит: «Надо найти эту сволочь! Надо убить ее! Надо ее тело на куски порезать, надо собакам выбросить ее поганое мясо!» Угроза не столь уж пустая, ведь Араб чуть не до смерти избил Ковуса, по ошибке приняв беднягу за возлюбленного сестры.

Кстати, что касается страстей, тайн, потасовок, фабула романов сгодилась бы для приключенческого кинематографа. Воспроизведенное на экране, их действие увлекло бы зрителей своей динамичностью. Но для читателя прозы Т. Джумагельдыева приключения отступают на второй план: он считает, что мир помыслов и представлений героев важнее, да зачастую и опаснее любых отчаянных перипетий.

Тягостно видеть, с какой легкостью наши практичные современники, герои «Побега», вживаются в мелодраматическую ситуацию, немилосердно терзая себя и других, хотя для разрешения конфликта хватило бы малой толики разума и доброй воли. Мать, узнав о побеге Айгозель, готова пожелать смерти дочери... Оскорбленный брат бесиутся в жажде мщения... Неужели в конце двадцатого столетия эти люди так привержены велениям шариата? Полно, нет в Актепе ни правоверных фанатиков, ни безумцев. Робкая Бостан страшится не гнева аллаха, а сплетен. Араб не о чести печется, а о калыме, уплывающем из его жадных рук. Распоясавшийся хам, обманутый в своих меркантильных расчетах,— вот кто выступает в романе как главный поборник традиционных устоев.

Все знают цену побуждениям Араба, однако многоголосый хор родственников и соседей вторит ему. Все уважают доброго, честного Кадыра — третьего брата и единственного заступника Айгозель, а охотников прислушаться к его умиротворяющим доводам почитай что нет. Бунт героини всполошил всех — от сплетницы Аксолтан, боящейся, как бы ее дочь Майса не поддалась влиянию подруги, до бригадира Абды, давно невзлюбившего Айгозель за то, что посмела отказаться работать на уборочной без выходных. «И еще требует, чтобы я ей принес бумагу, где написано, что людям запрещено давать выходной! — кипятится бригадир.— Распустились! Потому что знают, что такой бумаги нет!»

Недалекий Абды выбалтывает то, что для большинства персонажей романа стало важным, втихомолку исповедуемым принципом. «Качать права», вспоминать о законных гарантиях личной свободы в ауле не принято, здесь положено «жить в соответствии с общей обстановкой». И люди приноровились к такой форме существования, научились ценить ее убогие преимущества и не замечать ее нравственной и экономической ущербности. А поскольку опора этого привычного порядка — бесправие личности и особенно покорность женщин, на чьи плечи ложится самая тяжелая работа, поступок Айгозель и впрямь потрясает основы жизни в ауле.

Любопытный парадокс. Обитатели Актепе мирятся с низкой прибылью колхоза и каторжным женским трудом. Сносят произвол начальства и помалкивают, когда дети гнут спины на хлопковых плантациях, обработанных ядовитыми дефолиантами. Безропотно позволяют ретивому Абды до неузнаваемости извращать такое важное начинание, как бригадный подряд, а Шакули, известному взяточнику и мерзавцу, учить детей. Но допустить, чтобы Айгозель самовольно вышла замуж,— это уж слишком! В терпеливых сердцах актепинцев вскипает гнев. На язык просятся пламенные речи о чести. А какое единодушие! Умница Майса, и та осуждает подругу — с жиру, мол, бесится...

Весьма характерное обвинение, особенно если вспомнить условия жизни и работы девушек. Правда, Айгозель на особом положении: у нее есть красивые платья, мать позволяла своей любимице бывать в городе, ходить в кино. И этого достаточно, чтобы весь аул с важностью толковал об избалованности Айгозель, о материнском попустительстве, которое не довело до добра?

Нет, не о стародавних обычаях, все еще туманящих сознание селян, размышляет прозаик. Т. Джумагельдыева занимают каверзы рабской психологии, ее подспудная агрессивность и ошеломляющая способность менять обличья, маскируясь под суровость стража советских законов, мудрость старца, рассудительную скромность девушки. И вот ведь беда: если вглядеться, в Айгозель тоже увидишь черты духовного рабства: это от него дешевое кокетство, злые выходки.

Задача писателя — показать, в каких муках рождается представление о достоинстве независимой личности, ее ответственности и праве на свободный выбор судьбы. В этом смысл горестей, ошибок и прозрений героев Т. Джумагельдыева. И в этом же их неожиданная внутренняя близость. Хотя Рахман топчет свои привязанности во имя ложно понятого долга, а Айгозель ради чувства преступает обычаи, конформиста и бунтарку равно подводит неумение самостоятельно мыслить, томит почти патологическая боязнь пересудов, грызет уязвленное самолюбие. Несоответствие между энергичным развитием сюжета и метаниями героев многозначительно: в том-то и дело, что Рахман и Айгозель еще способны к решительным действиям, но понять самих себя, отличить подлинные нравственные ценности от мнимых им куда труднее.

Больно смотреть, как герой «Потерянного» и героиня «Побега» отчаянно блуждают в потемках собственных душ. Сочувствие вызывает Рахман, который гибнет, не успев понять ни сути переживаемых народом революционных событий, ни смысла противоречий, что исковеркали его собственную судьбу. Почему, мечтая о доме и труде, он рыщет по пустыне с бандой Агахана, больше жизни любит Асман, но причиняет ей лишь одни страдания, ненавидя насилие — оба-

---

Тиркиш Джумагельдыев. Потерянный. Роман, повести. Перевод Л. Петрушевской, В. Панкиной, Т. Калякиной, М., Советский писатель, 1987.

гряет руки кровью?.. Причина одна: Рахман убежден, что его долг — исполнять заветы предков. Вот почему воля Агахана значит для его племянника больше, чем голос сердца и жаркие уговоры Асман. Презирая свирепых агахановых нукеров, догадываясь, что и дядя способен на любую низость, Рахман упорно хранит почтение к главе рода. Даже наедине с собой он не дает воли крамольным сомнениям — это внутренняя несвобода и делает героя потерянным, обреченным.

Путами предрассудков скованы чуткая совесть и проницательный ум молодого чабана. Они подавляют самые благородные порывы героя. И спасительная нить, которой могла бы стать для Рахмана любовь к семье, обрывается, так и не выведя его из лабиринта противоречий.

Заметим: в романе драмой оборачивается любовь, с укладом не спорившая. Это он, уклад, спорит с ней, вербуя Рахмана себе в защитники, превращая мужа и отца в бездомного убийцу. Герой гибнет потому, что отступился от самого высокого и человечного, что было в его жизни. Зато Айгозель в «Побеге» возлагает на любовь все надежды, для нее побег с Байназаром — шанс вырваться из плена опостылевшей обыденности, целому свету доказать, что она независима.

И что же? Азарт самоутверждения ослепляет девушку не меньше, чем Рахмана — его патриархальные догматы. Она даже Байназара не может толком разглядеть. Через многие невзгоды пройдет героиня, прежде чем поймет, что ее избранник не хозяин жизни, а несчастный, запутавшийся человек, который тем не менее дорог ей.

Примечательно, что герои Т. Джумагельдыева по натуре, увы, не борцы. Их цель — не обновить общественную жизнь, а обрести душевный мир, согласие с самими собой и с близкими. Автор с горечью убеждается, что и на этом пути их ждет множество препятствий, требующих недюжинной стойкости и отваги. И вместе с тем читатель видит, насколько порой призрачны их страхи, суетны сомнения, как нелепы барьеры, перед которыми они теряются, и мелки причины, приводящие их в отчаяние. Кажется, эта странная маета могла бы вызвать усмешку. Но не тут-то было. Этим людям сочувствуешь, за их тревожишься. Понятно их душевное состояние.

Да и в лабиринтах предвзятостей, обступающих героев, есть что-то такое знакомое, от чего не захочешь, да призадумаешься.

Ирина Васюченко

Когда не хватает слов

«Что нужно, чтобы хорошо писать о народе?» — с такого вопроса начал свой новый сборник статей Вячеслав Горбачев.

Что ж, давайте и мы попытаемся не снижать заданный тон. «Все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное»,—заметил однажды Чехов и более подробно на эту тему не распространялся. Это потом удивленные и восхищенные чеховской прозой исследователи дотошно подсчитают, сколь велик и представителен список чеховских героев из всех слоев общества, с какой социологической проницательностью сумел этот московский интеллигент в пенсне увидеть и описать всех — от тогдашних мужиков, пожарных и горничных до действительного статского советника, зачем понадобилось ему, уже знавшему о своей чахотке, отправиться через всю страну на Сахалин, а в итоге—не эпопея, не роман, всего лишь документальное свидетельство очевидца о жизни каторжан...

Одно из предназначений литературы во все времена — быть совестью народа. Это не награда, не привилегия литераторов — это их профессиональная норма. Единая для литературы в целом. Степень художественной одаренности позволяет писателю приблизиться к стопроцентному выполнению этой нормы — тогда мы говорим о гениальности его произведения. Но даже гении не претендовали — не могли претендовать! — на монополию в выражении народного духа, всех дум и чаяний народа и потому не столько утверждали свое «право на народность», сколько восставали каждый раз, когда сталкивались с чем-то антинародным, чуждым и неприемлемым для их понимания истории, их нравственных принципов, их совести.

О реальной опасности заболтать понимание народности до «мистики и риторики» предупреждал своих оппонентов-славянофилов Белинский, а Пушкин в статье «О народности в литературе» еще полтора столетия назад не без иронии отмечал: «С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы...» Автора «Евгения Онегина» и первого редактора «Литературной газеты» явно смущало «входившее в обыкновение» жонглирование этим понятием, его измельчание до легких наград любому любезному сочинителю — Пушкин просил от критика-наградителя совсем

Вячеслав Горбачев. Заветное слово. М., Современник, 1986; Судьбы народные. М., Художественная литература, 1987.

немногого: для начала «определить, что разумеет он под словом народность».

Редкий случай: современная энциклопедия, которая знает все, на этот раз отказывается от дефиниций — просто констатирует: «народность литературы (искусства) многозначное понятие». Перед такой неопределенностью остановился в свое время и Пушкин, увидев в народности сумму обычаев, поверий, привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу, его «образ мыслей и чувствований».

Вяч. Горбачев не согласен с Пушкиным: «Согласиться с таким, и только таким, пониманием народности сегодня нельзя». Нынешний критик с укором — в разрядку напоминает отставшему от жизни поэту, что «в искусстве партийность есть высшая форма народности». В этом споре, который навязывает классику Вяч. Горбачев в предисловии к другому своему сборнику статей — «Заветное слово», больше всего озадачивает, когда наш современник— журнальный критик объявляет народность литературы «наступательным оружием». На кого же (кроме Пушкина) готовит наступление такое предисловие?

Понять это из самих статей — а они в сборнике «Судьбы народные» в основном повторяют напечатанное в «Заветном слове» — довольно трудно. Самые пространные из них откровенно хвалебные, скорее «оборонительного», чем «наступательного» характера. Не отступление от народности волнует критика — в неописуемый восторг его приводит каждая строка, где наличествует слово «народ». Читателю предлагается простейшая шкала ценностей: чем больше таких строк, тем выше достоинства произведения и его автора! В книге самого Вяч. Горбачева такого рода подсчет можно начинать уже с оглавления: «О народности в поэзии Владимира Фирсова», «Писатель судьбы народной» и т. д. Выстроив всех своих героев по команде «народность» и повторяя их имена из сборника в сборник, критик заставляет предположить, что все оставшиеся за этим строем к народности в литературе отношения не имеют. Похоже, именно эта мысль позволяет критику считать избранное им «оружие» наступательным.

Кто же попал в число целиком и полностью «народных»? Прежде всего главный редактор журнала «Молодая гвардия» Анатолий Иванов (сам критик, как известно, является его заместителем) — ему посвящена статья «Писатель судьбы народной», затем следуют члены редколлегии Петр Проскурин, Владимир Фирсов, Валерий Ганичев, наконец, свежий сборник дополняется статьей о народности стихов Виктора Яковенко, занявшего пост первого заместителя главного редактора того же журнала. Так выглядит шеренга тех, перед кем критик остановился в наигранном смятении: как правильней писать — «писатель и народ» или все-таки «народ и писатель»?

Было бы несправедливым не заметить, что в сборниках Вяч. Горбачева встречаются и статьи, не относящиеся к прямым сослуживцам автора. Например, эссе о творчестве Анатолия Софронова. Стиль разбора не меняется, и поэтому все софроновские пьесы, по словам критика, это «...театр — для народа. На этом убеждении стоит и этим убеждением сильно и неопровержимо все творчество А. Софронова — поэта, драматурга, публициста. Оттого-то он и щедр в своих произведениях, оттого ему и не занимать ни характеров, ни неожиданно острых ситуаций, ни важных в социальном аспекте проблем, что всем этим разнообразием бесконечно полна и богата жизнь народа — главного героя Анатолия Софронова».

Трудно предположить, что автор этой статьи не читал многочисленных рецензий с убедительной критикой как раз многих из этих пьес за отсутствие полноценных и правдивых характеров, за слишком поверхностную, плоскую постановку «важных в социальном аспекте проблем». Но Вяч. Горбачев не опускается до дискуссии с другими взглядами и оценками, уверен в безотказности своего «наступательного оружия» и, не тратя времени на аргументы, решительно утверждает: театр Софронова — для народа.

Разобравшись с народностью софроновских пьес, критик переходит к анализу стихов И. Ляпина. Поначалу можно почувствовать скрытую полемику: «Слагать вирши умеют многие, но как велика пропасть от такого умения до подлинного мастерства, когда каждая строфа не просто рифм созвучье, а боль и страсть сердца; и когда думы, обуревающие поэта... заставляют... мучиться и страдать... Стихи подлинно талантливые всегда являются нам как откровение... Поэт-трибун, он обращается к массам...» Вас уже убаюкали эти знакомые примелькавшиеся шаблоны, вы уже расслабились и вспомнили, что лошади кушают овес, а Волга впадает в Каспийское море, но критик быстро разбудит вас следующей фразой: «Игорь Ляпин — коммунист. Партийная принадлежность не по форме, но по существу словно бы предопределяет его творческие поиски». Что тут скажешь? Разве только одно: пользоваться в критическом анализе такой аргументацией едва ли много труднее, чем слагать те самые вирши.

Когда исчерпаны все остальные доводы, рецензент обращается к аналогиям: «с тютчевской грустью», «помните, у Гоголя...» Смелое, неожиданное сопоставление оживляет критический разбор — важно лишь не терять при этом чувства меры. У начинающего рассказчика А. Леонова юный Сергей «не ручкался» с Ириной, «...а посадил девушку на раму велосипеда, поехали в поле, в омет соломы... Какая во всем этом удаль молодецкая, порывистость, страсть,— раскрывает свое многоточие Вяч. Горбачев,— ка-

кой бешеный наплыв чувств, роднящих деревенских погодков с шекспировскими влюбленными!» Отсутствие у автора внутренней убежденности выдает язык: свалить в одну кучу с Шекспиром «не ручкался» и «омет соломы» можно, только не слыша собственных слов.

Проходная рецензия, разумеется, не роман, и особых красот стиля мы от нее не ждем. Но привычный стереотип или фраза, сочиненная наспех, может иметь в критике непредсказуемые последствия. Читаем о книге: «она верна исторически, народ разделяет ее». Звучит как резолюция для массового переиздания. Но написано это о «Войне» И. Стаднюка.

В беглых рассуждениях Вяч. Горбачева о современной военной прозе встает и более существенный вопрос: что есть «истина о войне»? Начинаются эти рассуждения издалека — с неназванных книг, «в которых наши бойцы, командиры, гражданское население выписаны серыми, тусклыми красками — один сплошной протяжный стон и такая уничижающая заземленность, бескрылость героев, что поневоле думаешь о таких авторах: да знаете ли вы народ наш?! Или только поношенные фуфайки на нем и видели? Обутки вас его смущают, кирза? А эта «кирза» прошла по всей Европе, разгромила фашизм, и сносу ей нет!..»

Но вот в поле зрения критика попадает «Наш комбат» Даниила Гранина — одна из самых пронзительных и честных повестей о войне. Критик обвиняет Д. Гранина в предвзятой тенденциозности и выносит скоропалительный приговор всей повести и ее автору, участнику и очевидцу описанной в ней трагедии: «Правда» о войне, которую открывает нам лирический герой повести, на самом деле очень далека от истины». Что послужило основанием для вывода? Оказывается, основной конфликт повести — приказ командира-карьериста Рязанцева любой ценой взять высоту к 21 декабря (дню рождения Сталина). Судящий о войне по школьным учебникам, критик абсолютно уверен: такого не было и быть не могло. Воспоминания фронтовиков свидетельствуют об обратном: к великому сожалению, было, и не раз! Достаточно восстановить по приказам освобождение Киева (к 7 ноября) и куда более кровопролитный, не подготовленный до конца, бессмысленный в своей трехдневной лобовой атаке штурм окруженного Севастополя в первые дни мая 1944 года. Назван уже и особый специалист по организации «лобовых атак» к памятным датам — весьма доверенный и любимый Верховным Главнокомандующим порученец, член Военного Совета ряда фронтов Мехлис. Так что в небольшом эпизоде военной истории, описанном в повести «Наш комбат», за писателем осталась истинная правда без каких-либо кавычек.

Риторика появляется при недостатке свежих слов и мыслей. Но хорошо еще, когда это риторика обыкновенная, пустая. В недавних статьях Вяч. Горбачева, опубликованных на страницах журнала «Молодая гвардия», нетрудно почувствовать нечто иное: риторику мрачноватую, с пугающими намеками. Внимание многих обратила на себя прошлогодняя его статья «Перестройка и надстройка». В ней критик объявляет бой «ревнителям застоя» — бой решительный, по всему фронту: мораль застоя, проза застоя, театр застоя, критика застоя... Поднимается вопрос, в самом деле всех волнующий: «Грозит ли перестройке опасность, какая и откуда?» Ответ стремительный и на этот раз весьма оригинальный: оказывается, прародительница застоя — «Литературная газета», у которой ныне завелись «дочерние филиалы», как-то «Советская культура», «Огонек», «Неделя», «Московские новости»... И даже вскормивший автора «Октябрь», который также «утратил прежнюю, кочетовскую» наступательность! Вывод самый категорический: «Тайную и явную силу, п р о т и в о с т о я щ у ю н а р о д у и п е р е с т р о й к е (разрядка моя.— **В. С.**), можно назвать обобщенно и философски силой зла, силой тьмы». Что же это за эпидемия, «обобщенно и философски» охватившая вдруг десяток газет и журналов? Вяч. Горбачев ставит диагноз: «русофобия».

О растущей опасности русофобии критик заговорил в полемике со своими коллегами, недооценившими роман В. Белова «Все впереди»: «...критика сама бриш-кликушествует, занимается русофобией и т. п.». Тогда же зазвучали грозные предупреждения о «мировом зле», о существующей «могучей, целеустремленной, злой и тайной силе» и «служении дьяволу с маской Христа на лице»... Пугающая цепочка переходит в мистику, в шаманство, в заклинание чертовщиной и ведьмами: «Тьма тьмы, не брезгуя в выборе средств, работает против нас: лидируют, задают тон фашизм, масонство...» Вот оно модное словечко, которым по сей день размахивают направо и налево главари общества «Память». Вы думаете Есенин ушел из жизни сам? Мас-соны. А Вампилов, Шукшин, Николай Рубцов? Мас-с-соны... Нет, это не я придумал — так вещали на одной из научных (!) конференций в Ленинграде. Статьи Вяч. Горбачева столь далеко не заходят — поднявшись в своей риторике примерно на те же высоты, критик вдруг соскакивает на... знаки препинания. Все дело — с каким знаком прочитать «Все впереди». Если со знаком вопроса, то роман В. Белова без особого труда обретает свое место в классической литературе. Как? Очень просто: у автора романа название «Все впереди» оставлено без каких-либо знаков, но если прочесть его основную идею так, как предлагает критик: «Что впереди?» — то ряд выстраивается безукоризненно: А. Герцен «Кто виноват?», Н. Чернышевский «Что делать?», В. Кочетов «Чего же ты хочешь?». А можно еще поставить полюбившийся роман между Чеховым и Достоевским и продолжить игру в аналогии. Чехов, оказывается, над мещанами только посмеивался, но всерьез не обличал, и благодаря этому они у него (у Чехова!) «получили права гражданства», поскольку «над пороком можно смеяться, но его можно и иметь». Роман «Все впереди», естественно, продвинулся много дальше, и не только сам продвинулся — теперь и другим помог: «появись сейчас Достоевский,— поясняет свою мысль критик,— нет, не напечатали бы. Не поняли бы, не оценили, побоялись бы... Теперь, п о с л е В. Б е л о в а (разрядка моя.— **В. С.**), сомневаться грешно: приди и Достоевский — напечатают! Опубликуют». Можно считать это за прямое приглашение Федора Михайловича на страницы «Молодой гвардии» или «Нашего современника», куда распахнул ему дверь В. Белов: «Нет, в с е в п е р е д и, только чужой дядя счастливое будущее на блюдечке нам не преподнесет, скорее это будет чернобыльское яблоко на тарелке...»

Стоп! Давайте однажды вместе с автором остановим привычный поток слов и задумаемся: если есть во всем этом какой-то смысл, то — какой? Итак, чужой дядя преподносит яблоко на тарелке. Но яблоко — ядовитое, чернобыльское. Тогда почему дядя — чужой? Или это чужестранец виноват в трагедии Чернобыля? И все головотяпство, безответственность, преступное нарушение элементарных служебных и моральных обязанностей, о чем с такой горечью рассказал в посмертных записках академик Легасов, спишем на чужого дядю? А может, опять — масоны? Ведь для них, как известно, границ и государств не существует: у них между «чужим» и «своим» особая полоса. Тогда за дядей далеко ехать не надо — чужие повсюду... Понимает ли автор, в какое «чернобыльское яблоко» превращается неконтролируемое словоизвержение?

Происхождение понятия «народ» Вяч. Горбачев объясняет так: «род на род — стал и народ!» Не веря в эту лингвистическую гипотезу, я вообще боюсь, что с таким запасом слов и принципов, которым пользовался до сих пор Вячеслав Горбачев, «хорошо писать о народе» невозможно. И уже совсем не стоило с поспешностью необыкновенной (через полгода) повторять «Заветное слово», увидевшее свет в издательстве «Современник», сменив ему название на «Судьбы народные» и снабдив солидным титулом издательства «Художественная литература».

В а д и м С о к о л о в

Пик Визбора

В августе 1985 года группа альпинистов во главе с мастером спорта международного класса В. Кавуненко в горах Памиро-Алая впервые поднялась на вершину, которая называется теперь пиком Визбора. Так воплотилась в реальность поэтическая строчка Юрия Визбора, ставшая названием его вышедшего через год сборника «Я сердце оставил в синих горах». Ну что ж, хорошо, что хоть через год, и хорошо, что, кроме стихов, песен и прозы, в сборник вошли и воспоминания о Визборе его друзей и соратников — Ю. Кима, А. Городницкого, Б. Окуджавы, В. Дулова, Ю. Андреева, космонавта В. Рюмина и многих других, напоминающих о том, кем он был — поэт, журналист, драматург, горнолыжник, радист, прозаик, альпинист, сценарист, актер, чье имя уже подернулось романтической дымкой легенды, сквозь которую нынешнему читателю, пожалуй, трудно теперь разглядеть главную высоту, взятую Визбором.

«Он создал современную студенческую песню. Он дал своему поколению голос, дал жанр, и с его голоса, с его легкой руки пошло уже поветрие, и явились менестрели следующих поколений: принцип был распознан, почин подхвачен, создалась традиция, выработалась артистическая система, оказавшая влияние на поэзию и ставшая ее частью»,— пишет в «Слове о друге» Л. Аннинский.

Теперь никто не хочет хотя бы
умереть
Лишь для того, чтоб вышел
первый сборник,—

как пишет в посвященных Высоцкому стихах Визбор, тоже не доживший до времени выхода своего сборника, до нашего времени, в чем-то похожего на то, в которое он состоялся как поэт. «Визбор — это молодая Москва конца 50-х, внезапно открывшая для себя много нового, в том числе горы, тайгу, моря и океаны, романтических флибустьеров и реальных геологов, экзотический Мадагаскар и подмосковную осень... Это резкое переощущение пространства и времени, истории и человека в ней»,— виноват, этих слов Ю. Кима в книге как раз и нет, они с конверта выпущенного «Мелодией» визборовского диска, но по ним можно понять, почему его давние песни звучат современно и сегодня, в пору резкого переощущения многого из того, что с нами было...

Юрий Визбор. Я сердце оставил в синих горах. Стихи, песни, проза. М., Физкультура и спорт, 1986.

Хотя, конечно, не все песни и стихи, вошедшие в сборник, выдержали испытание временем,— и наоборот, там почему-то не нашлось места для «Ходиков», «Вставайте, граф» и многого другого, чем остался памятен Визбор. И совсем уж огорчаешься, когда натыкаешься на строчку его известнейшей песни: «Спокойно, дружище, спокойно! И петь нам— и весело петь», изуродованную, надо думать, во имя бескомпромиссной борьбы за трезвость. Так и хочется сказать словами Визбора же: «Дорогие мои, не виновно вино», и ие в том ведь смысл борьбы с алкоголизмом, чтоб всем известные стихи редактировать, право же, ие в том.

...Да нет, все равно очень многих порадует этот долгожданный сборник, и можно б было и не писать об огорчительных мелочах.

Главное ведь — меняются времена, меняются! И вот Юрий Визбор и был одним из тех, кто этому способствовал:

Переживем туманы мы и лед,
Я сам поставлю паруса надежды,
Чтоб было так, как не бывало прежде,
Чтобы скорей пришло то, что придет.

Не дожидаясь ничьего разрешения, жил и пел Визбор — еще до того, как появился сам термин «авторская песня». Он пел о горах и о море, о мужестве и о любви, о трудных дорогах и московских дворах,— да, пожалуй, нет темы, которую он хотя бы не наметил. С его песнями-репортажами вошло в нашу жизнь возвышенное понятие о деле, достойном настоящих мужчин, будь то добыча руды, ночной полет, строительство газопровода или вахта в океане: «По судну «Кострома» стучит вода, в сетях антенн качается звезда...», «На плато Расвумчорр не приходит весна...» Вот затрепали мы слово «романтика», а уж от словосочетания «романтика труда» вообще веет замогильным канцелярским холодом, но у Визбора-то она первозданная, такая, что хочется все бросить и рвануть хоть на судно «Кострома», хоть на плато Расвумчорр, а хоть в горы...

И вот еще что важно сказать: жизнь, особенно в детские и отроческие годы, у Юрия Визбора была далеко не безоблачной. Отец его, Иозас Ионасович Визборас, бывший моряк, красный командир, был незаконно репрессирован и погиб, отчим же, как вскользь упоминает в автобиографии Визбор, «бил меня своей плотницкой рукой, ломал об меня лыжи». И при всем при том творчество Визбора насквозь оптимистично, все его герои — это свято верящие в справедливость жизни, сильные, смелые, уверенные в себе и, в общем, счастливые люди, потому что они знают, как жить и что делать.

Забудется печаль и письма
от кого-то,
На смену миражам приходят рубежи,
Но первая тропа с названием «работа»
Останется при нас оставшуюся жизнь.

Пока мы в своих критических дискуссиях кляли прельстившего нашу литературу амбивалентного героя и вздыхали о герое положительном, он, этот герой, полнокровно и ярко жил и в песнях, и в стихах, и в прозе Юрия Визбора — скажем, в его повестях «Альтернатива вершины Ключ» и «Завтрак с видом на Эльбрус» — правда, дошедших до нас только сегодня, как и многие другие книги и фильмы прошлых лет. Если б я был издателем и мне надо было составить книгу о любви и дружбе — настоящую книгу, а не сборник дидактических благоглупостей,— я б включил туда «Трех товарищей» Ремарка, «Вот придет великан» Константина Воробьева и «Завтрак с видом на Эльбрус» Юрия Визбора, и, поверьте, он выглядел бы там ничуть не хуже других признанных писателей.

Я думаю, здесь нет смысла разбирать подробно вошедшие в книгу повести, рассказы и очерки — кто заинтересуется, тот сможет их прочесть. Прозу поэта одухотворяет романтическое устремление к идеалу, в основе которого верность делу и людям дела. Этот порыв, родившийся на рубеже пятидесятых — шестидесятых и, казалось, полузабытый, сегодня стал современным, находящим отзвук в сердцах нынешних читателей Юрия Визбора.

Святослав Педенко

Советуем прочитать

Перестройка: гласность, демократия, социализм. Иного не дано. Судьбы перестройки. Вглядываясь в прошлое. Возвращение к будущему. Под общей редакцией доктора исторических наук Ю. Н. Афанасьева. М., Прогресс, 1988.

В издательстве авторам этой книги, а их более трех десятков, предложили: напишите, что считаете нужным. Что думаете о перспективах новой политики КПСС, о том, что и кто мешает ее реализации.

Даже для поры перестройки и гласности в книге этой немало непривычно откровенного и резкого. Можно уверенно сказать: читатели, сочувствующие курсу М. С. Горбачева, желающие всей душой дальнейшего углубления и радикализации этого курса, разделяющие в целом умонастроения создавших всего за несколько месяцев эту необычную книгу, не беспокоятся ни за авторов, ни за редакторов: сегодня этот труд — нормальное проявление перестройки, и в какой-то мере он служит ее подтверждением. На страницах сборника затронут самый широкий спектр проблем: экономика, культура, история, идеология, политика. В трех его разделах — «Судьбы перестройки», «Вглядываясь в прошлое», «Возвращение к будущему» — изложены взгляды многих видных представителей интеллигенции на острейшие проблемы современной жизни советского общества. Среди авторов — академики Т. Заславская, Н. Моисеев, лауреат Нобелевской премии мира А. Сахаров, писатели А. Адамович, С. Залыгин, Д. Гранин, публицисты В. Селюнин, Ю. Черниченко, Ю. Карякин, А. Бовин, экономист Г. Попов...

«Книга, выпущенная в свет за несколько дней до начала XIX Всесоюзной партийной конференции,— пишет в предисловии Ю. Н. Афанасьев,— послужит делу революционного обновления нашей страны. Я... вряд ли могу согласиться со всем, что сказано авторами. Многие взгляды и подходы представляются спорными, требуют дальнейшего обсуждения, анализа. Но они будят мысль, заставляют думать, искать, заглядывать за горизонт. Я искренне надеюсь, что время книг, в которых «все правильно», в которых изложены лишь сотни раз повторенные прописные истины и которые никто не дочитывает до конца, прошло. Прошло и не повторится, не наступит вновь».

Разные темы, нетривиальные подходы, противоречивые мнения. Может быть, именно это и придает особую убедительность магистральной идее сборника: перестройка — это условие жизненности нашего общества. Иного не дано.

В. С. Марьян. Сто часов с лидером. Партийный руководитель — с ближней дистанции. Хронометрический репортаж. М., Политиздат, 1988.

Руководители, лидеры... Кто эти люди, что порой так строго спрашивают с нас? Имеют ли они на то моральное право? Чем они заняты, озабочены? Вот те вопросы, которые задает себе каждый, особенно в наши дни, когда возросла роль лидера практически на любом участке экономики, политики, науки и культуры, партийной и государственной и других сфер жизни.

Журналист В. С. Марьян провел интересный и необычный эксперимент — в течение недели постоянно находился рядом с депутатом Верховного Совета СССР, кандидатом в члены Бюро ЦК КП Грузии, первым секретарем Кутаисского горкома партии Т. В. Лордкипанидзе. Он не вмешивался в трудовой распорядок, скрупулезно фиксировал все происходящее—сказанное и сделанное. В результате и родилась книга «Сто часов с лидером» — своеобразный портрет современного руководителя, живого, мыслящего человека, с его заботами и практическими делами.

Г. И. Саятов. Полторы войны или больше? Стратегия нереалистического устрашения. М., Мысль, 1987.

«Если России не показать железный кулак и не говорить с ней жестким языком, то неизбежна новая война»,— говорил президент США Г. Трумэн в январе 1946 года. В январе 1961-го Джон Кеннеди заявил: «Пусть каждая страна знает... что мы заплатим любую цену, возьмем на себя любое бремя..., чтобы обеспечить выживание и успех свободы». Президент Р. Никсон десять лет спустя сказал: «Соединенные Штаты и Советский Союз в настоящее время достигли такого положения, когда небольшие количественные преимущества в стратегических силах не имеют существенного военного значения. Попытка же добиться больших преимуществ только ускорит гонку вооружений...»

Прошло еще 14 лет, и вот лидеры двух великих держав встретились в Женеве, чтобы путем открытого диалога попытаться устранить напряженность, добиться максимально возможного взаимопонимания. Потом были встречи в Рейкьявике, Вашингтоне, Москве... В книге прослежены важнейшие вехи трудного пути последних четырех десятилетий и анализируется суть военно-стратегических концепций США, одна из которых сводится к понятию «полторы войны». Многие ли знают, что это? Стратегия «полутора войн» предполагает в качестве основной единицы «большую войну» в Европе и «довесок» в виде войны (или войн) меньшего масштаба «где-то еще». Порой эта стратегия расширительно толковалась как «одна и две трети» и даже «две с половиной» войны. Но время властно диктует: подобные концепции должны быть сегодня сведены к «войне нулевой». Об этом — труд доктора исторических наук Г. Святова.

Лидия Чуковская. Софья Петровна. Повесть, Нева, № 2, 1988.

Долгие годы горькие страницы нашей истории замазывались ослепительно сияющими белилами. И круто приходилось тем, чья гордая память не смирилась с ложью, кто хотел перемен за много лет до того, как они стали нашим общим делом. Но ведь сказано: «Никто не забыт, ничто не забыто». И не одни лишь испытания блокады стоят за этим бессмертным афоризмом О. Берггольц. За ним — и драматичная судьба Софьи Петровны, и сына ее Коли Липатова, и многих, многих людей.

Повесть «Софья Петровна» задает обжигающие совесть вопросы: за что? Кто виноват? В чем искать спасение? Ни очарованная вера, ни молчаливое согласие не гарантируют покоя...

Ответ дает судьба автора. Спасение — в достоинстве.

Франц Кафка. Замок. Роман. Перевод Р. Райт-Ковалевой. Иностранная литература, №№1—3, 1988.

«Замок» — гротескно-фантастический роман, одно из наиболее значительных произведений австрийского писателя Франца Кафки. Главный герой землемер К. оказывается беспомощным перед Замком — тоталитарным обществом, регламентирующим каждый шаг и каждую мысль человека. Мир романа иррационален, в нем деформированы обычные понятия, простые человеческие чувства. Поэтому так безнадежны странствия человека в страшном бюрократическом лабиринте.

Будучи свидетелем грандиозных социальных потрясений первых десятилетий XX столетия — мировой войны, европейских революций, Кафка до тонкостей постиг механизм образцового бюрократического государства австро-венгерской монархии. Он умер в 1925 году и не был свидетелем того, как Европа покрылась сетью концлагерей, как десятками тысяч уничтожались в них люди, гибли на полях сражений второй мировой войны, в огне Хиросимы. Но роман «Замок», как и все творчество Ф. Кафки, служит сегодня предупреждением человеку, которому в этом мире грозит опасность утраты индивидуальной свободы.

Роман остался незавершенным. Однако, как свидетельствуют друзья писателя, предполагаемый финал рисовал смерть землемера К., измученного бессмысленной борьбой за право жить в этом мире... Но, быть может, автор «Замка» так и не смог ответить на вопрос, как разрешится конфликт человека и власти?..

Одновременно с «Иностранной литературой» роман Ф. Кафки в другом переводе опубликовала «Нева», значительно расширив число читателей «Замка». Однако предпочтение, думается, следует отдать переводческой работе Райт-Ковалевой.

Ю. Айхенвальд. Александр Иванович Сумбатов-Южин. М., Искусство, 1987.

В канун 1912 года, отвечая на вопрос газеты «Утро России» о «России через двести лет, о радостных контурах будущей жизни», Сумбатов-Южин писал: «...В то, что сам человек изменится рано или поздно, изменится весь в своем существе,— в это я верю так же твердо, как в то, что я живу... Цель же и смысл нашей теперешней жизни — работать внутри себя, над собою, крупинками создавать в себе «будущего человека».

Судьбой Сумбатова-Южина стали театр и драматургия. Постановки его пьес, роли, сыгранные на сцене Малого театра,— достояние отечественной культуры: их устремленность к пробуждению у человека «чувств добрых» очевидна. Об этом интересно рассказал в популярной серии «Жизнь в искусстве» Ю. Айхенвальд.

Л. Разгон. Непридуманное. Повесть в рассказах. Юность, № 5, 1988.

Немногие узники ежовско-бериевских лагерей дожили до сегодняшнего времени. Милостивой оказалась судьба и к Льву Разгону — он стоически выносил почти два десятка лет холод, голод, издевательства, жестокость надзирателей и охранников. «Тогда я понял сразу и навсегда,— пишет автор,— что они не такие, как мы... С этими нельзя вступать в человеческие отношения, нельзя к ним относиться, как к людям, они людьми только притворяются, и к ним нужно тоже относиться, притворяясь, что считаешь их за людей».

О страшном, трагическом времени ведет рассказ писатель. Мы узнаем из «Непридуманного» о большевике И. М. Москвине, кадровом чекисте Г. И. Бокии, о гибели жены Сталина Н. С. Аллилуевой, о враче-патофизиологе А. Д. Сперанском, об аресте комкора И. С. Кутякова и о том, как был «отлучен» от Отечества великий певец Шаляпин... Мы узнаем о человеке удивительной судьбы М. С. Рощаковском, который в тюремной камере предсказал многое из «светлого будущего», уготованного нашему народу Сталиным.

Ричи Достян. Избранное. Повести. М., Советский писатель, 1987.

Необычна судьба писательницы. Читая ее прозу, трудно поверить, что русский язык для нее не родной. А между тем родилась она и провела детство в Польше, девятилетней вместе с родителями переехала в Тбилиси, и путь Ричи в литературу стал в прямом смысле этого слова путем овладения русским языком.

За первой повестью «Тревога», увидевшей свет в Ленинграде более 20 лет назад, последовали и другие: «Два человека», «Кто идет?», «Руслан и Кутя», «Хочешь не хочешь», «Кинто»... Все они вошли в «Избранное».

Кроме повестей, в книге мы найдем воспоминания о встречах с Александром Беком и Верой Пановой, которых писательница считает своими наставниками.

В конце 1988 и в 1989 г. редакция журнала «Знамя» предполагает опубликовать

Романы и повести:

Александр АВДЕЕНКО — **«Наказание без преступления»**, Анатолий АЗОЛЬСКИЙ — **«Легенда о Травкине»**, Давид ГАЙ — **«Десятый круг»**, Илья ДУБИНСКИЙ — **«Особый счет»**, Камил ИКРАМОВ — **«Повесть об отце»**, Фазиль ИСКАНДЕР — **«В воздухе и на земле»**, Владимир КАРПОВ — **«Маршал Жуков»**, книга 1-я, Виль ЛИПАТОВ — **«Лев на лужайке»**, Анатолий ПРИСТАВКИН — **«Рязанка»**, Криста ВОЛЬФ (ГДР) — **«Образы детства»**

А также произведения:

Алеся АДАМОВИЧА, Артема АНФИНОГЕНОВА, Андрея БИТОВА, Владимира БОГОМОЛОВА, Даниила ГРАНИНА, Иона ДРУЦЭ, Николая ЕВДОКИМОВА, Бориса ЕКИМОВА, Сергея ЕСИНА, Максуда ИБРАГИМБЕКОВА, Анатолия КИМА, Юрия КУРАНОВА, Леонида ЛИХОДЕЕВА, Владимира МАКАНИНА, Булата ОКУДЖАВЫ, Елены РЖЕВСКОЙ, Тамаза ЧИЛАДЗЕ, Николая ШМЕЛЕВА

Из литературного наследия:

Борис ПИЛЬНЯК — роман **«Соляной амбар»**, Василий ГРОССМАН — **«Добро вам» («Армянские записки»)** и рассказы, Варлам ШАЛАМОВ — рассказы, Владимир НАБОКОВ — рассказы, Н. ЗАБОЛОЦКИЙ — **«Сто писем»**

Мемуары, записки, свидетельства:

А. М. ЛАРИНА (БУХАРИНА) — **«Незабываемое»**, Рой МЕДВЕДЕВ — **«Сталин и сталинизм»**, Федор РАСКОЛЬНИКОВ — **«Мои записки о подполье»**, **«Кремль»**, А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — дневники

А также:

И. А. АРШАВСКИЙ — Из воспоминаний об А. А. Ухтомском, Б. А. ВИКТОРОВ — **«Записки военного прокурора»**, В. М. ВИНОГРАДОВ — **«Египет: смутная пора»**, Ц. И. КИН — **«Бенито Муссолини»**, В. КОЧНЕВА (ГАМАРНИК) — **«Воспоминания»**, Н. Г. ПАВЛЕНКО — **«Армия перед войной»**, В. УБОРЕВИЧ — **«Письма к Елене Сергеевне Булгаковой»**, Л. А. ЩЕРБАКОВ — **«Первые дни войны на Западном фронте»**

Стихотворения:

Геннадия АЙГИ, Маргариты АЛИГЕР, Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Татьяны БЕК, Юрия БЕЛАША, Константина ВАНШЕНКИНА, Евгения ВИНОКУРОВА, Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО, Расула ГАМЗАТОВА, Глеба ГОРБОВСКОГО, Михаила ДУДИНА, Евгения ЕВТУШЕНКО, Анатолия ЖИГУ-

ЛИНА, Сильвы КАПУТИКЯН, Виталия КОРОТИЧА, Владимира КОРНИЛОВА, Юлия КИМА, Юрия КУЗНЕЦОВА, Александра КУШНЕРА, Юрия ЛЕВИТАНСКОГО, Владимира ЛЕОНОВИЧА, Семена ЛИПКИНА, Инны ЛИСНЯНСКОЙ, Маро МАРКАРЯН, Новеллы МАТВЕЕВОЙ, Михаила МАТУСОВСКОГО, Булата ОКУДЖАВЫ, Григория ПОЖЕНЯНА, Давида САМОЙЛОВА, Владимира СОКОЛОВА, Дмитрия СУХАРЕВА, Николая ТРЯПКИНА, Галины УМЫВАКИНОЙ, Ольги ФОКИНОЙ, Олега ЧУХОНЦЕВА, Игоря ШКЛЯРЕВСКОГО

А также материалы из наследия поэтов:

ДОНА АМИНАДО, Кайсына КУЛИЕВА, Леонида МАРТЫНОВА, Арсения НЕСМЕЛОВА, Бориса СЛУЦКОГО

Очерки и публицистические статьи:

Тимура ГАЙДАРА, Ярослава ГОЛОВАНОВА, Леонида ИВАНОВА, Юрия КАЛЕЩУКА, Отто ЛАЦИСА, Александра ЛЕВИКОВА, Геннадия ЛИСИЧКИНА, Гавриила ПОПОВА, Ю. И. РУБИНСКОГО, Василия СЕЛЮНИНА, Анатолия СТРЕЛЯНОГО, Юрия ЧЕРНИЧЕНКО

Критические статьи, обзоры, рецензии:

Л. АННИНСКОГО, Л. БАХНОВА, Ю. БУРТИНА, И. ВИНОГРАДОВА, В. ВОРОНОВА, А. ГОСТЮШИНА, И. ДЕДКОВА, И. ЗОЛОТУССКОГО, Н. ИВАНОВОЙ, Т. ИВАНОВОЙ, Ю. КАРЯКИНА, К. КЕДРОВА, В. КУРБАТОВА, А. ЛАТЫНИНОЙ, А. ЛЕБЕДЕВА, В. МАЛУХИНА, А. МАРЧЕНКО, С. МУРАТОВА, В. НОВИКОВА, В. ОГНЕВА, В. ПОРУДОМИНСКОГО, Ст. РАССАДИНА, Л. САРАСКИНОЙ, Б. САРНОВА, С. СЕМЕНОВОЙ, Е. СЕРГЕЕВА, В. СОКОЛОВА, И. СОЛОВЬЕВОЙ, Е. СТАРИКОВОЙ, В. ТУРБИНА, А. ТУРКОВА, И. ФОНЯКОВА, А. ЧЕРНОВА, С. ЧУПРИНИНА, Л. ШАПОШНИКОВОЙ, М. ШВЫДКОГО

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 07.07.88. Подписано к печати 03.08.88. А 05402. Формат 70 × 108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27.
Тираж 516 000 экз. Заказ № 2737.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

В Советско-американском фонде «Культурная инициатива»

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА» ФИНАНСИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ В СФЕРАХ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫХ СОВЕТСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИНИЦИАТИВНЫМИ ГРУППАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

1. Рассмотрение проектов будет осуществляться на конкурсной основе комиссиями, действующими в рамках Совместного комитета Советского фонда культуры и Фонда Сороса (США) и состоящими только из представителей советской общественности.

2. Все проекты могут быть представлены в произвольной форме, однако должны быть отпечатаны на машинке и не превышать по объему 3 страниц (включая оценку затрат). В случае особой необходимости может быть дополнительно представлено приложение объемом не более 10 машинописных страниц. Проекты не рецензируются и не возвращаются.

3. О возможных дополнительных требованиях к форме и содержанию представляемых проектов общественные комиссии могут объявить через средства массовой информации в июле—августе с. г.

4. Финансирование в рублях может производиться как безвозмездно, так и в форме кредита. Проектам, рассчитанным на финансирование в форме кредита, будет отдаваться предпочтение при прочих равных условиях.

5. Организации, получающие субсидию в инвалюте, как правило, перечисляют эквивалент в рублях на текущий счет Совместного комитета № 70130624 во Внешэкономбанке СССР.

6. Проекты принимаются только по почте по адресу: 107078, Москва, Б-78, Совместный комитет «Культурная инициатива» с 1 по 30 сентября. Обращения, адресованные лично кому-либо из членов Совместного комитета или его комиссий, не рассматриваются.

7. Общественные комиссии Совместного комитета приступят к рассмотрению предложений с 1 октября 1988 года.

8. Совместный комитет является организацией общественной, он практически не имеет штатного аппарата сотрудников и поэтому не располагает технической возможностью направлять ответы авторам многочисленных писем, приходящих в его адрес. Список всех проектов, принятых Совместным комитетом к финансированию, будет публиковаться в специальном ежегоднике на русском и английском языках с указанием краткого содержания проекта, его авторов и выделенной суммы в инвалюте и в рублях.

9. Совместный комитет будет проводить регулярные встречи с общественностью начиная с 1 сентября с. г. по первым и третьим четвергам каждого месяца. На встречах можно будет получить дополнительную информацию и разъяснения членов Совместного комитета и его комиссий по любым вопросам деятельности Совместного комитета. О месте встреч Совместный комитет дополнительно проинформирует общественность через газету «Советская культура».